ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 7/2013

Равиль Файзуллин
Высота — это самое важное
Стихи

Лилия Газизова
Всё связано с Тукаем
Стихи

Сашко Ушкалов
ОБЖ
Crasynovel

Илья Фаликов
Евтушенко. Love story

Александр Люсый
Попытка вынырнуть
Волжский текст

7'2013

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Дружба народов

7'2013

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр ЭБАНОИДЗЕ
Лев АННИНСКИЙ
Леонид БАХНОВ
Ирина ДОРОНИНА
Наталья ИГРУНОВА
Галина КЛИМОВА
Владимир МЕДВЕДЕВ
Зам. главного редактора Фарит НАГИМОВ
Ответственный секретарь Сергей НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Резо ГАБРИАДЗЕ
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Левон ХЕЧОЯН
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 21.05.2013.
Подписано в печать 21.06.2013.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 3046. Цена свободная.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературная Универсиада «ДН» в Казани 3

Проза и поэзия

Равиль ФАЙЗУЛЛИН. Высота — это самое важное. *Стихи. С татарского. В переводах Рустема Кутуя, Алены Каримовой и Равиля Бухараева* 5
Лилия ГАЗИЗОВА. Все связано с Тукаем. *Стихи* 8
Алексей ОСТУДИН. Киммерийская лирика. *Стихи* 11

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
Наталья ЛЯСКОВСКАЯ. Далее — везде! *Стихи* 14
Асия МИНГАЗОВА. *Стихи. С татарского. Перевод Натальи Лясковской* 15

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПОЭТОВ
Эдуард УЧАРОВ. Разведчик звуков. *Стихи* 17

Сашко УШКАЛОВ. ОБЖ. Crasynovel. *С украинского. Перевод Юлии Ильиной-Король* 19
Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ. Цена победы. *Стихотворения о спорте* 109
Мария АНУФРИЕВА. Снасти и страсти. *Рассказ* 113

События. Суждения. Судьбы

Илья ФАЛИКОВ. Евтушенко. Love story 123

Нация и мир

Рахман БАДАЛОВ. Человек из Зардоба. *Документальная фантазия для кино. Окончание* 197

Критика

Александр ЛЮСЫЙ. Попытка вынырнуть. *Сбортовывания на Волге, не впадающей в Каспийское море* 226

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ
Михаил СКВОРЦОВ. О, спорт! Ты — мир! 242

Культурная хроника

Александр ЭБАНОИДЗЕ. «Как счастливо мы жили...». *К 90-летию Владимира Огнева* 248
Дина ХИСАМОВА. Художники — Универсиаде. *Первая выставка о спорте в Казани* 250

К нашей вклейке: «О, спорт! Ты — мир!»

, Фотоотчет о Литературной Универсиаде в Казани

Эхо

Тропа окликает дорогу. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* 252

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

© «Дружба народов», 2013

Литературная Универсиада «ДН» в Казани

Летом 2013 года Казань стала спортивной столицей мира. Ей к лицу олимпийские девизы античности, в том числе «в здоровом теле — здоровый дух», что блестяще подтвердила Литературная Универсиада, прошедшая в столице Татарстана 14—16 июня.

Эту часть культурной программы Большой Универсиады организовали и провели при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Министерства культуры, Союза писателей, Национальной библиотеки и «Дома Дружбы народов» Республики Татарстан журнал «Дружба народов» и Фонд поддержки творческих инициатив «Канафер». Заметное культурное событие прошло в русле гуманитарных приоритетов современности и открыло новые литературные имена.

Казань — город, воплотивший в своей истории и повседневности дружбу народов, яркий пример тех принципов, которые настойчиво проводит в жизнь наш журнал.

Главная цель Литературной Универсиады — консолидация молодежи из стран СНГ и регионов России в противодействии ксенофобии и национализму, религиозной розни и экстремизму, выявление талантливых литераторов разных национальностей и содействие их выходу к широкой читательской аудитории.

Участников Литературной Универсиады приветствовал Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Хайруллович Мухаметшин. Текст приветствия огласила на церемонии открытия заместитель министра культуры Гузель Нигматуллина. Все выступающие — Ренат Харис, Равиль Файзуллин, Олег Хлебников, Рамис Аймет, Лео Бутнару, Максим Амелин, Алтынай Джуманазарова и другие — подчеркивали заинтересованность в развитии взаимодействия национальных культур, в поиске и продвижении новых талантливых писателей и отмечали пользу и важность подобных акций.

Делегацию участников Литературной Универсиады принял министр культуры Республики Татарстан А.М. Сибагатуллин. Состоялся содержательный и конструктивный разговор. Министр поблагодарил организаторов и участников праздника и выразил надежду, что такие встречи станут регулярными. Заместитель главного редактора «Дружбы народов» Фарит Нагимов предложил рассмотреть вопрос об учреждении Международной литературной премии имени Равиля Бухараева — выдающегося поэта, переводчика-полиглота, внесшего бесценный вклад в пропаганду татарской поэзии и культуры во всем мире. Предложение было принято заинтересованно и доброжелательно.

В Национальной библиотеке Татарстана прошел Круглый стол «Ислам в современной литературе» (модератор — прозаик и критик Алиса Ганиева). В обсуждении приняли участие гости фестиваля и известные татарские писатели, ученые и журналисты. Сложная, деликатная тема обсуждалась серьезно, глубоко и содержательно.

Большой интерес у татарских писателей и переводчиков вызвал Круглый

стол «Роль художественного перевода в диалоге культур», который провели в Доме Дружбы народов поэты и переводчики Максим Амелин из Москвы и Лео Бутнару из Кишинева.

Одним из ярких мероприятий Литературной Универсиады стал «Турнир поэтов», приз победителю — публикация в «Дружбе народов». Турнир с участием молодежи из разных городов Татарстана прошел в усадьбе Сандецкого — уютном дворике Музея изобразительных искусств. Жюри во главе с поэтом Сергеем Надеевым объявило победителем Эдуарда Учарова. Его стихи можно прочитать в этом номере журнала, большая часть которого тематически и творчески связана с Казанью: известные современные татарские поэты и переводчики разных поколений представляют свои стихи и переводы; московский писатель Илья Фаликов, автор книги «Евтушенко. Love story», тоже пишет о Казани и знаменитом Казанском Университете, которому посвящена поэма Евгения Евтушенко; на нашей вклейке представлены работы с всероссийской художественной выставки «О спорт! Ты — мир!», открывшейся в марте этого года в Казани.

Литературная Универсиада стала праздником для жителей столицы Татарстана и ее гостей. Надеемся, что новые впечатления и встречи участников отзовутся яркими публикациями и творческим содружеством.

В Литературной Универсиаде «ДН» принимали участие:

Ильдар АБУЗЯРОВ (Москва) — писатель, лауреат Новой Пушкинской премии;

Максим АМЕЛИН (Москва) — поэт, переводчик, лауреат премии Александра Солженицына (2013);

Леонид БАХНОВ (Москва) — литературный критик, заведующий отделом прозы журнала «Дружба народов»;

Лео БУТНАРУ (Кишинев) — поэт, прозаик, эссеист, председатель ПЕН-центра Республики Молдова;

Лилия ГАЗИЗОВА (Казань) — поэт, лауреат премии им. Г.Р. Державина;

Алиса ГАНИЕВА (Москва) — прозаик, литературный критик, лауреат премии «Дебют»;

Алтынай ДЖУМАНАЗАРОВА (Бишкек) — поэт, переводчик, лауреат премии Международного фонда Айтматова;

Акберен ЕЛГЕЗЕК (Алма-Ата) — поэт, лауреат Молодежной Государственной премии Республики Казахстан «Дарын»;

Елена ЖИРНОВА (Москва) — организационный секретарь журнала «Дружба народов»;

Александр КАБАНОВ (Киев) — поэт, лауреат «Русской премии»;

Марыйка МАРТЫСЕВИЧ (Минск) — поэт, писатель, переводчик;

Фарит НАГИМОВ (Москва) — прозаик, драматург, лауреат премии «Москва—Пенне»;

Сергей НАДЕЕВ (Москва) — поэт, ответственный секретарь журнала «Дружба народов»;

Алексей ОСТУДИН (Казань) — поэт, лауреат Международной Волошинской премии;

Ренат ХАРИС (Казань) — Народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ;

Олег ХЛЕБНИКОВ (Москва) — поэт, лауреат Новой Пушкинской премии.

Информационную поддержку оказали:

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;
Сайт «Литафиша.ру»;
Сайт «Татар-информ»;
Газета «Республика Татарстан»;
Газета «Ватаным Татарстан»;
Молодежный литературно-художественный журнал «ИДЕЛЬ»;
Общественно-публицистический журнал «КАЗАНЬ».

Равиль Файзуллин

Высота — это самое важное

Переводы Рустема Кутуя

* * *

Богатая осень всегда хороша,
но всё же, но всё же...
мне бедной весны нет дороже,
когда оживает больная душа
и сам я, и сам я моложе.

Ах, первая зелень и зябкий росток,
в проталинке леса подснежник,
а рядом чуть дышит валежник,
и солнце едва освещает восток
забытой надежды, забытой надежды.

Всё тихо и робко. Там капля горит
земным нескудеющим светом,
а там словно птицы взлетают с горы, —
то рощи наполнились ветром.

Что девушкам снится в больших вечерах,
их сны так легки, бестревожны?
Как старые листья, забыто «вчера»,
а «завтра» — в намёке звезды осторожной.

Нет, осень иная, в роскошной листве,
она — точно голос прощанья,
где нить паутины пустых обещаний
дрожит, угасая, на слабой траве.

Тогда среди ночи глаза распахнёшь,
и миг промелькнёт удивленья:
весна тебе машет платком в отдаленье,
а в окнах октябрь и пронзительный дождь.

Равиль Файзуллин — поэт, общественный деятель, Народный поэт Татарстана. Родился в 1943 году.Окончил Казанский университет (1965). В 22 года стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Его называют лидером «поколения шестидесятников». Автор около 50 книг. С 1989 года — главный редактор журанал «Казан утлары» («Огни Казани»). Заслуженный работник культуры РСФСР. Награжден орденом Дружбы. Лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая, Республиканской премии имени М. Джалиля и др. Живет в Казани.

* * *

Что за дума тайная у этого обрыва?
Отчего печалится, осыпаясь, ива?
Что за лоб у камня — пережил столетья?
Что за песня у ручья — лепет ли о лете?
Что за сны витают дымкой над деревней?
Отчего к дороге вышли в ночь деревья?
Что за говор у крыльца женщин поседевших?
Что за вести поутру конных или пеших?

Если я не знаю ничего об этом,
душу не согреешь самым тихим светом.
Родины улыбка,
родины морщина —
каждая долина,
каждая лощина.

Переводы Алены Каримовой

* * *

Подарками судьбы не обольщён,
В предчувствии больших потерь и бед,
Чем заплачу, не ведаю ещё,
За то, что подарил тебя рассвет.

При свете дня беспечен — счастья раб —
Я лучше соловья тебе пою.
А по ночам от страха болен, слаб,
И старость вымогает жизнь мою.

* * *

Чтоб писать на воде — вилы,
В небесах — золотая молния,
А в сердцах у моих милых —
Злые слёзы.
Сердца полные...

Написать — написал. Много.
Кто прочёл? Лишь один на свете
Так безжалостно дувший ветер,
Что едва удержали ноги.

Горы — та же земля…

Горы — та же земля. Но такая земля, на которую
Ты не сможешь, мой друг, никогда посмотреть свысока.
Горы — та же земля во владеньи Судьбы и Истории —
Приласкает младенца, схоронит в себе старика.

Горы — та же земля. Но она покорится не каждому.
Если слаб и безволен, она не встречает любя...
Горы — та же земля. Высота — это самое важное —
Стоит раз потерять, навсегда потеряешь себя.

* * *

Глаза всё те же, но другими взгляды стали,
Слова всё те же, но другими смыслы стали...
Когда во мне проснётся твёрдость стали,
Пусти меня. Нам не идти одной дорогой.
Остаться будешь умолять, скажу с порога:
«Ах, если б нам вернуться в день вчерашний!..»
Но это память возвратится в день вчерашний.
А я — сегодняшний. Уйду. Меня не трогай.

Перевод Равиля Бухараева

* * *

Рассыпаешь, развеваешь
семена свои, цветок!
Разве ты не понимаешь,
что у ветра путь далёк?
Не на камни ли кидаешь,
поразмысли хоть разок!

«Я цвету и зрею смело,
буйный ветер сеет сам».
Им до бури что за дело,
неожившим семенам!

Лилия Газизова

Всё связано с Тукаем

Не спать!

Рыжеволосой бестией
Красться
Вдоль ночных кварталов Казани
После ночи распутной
И злой.
Вглядываться в лица водителей,
Проезжающих мимо.
На меня они смотрят с любопытством,
Зачем и откуда бредёт
Эта усталая женщина
В час, когда
Спят и птицы.

Неприлично спать на рассвете,
Точно суслики в норках.
Нужно рыжеволосой бестией
Красться
Вдоль ночных кварталов Казани.

Можно и нужно
Много чего делать
На рассвете.
Только не спать.
Только не спать.
Только не спать.

Казанские улицы

1

Я шла по улице Кирова...
Садик кировский пересекала,
Больницу ветеринарную стороной обходила.
С тоской открывала дверь музыкальной школы.
Получала свои четвёрку с минусом по специальности.
Ох и недобрая была временами Полина Семеновна —
Руки мои ей не нравились,
Видите ли, слишком кисти напряжены.
Слишком сильно смычок сжимаю.
Возвращаясь, радовалась жизни
И атлантам, что шар земной держат.

Лилия Газизова — поэт. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Работала детским врачом. Автор нескольких сборников стихов: «Черный жемчуг» (1995, Казань), «Канафер» (2011, Казань), «Люди февраля» (2013, Москва, «Воймега») и др. Лауреат литературных премий им. Г. Державина, А. Ахматовой (журнал «Юность») и В. Берестова. Живет в Казани.

2

Я шла по улице Тукая…
Там школа была.
Она и сегодня стоит.
Сестра моя младшая в ней училась
Без троек почти.
Болела часто,
Вот родители её и не ругали.
Я встречала её из школы.
Правда, нечасто.
По Тукая трамваи ходили,
На остановке мороженое продавали.
Я покупала четыре,
По два себе и сестре.
Шли домой и обсуждали прохожих.
Тогда-то она задала мне вопрос:
«Ты же красивая,
Почему же не все оборачиваются?»
Не помню,
Что я ответила.
Приятно было.
И тут я улыбнулась.
Удивительно,
Как в моём городе
Всё связано с Тукаем —
И детство,
И юность.
Когда-то будет и старость.

Турецкий дождь…

1

Засмотрелась на турецкий дождь,
Засидевшись в кафе
С людьми незнакомыми,
Оттого симпатичными и близкими,
Глядя на египетский обелиск
И пробегающих мимо людей без зонтиков,
Гладя котёнка непрерывно мяукающего
И ожидающего свою порцию мясного счастья,
Опоздать на самолёт
И… вернуться в кафе.
Снова всматриваться
В турецкий дождь
В ожидании следующего рейса…

2

Здесь мало собак,
А кошки льстивы и требовательны.
Здесь не торопятся жить, —
Время тает, как пахлава во рту.
И по мобильному,
Как назло,
А, может, так надо,
Не дозвониться в Россию.
…Ощущаю себя камушком
У подножия горы.
И судьба моя,
И долги перед близкими эфемерны.
Ненадёжна и легка
Жизнь в Стамбуле…

3

Пишу на салфетках,
Сидя в кофейне
У башни Султанахмета.
Нет бумаги иной.
Кто знал,
Что в Стамбуле захочется
Испещрить кириллицей
Турецкую бумагу.
К чему это?
Турецкому циклу?
Турецкому короткому счастью моему?

4

Знаю девять ступенек Стамбула,
Последняя из которых ведёт
К полюбившейся скамейке,
Возможно, заветной.
Сидя на ней вечерами,
Всматриваюсь в Босфор…
Что надеюсь увидеть там?
Смотрю на полную луну
На припозднившихся прохожих.
И начинаю понимать —
Девять ступенек Стамбула
Привели меня не к скамейке —
Просто мне в руки попала новая книга
Об иноземной жизни.

Грустные сказки

Там будет татарский орнамент,
Холодное небо Стокгольма,
Винтовая лестница, ведущая на третий этаж
Четырёхэтажного дома,
И это обязательно!
Джонни, плавающий три часа в день в бассейне,
Томик цветной со стихами Артюра Рембо,
На краю стола справа лежащий,
А стол сам обтянут коричневой кожей,
Много снега и много любви,
И грустные сказки Линдгрен…

В этой книге не будет
Причины истерик моих
И слишком весёлой бессонницы,
Взглядов мимо меня
И слишком скучной рассудительности.

В этой книге не будет меня…

Алексей Остудин

Киммерийская лирика

Переходный возраст

Воды оловянной хлебнёшь из пилотки,
хрустящую лужу ударишь винтом.
Весной примеряешься к каждой красотке —
не то? Оставляешь её на потом...

Хохочется Вере и надобно Наде —
на лавочке в сквере ладонь козырьком.
С шампанским бокал на включённом айпаде —
рентгеновский снимок его пузырьков.

Прикуришь свистульку, съешь ягодку с торта —
порезы души заживут без забот:
жужжит, отжимаясь с прихлопом, моторка —
на гребне волны, что втянула живот.

Спасение от соловьиного сленга
не светит горящим в саду, а пока
ползёт вертолётная лесенка с неба,
как липкая ниточка из паука:

заденешь — проснёшься во времени оном,
чужим языком за щекой мармелад.
Посветишь в потёмках души телефоном:
не то, на потом, и полезешь назад.

А запах такой, будто свечка погасла,
на шее болтается вырванный зуб,
в воде пионерские кубики масла,
печенье «Весна» и какао в тазу.

Остудин Алексей Игоревич — поэт. Родился в 1962 году в Татарии, в Казани. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Печатается с 1978 года. Автор 7 книг стихов, в т. ч. «Эффект красных глаз» (М., 2011). Возглавляет издательство «Норма». Трижды лауреат международного литературного Волошинского конкуса, лауреат премии им. А.М. Горького (2007). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Казани.

Волшебной музыки Suzuki

Май отступил, невидимый в упор,
от колорадских ленточек победы.
Скользит по небу спутника курсор,
выщёлкивая лозунги по следу.

Попробуй это вырубить пером,
облившийся чернилами мазила.
Играешь в жизнь, где за фук не берём,
а тащимся домой из магазина.

Мы «тащимся», и — всё разрешено:
похмельный бред, предпразничная ломка.
В Боржоми превращается вино,
а хлеб — в табак распятого цыплёнка.

Погрязший в коллективной наготе,
не жалуйся на паводок короткий,
в котором жидкость — слёзы от детей,
и камбала с хвостом от сковородки.

Так время на мякине проведёшь,
когда вокруг — то свара, то парады,
съезжающая с крыши молодёжь...
И перепрятать косточку пора бы.

Водная жизнь

С пяток подоткнут и, с нежностью, матом укрыт
изобретённым для крепости духа при гуннах,
выйдешь во сне на футбольное пастбище рыб,
где корабли укачала волна на трибунах:

окунь играет, освистан закат за подкат,
жить поплавку две секунды и — в прошлое канет.
Место прикормлено, зря что ли боги за так
учат согласных мальков шевелить плавниками?

Мокрый обрывок вчерашней газеты прочти —
тина жильды нашу память сживает со света.
Лифчик заброшен, губами стальные крючки —
не разогнуть, значит пойман, и песенка спета.

Бьёшь комара — так мишень попадает в снаряд,
с плеском пощёчины, пятнышком новой свободы...
В женщину рядом лежащую вперился взгляд —
вот и войди в неё, словно в кипящую воду!

Киммерийская лирика

Ах, буэнас ночес, пока не поймали вискайф,
пока не поймали за хобот «сексибо» шепчу.
Сошедший с ума Коктебель умещается в шкаф:
со всеми поэтами, джазом и даже Шевчук.

Здесь можно Фарида Нагима увидеть нагим.
Улитки скользят по щеке в виноградном дыму.
Поверь, ты когда-то не мне изменяла с другим,
а здесь и сегодня со мной изменяешь ему.

В репейных узлах присобачена к полу кровать —
решает её геометрию глупая плоть.
Никак не кончаются руки тебя обнимать,
застёжку заело, придётся по шву распороть.

Запутался шнур от наушников в пальцах ноги,
вселенное тело любимой — всё в звёздном тату.
Как в землю забитое, время стесняться другим:
нет правды в ногах значит ближе она к животу.

Весёлое тело любимой — такая игра,
две рыбины, ловим друг друга за хвост на мели.
Хрипит кофеварка под утро вдохнув комара,
в расшатанных мальвах брюзжат надувные шмели,

заносят в скрижали лавандовый опий, лафу,
покоцаный шифер в запущенном царстве морском.
Ты только не бойся гремящих скелетов в шкафу,
когда упираешься пяткой и тычешь носком!

Наталья Лясковская

Далее — везде!

Украина

Ангел Весенний
в берёзовом образе —
белый, а крылья зелёные.
Мне во спасенье
по щиколки во грязи
бьётся о ветер поклонами...
Что ж двуязычно
клянёшь, мол: «Гулёна ты!» —
душу мою раздвоённую?
Корпус больничный,
заросший паслёнами,
тень к тебе тянет палёную...
Вот где он, русский,
под астмовой пыткою
в кровь проникал
с химспасением,
вот где в нагрузку
раскраской-открыткою —
небо в окошке весеннее!
Школа тогда ещё
не обендерилась
русская наша четвёртая,
братьям-товарищам
в лучшее верилось...
Нынче ж — все укры упёртые!
Ой, мамо-мова,
ох, матушка-реченька,
обе вы любы мне, кровные!
Ангел суровый
далёко-далеченько
крылья расправил
Покровные...

Из цикла «Домой»

Бабушке Насте

На моих волосах
распускается сад
абрикосовый сад
на моих волосах
между косами
абрикосами

а плоды нежно-жёлто
на ветках висят
вперемежку с цветами
и цвета лисят
високосово
абрикосово

вот и радуга пала
на вымокший сад
и росы абрикосы
на солнце блестят
ах роскошные
абрикошные

я всем сердцем назад
я с ума чуть весна
детства сад счастья сад
садом страшного сна
полон осами
злополосыми

унеслось отцвело
вот и бабушки нет
исчезает в земле
её маленький след
смерть безносая
острокосая

на моих волосах
осыпается сад
абрикосовый сад
на моих волосах
между косами
абрикосами.

Лясковская Наталья Викторовна — поэт, переводчик. Родилась на Украине, в г. Умань. В 1982 окончила Литинститут им. Горького (семинар Евг. Винокурова). Автор 3 книг стихов. Переводит с украинского, болгарского и др. языков. Работала мастером-позолотчиком в церкви, редактором, сценаристом на радио и др. Живет в Москве.

Брату

Я кровной травою умоюсь
И в землю родную войду
По шею, по локти, по пояс…
И скроюсь, как камень в пруду.

И там, средь червей и кореньев,
Как прах в прародительской мгле,
Я стану — сотленной творенью,
Я стану — родною
Земле.
Как высшее счастье приемлю
и знаю, что больше, брат мой,
родную полюбишь ты землю —
лишь только
Землёй став
самой.

Далее — везде!

Трясясь в гремучей электричке,
скрипя в железной борозде,
проснёшься ночью по привычке
от крика: «Станция Кулички!»
и громом: «Далее — везде!»

Вскричать — куда же делись люди?
Вскочить — а ног не оторвать.
А грудь уж горний воздух студит…
Вот так нам Бог, убогим, судит —
лишь умирая, прозревать.

Иным путем к иному дому
по первозданной борозде
несясь, постигнешь сквозь истому,
кто ж возвестил тебе, простому:
«Ты будешь
далее —
везде!»

Асия Мингазова

С татарского. Перевод Натальи Лясковской

Воззвание

Эй, таинственные снежные человеки,
над ними пролетающие тарелки,
разрекламированное в прессе
чудо змей-рыба Несси,

Мингазова Асия Мирьякубовна — поэт. Родилась в 1952 году в д. Татбуляр Муслюмовского р-на, Республика Татарстан. Автор нескольких книг, среди которых наиболее яркие: «Встреча на высоте» («Биеклектэ очрашу», 1985), «Светлая грусть» («Якты сагыш», 2003) и др.

лемуры, печальные и глазастые,
пирайи, прилипчивые, как пластыри,
дырка Бермудского треугольника,
джиды — выдумка смышлёного школьника,
австралийская птица кукарача —
мешанина смеха и плача,
мрачный «Летучий голландец»,
торнадо «Фанданго» — испанский танец,
исполняемый дикой стихией,
духи, хорошие и плохи,
маленький народец эльфы,
загадочные звери и растения сельвы!
Все вы — великолепные чудеса света,
все вы — добрые и страшные тайны планеты!
Давайте жить,
давайте дружить,
проникая друг в друга,
познавая друг друга,
отдавая друг другу
ежесекундно
ежеминутно
ежечасно —
ЖИЗНЬ
яростную и прекрасную!

Я
(эскизы)

«Человек — это нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самоё себя».

Василий Шукшин

Мне быть одной собою
надоело!
Хочу я всей Вселенной сразу стать —
быть воздухом и в воздухе летать!..
Скорей на волю,
прочь из плена тела!

Хочу быть тем, кто дарит поцелуй,
и тем, кто принимает поцелуй.
Тем, кто на звёзды по ночам глядит,
и тем, кто на звезде сейчас сидит.
Тем, кто вчера лишь родился на свет,
и тем, кому уж много-много лет...

Хоть бы по разу
разными глазами
взглянуть на небо, солнце, облака,
проникнуть в стебель каждого цветка,
когда рука
ножом его срезает!..

Мне быть одной собой —
осточертело!
Скорей на волю,
прочь
из плена тела!
Дух, как птах, воспарит в запредельную высь,
пролетит, не страшась,
над кордонами Тайны,
чтобы все ипостаси
в едино слились,
а потом растворились
в пространстве бескрайнем!

Нет, нельзя вечно жить
с раздвоённой душой!
Выбираю кромешную келию плена.
Я скрываюсь в себя.
Мне в себе хорошо.
Но стучится в висок
острый ветер Вселенной...

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПОЭТОВ

Эдуард Учаров

Разведчик звуков

На Казанском базаре

Здесь, на базаре, в шум и гам,
Среди корзин,
Проходят батюшка к рядам
И муэдзин.

Здесь пахнет квасом и халвой —
Ядрёный дух!
Мясник с утра над головой
Гоняет мух.

Здесь в тюбетейку льют рубли,
Звучит баян.
Хозяин, старенький Али,
Немного пьян.

Здесь на бухарские ковры
И местный кроль
Придут рязанские воры
«Сыграть гастроль».

Здесь, разложивши короба,
Людскую течь
Сзывает бойкая апа,
Мешая речь.

И нищий ветеран труда,
Держась, как принц,
Займёт полтинник навсегда
У продавщиц.

А за углом, проспав обед,
Колокола
Разбудят звоном минарет —
Споёт мулла.

Дятел

Дятел — разведчик звука,
родственник молотка,
сколько ты мне отстукал
с проданного лотка?

Сколько, вещая птица,
голосу вышло жить?
Сколько мне слов приснится
и прислышится лжи?

Чёртова колотушка
присно пишущим в стол!
Скольким станет ловушкой
бьющее долото?

Проклятыми листами
ты по вискам — в упор,
если звучать устанешь,
Я подхвачу топор.

Учаров Эдуард Раимович — поэт, эссеист. Родился в 1978 году в Тольятти. По специальности — юрист. Публикуется как поэт с 2009 года. Член редколлегии журнала «Казанский Альманах». Автор двух книг стихов. Стихи переведены на сербский язык. В журнале "Дружба народов" печатается впервые. Живет в Казани.

Болдинская осень

Забалдев под болдинскую осень,
Заварю иголки кипариса:
Заходи чайку попить, Иосиф —
Неба умирающего писарь.

Посиделки с классиком поэту
Как не помянуть тоскливо-броско?
Потому в Венецию поеду,
Или где там похоронен Бродский?

Только в эту шалевую осень
Ошалеть другим придётся строкам —
Водки заходил напиться Осип,
Чтоб согреться под Владивостоком...

Лунатик

Как на лампаду, на небо дохнёшь —
погасишь звёзды, отвернёшься к стенке,
и, сном полурасстрелянный, начнёшь
цедить глагол оспатой ассистентке.

Она тебе сквозь тюль засветит в глаз,
и ты, словечки нанизав на ребра,
на ловкое циркачество горазд,
карнизом ржавым пятишься нетвердо.

О, Господи, ты только не буди,
когда я черепицу разминаю,
ходи со мной по этому пути,
пока не приключится жизнь иная.

Тогда кульбиты будут так лихи,
так искренне прочертится глиссада,
ведь падать — это как писать стихи:
здесь притворяться и уметь — не надо.

В кашемировом небе...

В кашемировом небе на вырост
облака на резинке ношу,
и весны неслучайную сырость
по щекам иногда развожу.

Чтобы в детстве, костром обожжённом,
вдруг, запахнув ночною росой,
проглянуло бы под капюшоном
удивленье озона грозой.

И на Млечном Пути без ошибки
мама с папой увидеть смогли
голубые, как вечность, прожилки
зарифмованной сыном Земли.

Сашко Ушкалов

ОБЖ

Crasynovel

С украинского. Перевод Юлии Ильиной-Король

Странно, очень странно,
где бы я был, если бы меня не было?

Иван Вырыпаев. «Кислород»

Все, собственно, началось из-за этого дурацкого солнечного затмения. С самого утра все у меня пошло наперекосяк. Проснувшись, я поплелся в душ и перепутал обыкновенный человеческий шампунь с гигиеническим шампунем-кондиционером для длинношерстных котов, поэтому мои волосы теперь торчали во все стороны, как будто меня долбанул током электрочайник. А заявившись в офис своей газетки, я узнал, что шеф-редактор, в народе «шефуля», он же Сан Саныч, уволил нашего штатного астролога только за то, что его жена, между нами говоря, редкостная истеричка, заявила, что, типа, прогнозы астролога не сбываются.

— Шурик, — сказала она за завтраком, — ты доверяешь своему астрологу?

— А что? — испугался Сан Саныч, который очень любил свою жену.

— Ты Козерог.

— Почему это?

— Да не в том смысле, — объяснила жена, — по гороскопу.

— Ну и?.. — не врубился шефуля.

— Ты читал прогноз для Козерогов на субботу, то есть на вчера?

— Читал, разумеется, я же шеф-редактор, — соврал Сан Саныч.

— И че? — настаивала супруга.

— И ниче, — пожал плечами шефуля.

— А где? Где? Ёкэлэмэнэ... — разозлилась она.

— Что — где? — вконец растерялся Сан Саныч.

— Обещанная сексуальная активность!!! Там же было ясно написано, что в субботу Козероги будут сексуально активны, а ты лег и сразу захрапел... Я даже новенькое белье надела... Ты хоть заметил, какого оно цвета?

Сашко Ушкалов — украинский писатель генерации-2000. Родился в 1983 г. в Харькове. Поэт, драматург, прозаик, авантюрный велосипедист-дальнобойщик. Автор поэтической книги «Перипатетика-блюз» (2002), сборника абсурдистских пьес «ESC» (2006) и многих публикаций в таких популярных периодических изданиях как «Молода Україна», «Березіль», «Дикое поле», «Книжник review». Переводит на украинский современную немецкую поэзию и прозу. Живет в Харькове. В «ДН» публикуется впервые.

Журнальный вариант.

— Кажется, розового? — упавшим голосом пробормотал шефуля.

— Ну, Козерог... — процедила сквозь зубы супруга и хлопнула дверью.

Словом, утром астролог и вылетел.

В конце концов, на этом мои неудачи могли бы и закончиться, если бы Сан Саныч не сказал: до тех пор, пока газета не найдет нового астролога, его обязанности временно будешь исполнять ты. Но, чувак, запомни, никакой сексуальной активности. И потому последние два с половиной часа я только и делал, что от фонаря выдумывал астрологические прогнозы. Без малейшей сексуальной активности, разумеется...

После обеда Сан Саныч позвал меня «на ковер». А я как раз застрял на злополучных Козерогах и никак не мог сдвинуться с места, — просто представить себе не мог, какой у этих тупых, упрямых животных может быть астрологический прогноз, да еще и без малейшей сексуальной активности.

«Все, — подумал я, — мне капец...» — и открыл дверь его кабинета.

— Слушай, Баз, — перешел он сразу к делу, — хочешь двести баксов за полдня?

— Мокруха, да? — вяло поинтересовался я.

— Нет, шоу-бизнес...

— Что угодно, только не эти долбаные Козероги.

— Что-что? — переспросил шефуля.

— Ничего-ничего, — говорю, — это меня из-за солнечного затмения целый день кумарит.

— Значит, так — буркнул шефуля, — солнечное затмение еще не началось, поэтому забудь про своих долбаных Козерогов, собирай манатки и дуй в сто шестьдесят третью школу.

— Куда-куда?

— Сто шестьдесят тре-тья шко-ла, — повторил он по слогам.

По правде сказать, слово «школа» вызывало у меня почти те же ассоциации, что и словосочетание «сексуальная активность» у Сан Саныча. В детстве я был очень непоседливым... и в большинстве случаев, когда мне приходилось что-нибудь делать, я обламывался после первой же неудачи. Так было и с учебой. Когда пошел в первый класс, меня хватило только на полгода, пока я не написал первую в своей жизни контрольную по русскому. Контрольная состояла всего из одного слова, которое нам выдавали на карточках. От него надо было образовать множественное число... мне попалось слово «сук». Не задумываясь, я написал «сук*и*» (кто бы мог подумать, что правильно будет «сучья») и сдал... За что мне поставили двойку и почему вызвали в школу отца, я так и не понял, зато на учебу решил забить уже тогда, не ожидая, когда она принесет еще какие-нибудь неприятные сюрпризы. Из моей следующей школы, а я их сменил ни много ни мало — четыре — так вот, из следующей школы меня выгнали из-за баскских сепаратистов... Я тогда был в третьем. Стояла весна, и у нас как раз намечался урок труда, на котором нам должны были привить бесконечную любовь к сельскому хозяйству и вообще — аграрному, так сказать, мировоззрению. Проще говоря, надо было сажать баклажаны и кабачки на пришкольном участке... Но вместо того чтобы читать учебное пособие по выращиванию баклажанов и огурцов, я, к несчастью, нашел в школьной библиотеке брошюру о баскских сепаратистах и всю ее прочитал, запоем... Для чего школьной библиотеке брошюра о баскских сепаратистах, я тогда как-то не задумывался. Так вот, находясь под впечатлением, я перекупил у одного мажористого старшеклассника петарду размером с хороший огурец, и когда все сажали кабачки и бакла-

жаны, зарыл ее в грядку, а фитиль оставил наверху. Его я поджег, когда наша учительница труда, заторможенная прибалтка, стала придирчиво проверять, ровные ли получились грядки. Петарда взорвалась прямо у нее под ногами, а сырая земля залепила ее здоровенные черепаховые очки... Я больше чем уверен — наша заторможенная прибалтка так ничего бы и не поняла, если бы на меня сразу же не показали пальцами две сучки-заучки.

— Чтооо? — спросила она у заучек.

— Это он вас падарва-ал!!!

Заторможенная учительница труда минуты четыре стояла молча и потом прошипела в мою сторону:

— Идееем к диреектору...

Из третьей школы меня вышибли уже тогда, когда я учился в девятом. Я не был пацифистом, но все равно не мог взять в толк, зачем на физкультуре в мирное время нужен норматив по метанию гранаты. Мы долго спорили с физруком, и тогда он позвал директора, бывшего афганца.

— Бросай, сопляк, — сказал тот, — в школе ты должен научиться всему, в том числе родину защищать.

— От кого? — не понял я.

От кого ее надо защищать, он, видимо, тоже не знал, потому буркнул:

— Бросай, не то вызову родителей.

И я бросил. Граната завертелась в воздухе, стукнулась о футбольные ворота, отрикошетила и попала физруку в ногу, раздробив большой палец. Фигня состояла в том, что физрук, судя по всему, не был врагом нашего отечества и не представлял для него ни малейшей угрозы.

Словом, я был зол на школу и поэтому вынашивал полубезумные планы и, что совершенно естественно, решил отомстить. Но поскольку террористический «опыт баскских сепаратистов» после того, как я вылетел из второй моей школы, стал казаться мне не очень действенным, я выбрал несколько иную тактику. После одиннадцатого класса я вполне сознательно поступил в педагогический и решил уничтожить вражескую систему, став ее частью и осуществляя подрывную работу изнутри.

— Ты еще здесь? — удивленно глянул из-под очков Сан Саныч.

— Исчезаю... — выдохнул я.

— Кстати, что это за хреновина у тебя с головой? — спросил шефуля, когда я был уже у двери.

— Х-м-м... — стал выкручиваться я. — Понимаете, скоро лето... Пора менять имидж...

— Имидж — это хорошо, — согласился Сан Саныч, — но почему от тебя так несет дустом?

Тут уж я не нашелся, что ответить, и молча пожал плечами. Шефуля еще раз искоса на меня зыркнул, сокрушенно вздохнул и сурово добавил:

— Делаешь работу, берешь двести баксов. Завтра утром мои, честно заработанные проценты, — «честно заработанные» он выделил логическим ударением, — то есть ровно половина, должны лежать у меня на столе. А теперь исчезни. И сделай, наконец, что-нибудь со своей головой.

— Будут лежать, сделаю, всего доброго, — расшаркался я. — Привет супруге, мудила, — добавил я уже за дверью. При этом на меня недобро зыркнула секретарша — беременная растаманка Светочка.

Через пятнадцать минут я и впрямь ехал в 163-ю школу, даже не подозревая о том, какой шоу-бизнес может ожидать меня там. Возможно, там снимают

школьное порно, — думалось мне, — но зачем я им нужен, если от меня несет дустом и у меня не пойми что на голове?

К моему величайшему удивлению, школа № 163 оказалась закрытой, как впрочем, и все нормальные школы в воскресенье. Поначалу я даже обломался и хотел уже ехать домой, но 100 баксов, которые завтра утром должны лежать на столе у Сан Саныча, заставили меня передумать. Нет-нет, ай лав шоу-бизнес, — мысленно успокоил я себя и постучал в ближайшее ко входной двери окно. Результат был нулевой. Постучал сильнее — результат тот же. В конце концов я в отчаянье долбанул ногой в массивную деревянную дверь так, что на меня посыпалась штукатурка.

И только после этого где-то глубоко внутри послышалась загадочная возня. Мне почему-то показалось, что это какая-то гигантская рыба проглотила человека, и тот теперь пытается выбраться наружу.

— Шо надо, ля? — в щель приоткрытой двери на мою голову подозрительно пялился старпер в побитой молью совковой шапке-ушанке с кривой кокардой.

— Где тут у вас шоу-бизнес? — спросил я напрямик.

— Шо-шо, ля? — не понял он.

— Сегодня кроме меня еще кто-нибудь приходил? — упростил я вопрос.

— Да-да, — сразу же закивал он. — Там какие-то пидары за школой в окопе толкутся...

«Пидары? В окопе?» — хотел было переспросить я, но старик уже исчез за дверью, и я услышал, как его шаги медленно удаляются таинственными коридорами школы-рыбы.

Галимая милитаристская тема, из-за которой я вылетел из третьей школы, и сексуальная, или, точнее, со слов старичка, гомосексуальная активность меня вовсе не привлекали... потому на задворки школы я вышел с некоторым опасением. Там было пустое футбольное поле, турники, помойка, а дальше я и впрямь увидел несколько человек, суетящихся на площадке для допризывной подготовки юношей. Юношей среди них я не заметил, и это уже начинало меня стремать...

— Добрый день! — я подошел к чувакам и поздоровался со всеми сразу. — Меня прислал Сан Саныч...

Трое из них оглянулись и несколько минут смотрели на меня вопросительно-изучающе. Особенно внимательно смотрели те двое, что были с видеокамерами. Мне даже показалось, что они меня снимают.

— А-а-а! Шуричек! — вдруг всплеснул руками третий, он был без камеры, но зато у него был лысый череп и какая-то неопределенная улыбка.

— Сева, — лысый подошел ко мне и протянул руку. — Я тут главный, а ты, наверное, тот актер, о котором Шуричек говорил, мдя-мдя-мдя, правду говорил: молодой, лицо мужественное... Вот только на голове у тебя ЧТО?

— Лето скоро, — пожал я плечами, — пора менять имидж.

— Ну, причесон у тебя, положим, попсовый, но дезик прикольный, — подбодрил меня Сева.

«Ну и какой он после этого натурал?» — подумал я, и у меня даже мурашки по спине пошли.

— Как называется?

— Кто? — не понял я.

— Дезик.

— Кири-кири, — вспомнил я название кошачьего шампуня.

— Надо будет и себе купить, — одобрительно кивнул Сева. — Ладно, давай раздевайся, то есть пере...одевайся, я тебе все по ходу объясню! — сменил он тему.

Я напряженно вздыхаю, а Сева уже тащит меня в сторону микроавтобуса,

припаркованного в кустах. Вначале я был так растерян, что даже его не заметил. Из приоткрытой дверцы микроавтобуса, сидя на ворохе пестрых сумок, за нами наблюдает старая швабра, на которой столько штукатурки, что, наверное, хватило бы отреставрировать несколько архитектурных памятников.

— Вот, — говорит Сева и слегка подталкивает меня.

— Умгу, — многозначительно кивает она.

— Амга, — не менее многозначительно отвечает Сева.

Полная жопа — однозначно.

Швабра начинает копаться в своих пестрых торбах и в конце концов достает оттуда потрепанный военный френч, галифе и гимнастерку.

— А сапоги? — спрашивает Сева.

— Сапогов нету... — пожимает плечами швабра.

Возвращаюсь в новом прикиде, но в кроссовках — вид у меня откровенно даунский, для полной картины не хватает только гранаты. Сева тем временем что-то ищет в барсетке, висящей у него на поясе.

«Ну точно — гранату ищет», — думаю я, но он вдруг достает оттуда двести баксов, и вся эта затея начинает казаться мне не такой уж провальной. Студенческая жизнь научила меня растягивать шесть картошек и три кубика бульона на целую неделю, а также любить деньги... Я бы не сказал, что я прямо-таки влюблен в бабки, но когда я их вижу, они мне нравятся, определенно нравятся.

Севе, похоже, бабки тоже нравились, может, даже больше, чем слово «раздевайся». И потому, отдав мне двести баксов, он заметно занервничал и потопал к чувакам с камерами.

— Где этот долбаный гуцул? — раздраженно поинтересовался Сева у одного из них.

— В окопе до сих пор, — виновато пожал плечами тот.

— Антин Христофорович, идите сюда, актер приехал, — крикнул в сторону окопа Сева.

Из окопа, который школьники вырыли специально для уроков ДПЮ, чтобы учиться защищать родное отечество от условного противника... врага, о котором ничего не известно даже директору школы, появляется растрепанная голова. Видно, что Антин Христофорович пытается выбраться на поверхность, но у него ничего не получается.

— Сюда, рыбьята, — зовет он, — вытащите меня из этого проклятого укрытия.

Чуваки смущенно переглядываются, зыркают на Севу, мол, «а может, ну его на... может, пускай там и сидит...». Сева как-то виновато кивает в сторону патлатой головы, мол, «ничего не поделаешь, хлопцы, надо вытащить этого мудака», потому чуваки с выражением обреченности на лицах идут к Христофоровичу, вытаскивают его за руки наверх и, как мешок с говном, бросают на свежую майскую траву, после чего возвращаются и бережно берут на плечи свои черные, нагретые на весеннем солнце камеры.

— Значит так, — подходит к нам патлатый. — Я уже все прекрасно вижу — реклама будет бесподобная, но есть одно «но»... Нам нужен еще один актер.

— Антин Христофорович, бюджет не потянет еще одного актера, ну никак не потянет, — причитает Сева. — Дайте нам хотя бы сюжет сценария. Чтоб... Да, тебя, кстати, как зовут? — обращается он ко мне.

— Баз, — говорю я.

— Очень приятно. Антин Христофорович, галицкий режиссер, — галантно кивает патлатый и протягивает мне визитку. Там написано: «Антин Христофорович, галицкий режиссер». — Так вот...

Тут галицкий режиссер вдруг хватается за карманы своей джинсовки и начинает в них шарить. Того, что он ищет, в джинсовке не оказывается, поэтому он так же суетливо шарит по карманам джинсов, но там тоже нет этого «чего-то». В конце концов он засовывает руку в задний карман и с явным облегчением вытаскивает оттуда какие-то колеса, высыпает на ладонь несколько штук и бросает в рот.

— А что это ты на меня так смотришь? — настороженно спрашивает он. Я молча пожимаю плечами. — Это от головы, — продолжает оправдываться галицкий режиссер, — я еще никак не могу привыкнуть к вашей климатической зоне.

— Сева, а откуда он? — шепотом спрашиваю я.

— Ты же слышал, из Галиции... — тоже шепотом отвечает Сева.

— А у них там что, другая климатическая зона? — начинаю сомневаться я в своих знаниях по географии. Говорю же, на учебу я забил еще в первом классе.

— Ага, — Сева кивает в сторону Христофоровича и крутит пальцем у виска. — Понимаешь, — шепчет он, — главный тут — я, я завхоз, у меня бабки, у меня все, но фирма подписала контракт с этим режиссером, ничего не поделаешь...

— Но он же на колесах...

— Ничего не знаю, — отрезает Сева, — шеф сказал, что он креативный кретин...

Судя по невинному выражению лица, Сева не понимал ни первого, ни второго слова...

И тут колеса, похоже, начинают действовать, потому что креативный кретин заметно оживляется...

— Я все уже замечательно вижу, — объясняет он, жестикулируя так активно, что со стороны может показаться — он хочет взлететь. — Вторая мировая война. Итальянцы, мать их, наступают на эфиопов. Баз будет у нас эфиопом.

— Эфиопом? — охренело переспрашиваю я. Но эфиопы, они же — негры, Антин... как вас...

— Антин Христофорович, галицкий режиссер, — подсказывает он, дыша мне в лицо перегаром. — Черт с ними, негры так негры... Значит так, — начинает оправдываться он, — ты — европейский археолог, которого фашизм застал на территории Эфиопии, и ты вливаешься в ряды армии этой гордой, непокорной нигеро-кордофанской страны, чтобы бороться против мирового зла...

— Сева, а что мы хоть рекламировать-то будем? — осторожно спрашиваю я.

— Пиво, — вздыхает Сева.

— А при чем тут мировое зло? — не понимаю я.

— Это, — говорит Сева, — все из-за их климатической зоны.

— Нигеро-кордофанской? — вконец запутываюсь я.

Сева так резко закатывает глаза под лоб, что мне кажется, они уже никогда не вернутся в нормальное положение.

— Ну хорошо, — соглашаюсь я, — а френч, галифе и гимнастерка... тоже из-за климатической зоны?

— Нет, — говорит Сева, — это потому что пиво называется «офицерское»...

Креативно-кретинного Христофорыча снова обуревает творческий порыв:

— Так... Баз сидит себе в шанце, всех эфиопов поубивало, потому что они ничего не соображают в военной тактике и военных маневрах, — аж захлебывается он. — У База остается граната и несколько банок офицерского пива. О, нет... нет... нет... Сева, Сева, дорогой мой, ничего у нас так не получится! — он картинно заламывает руки.

Сева в отчаянье хватается за голову.

— Севочка, нам нужен макарон, — креативит Христофорыч.

— Какой еще макарон? — Севино отчаянье так велико, что он непременно стал бы рвать на себе волосы, если бы они у него были.

— Нам нужен итальянский зольдат, как же ты не понимаешь?

— Да где же я вам возьму солдата, да еще итальянского, Антин Христофорович?

— Это от головы!!! — будто убеждая себя, кричит галицкий режиссер и бросает в рот еще несколько колес. — Сева, мать твою, но мы же где-то взяли европейского археолога, которого фашизм застал на территории Эфиопии?

Я вообще стою в полном ауте. Единственное, чего в данном случае хочется, так это, крепко схватив две стобаксовые бумажки, слинять, просто незаметно слинять от этих двух клоунов. Останавливают меня только мой даунский прикид и мои собственные шмотки, которые остались в микроавтобусе под бдительной охраной старой швабры.

Но тут Севино лицо неожиданно проясняется. Он достает из кармана мобильник и быстро набирает номер.

— Значит так, — говорит он, — бери свой велосипед и быстренько дуй сюда.

Следующие минут десять проходят в напряженном молчании. Сева ходит туда-сюда и грызет ногти, Антин Христофорович ползает вокруг окопа и, состроив из указательных и больших пальцев подобие объектива, выбирает ракурсы для съемки будущего рекламного ролика. Через какое-то время к нам на бешеной скорости подлетает гопник-велосипедист, весь в пыли. На всех парах он подруливает к Севе, спрыгивает с велика и с озабоченным видом пытается отдышаться, но по всему видно, что его просто распирает естественное гопницкое любопытство.

— Значит так, — сходу обламывает его Сева, — ты будешь макароном.

Гопник, судя по всему, маленько вылетает из колеи и не совсем ловит, чего от него хотят, но по-гопницки доверчиво и утвердительно кивает.

— Знакомься, — это Баз, наш главный герой.

— Макарон, — деловито протягивает мне руку гопник.

— Это наш курьер, — объясняет наконец Сева. — Никто не знает город лучше него. Молния — не пацан! Антин Христофорович, мы нашли итальянского солдата!

Антин Христофорович размыкает руки, тем самым ломая воображаемый объектив, и подходит к гопнику.

— Перфектно! — говорит он, дыша на гопника перегаром. — Теперь можно начинать. Наш главный герой — европейский археолог, которого фашизм застал на территории Эфиопии...

После этого пассажа энтузиазм гопника потихоньку гаснет, и я понимаю, что он уже начинает сожалеть.

— ...остается с глазу на глаз с врагом, — продолжает галицкий режиссер, — то есть с макароном!

— Я, это я — макарон! — услыхав знакомое слово, делает шаг вперед гопник.

— Хорошо-хорошо, — треплет его по щеке Христофорович. — Наш макарон должен быть агрессивным, прямо-таки взбешенным. Ты умеешь материться по-итальянски? — напрямик вопрошает режиссер.

Гопник растерянно качает головой: нет, мол.

— Мдя... Так... Ммм... Словом, будешь кричать — мадонна путана! А ну, повтори!

— Как-как? — смущенно переспрашивает гопник. — «Макдоналдс» сраный?

— Сева, черт побери, что это за кретин? — сердится Христофорович.

— Я не кретин, я курьер... То есть макарон, — неожиданно возмущается гопник.

Сева, уловив слово «кретин» в отрицательном значении, выглядит сбитым с толку, но возмущается:

— Никто не знает город лучше него!

— Ладно-ладно, — как-то сразу сникает Христофорович. — Макарон, повтори: ма-дон-на-пу-та-на.

— Ма-дон-на-пу-та-на, ма-дон-на-пу-та-на — повторяет гопник очень легко, с металлическим оттенком в голосе, как будто в лингафонном кабинете.

— Перфектно! — хлопает в ладоши галицкий режиссер. — Все... Это твои слова, выучи их, больше тебе ничего не придется говорить, потому что у нас очень агрессивный макарон, и весь ролик будет агрессивным... Значит так, наш макарон с криками «мадоннапутана» прыгает в шанец.

Услышав еще одно незнакомое слово, гопник настораживается. По выражению его лица я понимаю, что он не совсем догоняет, что это за фигня такая — «шанец», и вообще — хорошо это или плохо. Тем не менее, гопницкое любопытство перевешивает, и он начинает слушать.

— Щас я озвучу концепцию, рыбу...

Это удивляет гопника еще больше. «Ну, допустим, — наверное, думает он, — может, это... концепцию и можно озвучить, но как можно озвучить рыбу?»

— Баз сидит в шанце, — продолжает Христофорович, — в одной руке у него граната, в другой — фляжка «офицерского» пива. Кстати, Сева, у нас еще где-то там осталось или уже все выжрали? — как-то виновато кивает Христофорович на операторов.

Сева вприпрыжку бежит к микроавтобусу, приволакивает оттуда ящик пива в каких-то отстойных бутылках, закупоренных крышечками с кольцом.

— Баз сидит в шанце. Слышен крик макарона.

— Да-да, я — макарон, — в который раз соглашается гопник.

— Баз, ты в это время делаешь очень злое лицо, прямо-таки перекошенное от злобы, — входит в раж Христофорович, — дергаешь за чеку и бросаешь гранату. Ну, мы тут в студии создадим эффект взрыва, в шанец полетят земля, руки, ноги и кишки макаронов.

При этих словах Христофорович как-то подозрительно подмигивает Севе, и мне это, откровенно говоря, не очень нравится. Гопнику, видимо, тоже не очень-то хочется, чтобы его кишки куда-то там летели. Он даже забывает про свое «я, я макарон!».

— Повисает зловещая тишина, опять слышны крики макаронов. Они все ближе и ближе, ближе и ближе... И тут, Баз, ты не выдерживаешь, ты бросаешься к ящику с пивом, хватаешь фляжку, четким движением, будто кольцо гранаты, срываешь крышечку... Делаешь несколько глотков... И... хреначишь фляжку из шанца!!! За ней — другую, третью, четвертую... Хреначишьхреначишьхреначишь... И тут вдруг появляешься ты, — Христофорович подходит к гопнику и снова похлопывает его по щеке, — и с криками...

— Ма... ма... — пытается вспомнить гопник.

— Мадонна путана, — тихонько подсказывает ему Сева.

— Ма-дон-на-пу-та-на, — старательно повторяет тот, как в лингафонном кабинете.

— Правильно, — соглашается Христофорович. — Ты прыгаешь в шанец, и вы с Базом начинаете имитировать рукопашный бой...

— Да это им... как два пальца... — для чего-то добавляет Сева.

— Да-да, — соглашается гопник и почему-то недобро косится на мою неформальную причу.

— Что — как два пальца? — не понимает режиссер.

— Ну, у нас тут на Слобожанщине поговорка такая, — смущается гологоловый Сева.

— Так, никаких двух пальцев, — шикает на него Христофорович, — тут командую я, это мой сценарий, и я за него несу полную ответственность! Это моя, бля, репутация, и я не потерплю в ней никаких ваших слобожанских пальцев, — распаляется кретинный, то бишь креативный режиссер. — Не перебивайте меня! Так вот... в конце концов, Баз душит макарона и с выражением честно исполненного долга на лице допивает пиво...

Мы все вопросительно смотрим на Христофоровича, особенно гопник-макарон:

— Понарошку? — переспрашивает он шепотом.

— Что — «понарошку»?

— Душит...

— Да-да, — поддакивает Сева, — как же мы без курьера?

Христофорович составляет из пальцев воображаемый пистолет и стреляет себе в висок, продолжая говорить:

— А в конце... делаем эффект... компьютерный эффект. Так, будто бы по экрану телевизора кто-то стреляет из пулемета и выводит надпись «ОФИЦЕРСКОЕ ПИВО — РОДИНА ДУМАЕТ О ТЕБЕ!!!»

Но мы все так же вопросительно смотрим на Антина Христофоровича. Мы с Севой, потому что не совсем въезжаем в концепцию и рыбу, а гопник — потому что до сих пор не знает, по-настоящему его будут душить или «понарошку».

— Так, — смущается Христофорович, — вы, слободские, ни хрена не соображаете в этом бизнесе. Все. Через десять минут съемка.

Сева обреченно ведет гопника к микроавтобусу пере... одеваться, а меня Христофорович заставляет лезть в окоп и спускает мне туда ящик с пивом. Я, не долго думая, открываю одну бутылку и начинаю входить в роль... Режиссер в это время топает к операторам, которые с завистью поглядывают на мое «офицерское», и начинает им что-то втирать. Пиво, врать не буду, галимое. Похоже на воду с пеной от хозяйственного мыла. Но настроение у меня еще хуже, поэтому я продолжаю пить. Минут через десять гопника наконец выпускают из микроавтобуса — он в какой-то фрицевской тужурке, во всяком случае, на плече у него бундесверовский триколор. На итальянского солдата он вообще даже не смахивает, собственно, и на немецкого тоже. Он так и остается курьером, который знает этот город лучше всех.

Издали я смотрю, как Антин Христофорович опять похлопывает гопника по щеке, гопнику это не нравится, и он как-то виновато косится на своего шефа — Севу. «Ну, все, — думаю я, — сейчас он вырубит нашего режиссера», — и открываю еще одно пиво. Прихлебывая, наблюдаю, как Сева опять исчезает в микроавтобусе и сначала выносит оттуда какой-то подозрительный мешок, а потом алюминиевый тазик.

— Сева, — кричу я, — а это еще что?

— Спецэффекты... — как-то загадочно улыбается он. — Для взрывов спецэффекты...

Ну-ну — отворачиваюсь я, но боковым зрением замечаю, что он зачем-то натягивает резиновые перчатки.

Когда ко мне подходит Христофорович, я уже допиваю четвертое пиво и мне дико хочется отлить.

— Все, щас будем снимать. На, держи, — говорит он и бросает мне в окоп муляж гранаты. От одного ее вида мое настроение с галимого превращается в совсем галимое. — Давай, ты сидишь под бруствером, держишь гранату, фляжку и думаешь о том, как ты ненавидишь итальянских зольдат.

Я усаживаюсь под бруствер, беру болванку пива и думаю о том, что если я сейчас не отолью, то и в самом деле могу тут погибнуть. Погибнуть нелепой смертью в этом окопе. И тут вокруг окопа начинают бегать два придурка с камерами.

— Перфектно, просто перфектно, — кричит Христофорович, — какая ненависть в лице! Талант!

В этот момент у меня над головой, прямо на бруствере начинает что-то взрываться. Я инстинктивно падаю на землю. Все это напоминает пулеметные очереди, а на голову мне сыплются комья земли.

— Гранату, гранату! — кричит Антин Христофорович.

Я хватаю первое, что попадается под руку, и бросаю куда-то вверх. Кажется, это было недопитое «офицерское» пиво, но Христофорович не обращает внимания.

— Ба-ба-бах! — орет он. — Ну, это, типа, взрыв был... А теперь — спецэффекты. Баз, давай из-за бруствера.

Я перебираюсь за бруствер и одним глазом вижу, как надо мной пролетают комья земли, потом (полный пипец) *рука* и *нога* в военном обмундировании. Но самое интересное начинается через секунду. На бруствер плюхается что-то тяжелое и непонятное — я поднимаю голову и вижу на бруствере чьи-то кишки, настоящие *кишки*. «Господи, бедный гопник», — думаю я... И отворачиваюсь...

— Пивом, пивом их! — не унимается Христофорович.

Это звучит так, будто я должен бомбить пивом именно эти кишки. Тогда я хватаю из ящика пиво, открываю его и даже не надпив, как значилось в рыбе, хреначу прочь. Не пью я, во-первых, потому что мне невыносимо хочется отлить, а во-вторых, — на бруствере, в тридцати сантиметрах от меня висят кишки курьера, который знает этот город лучше всех, и меня от этого едва не выворачивает.

— А теперь, макарон, в атаку, в рукопашный бой. Только без пальцев, рыбьята, — это моя репутация!!! — предупреждает Христофорович.

Я слышу, что к окопу с криками «ура-а-а!!!» приближается гопник. Собственно, криков в сценарии не было, но меня радует уже хотя бы то, что он жив и здоров. Гопник вылетает на бруствер, осатанело зыркает на мою неформальную причу, — вокруг нас, будто в каком-то диком танце, кружатся операторы, — делает шаг вперед и уже хочет прыгнуть на меня... А я прикидываю в уме, как бы его лучше валить... Но он неожиданно поскальзывается на кишках, картинно взмахивает руками и ласточкой пролетает мимо меня, прямо на ящик с остатками «офицерского».

— Перфектно! — какого-то черта орет Антин Христофорович.

Гопник приземляется всей грудью на пластиковый ящик и затихает. По стенке окопа сползают раздавленные им кишки...

— Макдональдс... рваный... — хрипит гопник...

— Кишки, кишки берите крупным планом! — Христофорович вне себя от восторга. — А потом База! Баз, где твоя граната?

Я нахожу гранату, изо всех сил стискиваю ее в кулаке и понимаю, что мой мочевой пузырь сейчас разорвет...

— Гранату, гранату крупным планом! — звучит наверху. — А теперь бросай!!!

Из последних сил я хреначу гранату куда-то вверх, слышу отчаянное «ой, б...дь» и понимаю, что вторая в моей жизни граната тоже попала в цель.

— Снято! — кричат операторы...

А я смотрю вверх на затемненный диск солнца и умираю, умираю в братской могиле с лучшим курьером этого города, на чьих-то раздавленных кишках...

По правде говоря, мне совсем не хотелось взрослеть. Весь этот бестиарий, весь этот цирк, этот дурдом — все это меня устраивало. Более того — я все это любил. Кто-то другой на моем месте непременно бы расслабился, стал бы пропускать шайбы в свои ворота. Кто-то чувствовал бы себя неуютно... Представь, ты попадаешь под ливень, заходишь к своему другу и, пока твоя одежда сохнет, он дает тебе джинсы своей сестры... мол, не сидеть же тебе тут в одних трусах. «Ладно, ладно, — думаешь ты, — джинсы сестры, ничего страшного...» Но когда ты понимаешь, что его сестра носит джинсы на шесть размеров больше твоих... И вот ты сидишь в этих джинсах... И вдруг приходит она.. то есть сестра... Я это к тому, что кое-кто чувствует себя так всю свою жизнь. К счастью, до этого момента у меня в жизни ничего такого не было.

У меня была работа, я заканчивал четвертый курс филологии и после последнего зачета, а это, кажется, была «безопасность жизнедеятельности», должен был получить диплом бакалавра. У меня были проблемы с женщинами... То есть проблем как таковых не было, но трудно было припомнить хоть одну женщину, которая согласилась бы жить со мной больше недели. Последняя была на четыре года старше меня. Помню, она позвонила мне и сказала, что больше не хочет меня видеть.

— Что-то не так? — спросил я.

— Да, — сказала она, — меня очень раздражает твое поведение.

— Ты это о чем?

— Меня раздражает, что когда я жарю яичницу, ты срываешь с меня одежду и начинаешь меня любить... а когда мы лежим в кровати и я хочу, чтобы ты меня любил, ты читаешь своего долбаного Ортегу-и-Тангенса.

— Ортегу-и-Гасета, — поправил я.

— Да мне насрать...

— Ой, бля-а...

— Что бля? Ну что бля? Сказать нечего, да?

— Бля-аа... как же я мог спать с женщиной, которой нас...ть на Ортегу-и-Гасета...

Словом, с женщинами мне не фартило, впрочем, оптимизма я не терял. Но обо всем по порядку.

Первое, что я замечаю, выбравшись из окопа, — это креативно-кретинного галицкого режиссера, который катается по земле, держась за колено. В метре от него лежит граната. Неверными шагами я двигаюсь к ближайшим кустам. Следующие десять минут из меня выходит «офицерское» пиво, а я, прищурившись, созерцаю полузатемненный диск солнца. Оно почему-то напоминает мне бухой и красный глаз, неотступно наблюдающий за мной. Потом я возвращаюсь на нашу съемочную площадку. Вижу, как операторы и Сева пытаются эвакуировать из окопа гопника, вижу Христофоровича, который все так же одиноко валяется на земле, обняв свое колено, но до него никому нет дела, даже родине... Конечно же, агентству куда важнее курьер, который знает этот город лучше всех.

— Это все ваши долбаные слобожанские пальцы! — со стоном выкрикивает вдруг режиссер и затихает. Но на него все равно никто не обращает внимания.

Я плетусь к микроавтобусу, влезаю в боковую дверь и начинаю раздеваться. Старая швабра все это время как-то недобро водит за мной глазами, «как будто хочет укусить за ягодицу», — думаю я и начинаю снимать штаны. И тут ни с того ни с сего она вдруг спрашивает:

— Молодой человек, вот вы скажите, а ВЫ в бога верите?

Это ее ВЫ звучит настолько отчетливо, что мне начинает казаться, будто в микроавтобусе есть еще кто-то. И, возможно, этот кто-то сейчас в одной из этих пестрых торб... Ведь где Сева мог взять кишки? Кишки просто так на дороге не валяются. От этой мысли я выпадаю в осадок, хочу подняться в полный рост, неожиданно бьюсь башкой о крышу микроавтобуса и падаю куда-то между кресел... И уже лежа там, продолжаю стаскивать с себя штаны.

— Ну, почему же вы молчите?.. — укоризненно говорит швабра.

В эту минуту я очень жалею, что у меня не осталось еще одной гранаты.

— Ибо бог есть, и в него нада вероваць и не бояцца говорить об этом... И тому есть прямые доказательства... Как-то раз настоятель нашево прихода Билл Даун попал в автокатастрофу. Он переезжал на мапеде железнодорожный путь, и в нево врезался поезд... Но Билл выжил.

— Я не могу говорить о боге, когда я без штанов. Это неэтично, — обрываю я швабру, пока та не начала вещать про историю создания своей церкви и про то, как ублюдок Билл навернулся к богу.

— Ах, да-да... — слышу я откуда-то из-за кресел, и швабра бросает мне мои шмотки.

Лежа между кресел, я одеваюсь, а старуха тем временем подносит мне пачку агитационных брошюр и кладет рядом со мной, вернее, на кресло под которым я лежу. Так возлагают цветы на могилу неизвестного солдата.

— Возьмите, почитайте, — добавляет она.

Все еще лежа на спине, я раскрываю одну из брошюр и на первой странице читаю: «Путь к Богу есть долгий и тернистый, каждый приходит к Всевышнему по-разному, я же, Билл Даун, приехал к нему на мопеде "Ямаха"...»

Домой пришлось добираться почти через весь город. Уже в своем районе я решил обменять сто баксов на нормальные деньги. «Дзевочка» в обменнике, подозрительно взглянув на мою причу, и, наверное, не веря, что у такого лузера, как я, могут быть настоящие сто баксов, принялась проверять их всеми возможными способами. Она то совала их в аппарат с фиолетовой лампочкой, то просматривала на дневной свет, то царапала ноготком, пока я вдруг не заметил, что у нее за спиной стоит микроволновка...

— Только не в микроволновку, — попросил я.

— Если они фальшивые, — сказал вдруг здоровенный качок, которого я сперва принял за сейф... Похоже, по жизни он был немногословным, потому как еле-еле разбирал слова, путался и выговаривал их как-то нехотя... — если они фальшивые, — повторил он, — я засуну их... — после этого он задумался, наверное, над тем, все ли правильно он сформулировал и не забыл ли чего.

— Но это же мои сто баксов, и вы не имеете права никуда их засовывать! — возмутился я.

Качок потянулся за дубинкой, но «дзевочка», к счастью, сказала: «Вася, все в норме, баксы настоящие».

Вася завис и, похоже, стал обдумывать свой ответ... Так и не дождавшись, что он скажет, я забрал бабло и двинул в ближайший маркет.

Там было холодно и пусто. Пусто, потому что на прошлой неделе кто-то оставил в камере хранения взрывчатку, которая разнесла витрину и покалечила нескольких посетителей. Но я продолжал сюда ходить, свято веря, что в один и тот же маркет взрывчатку два раза не подкладывают... Хотя я плохо разбираюсь в маркетинг-технологиях... Может, в каком-то из их учебников так и написано: если твой конкурент снижает цены, проводит акции и переманивает к себе твоих покупателей, заложи ему, сука, взрывчатку. А если не поможет, через недельку повтори процедуру.

Задумавшись об этом, я наткнулся на девушку в красно-зеленой униформе, она, как гильзы, перебирала в своей прозрачной сумке тюбики зубной пасты.

— Привет, — неожиданно для себя говорю я, — можешь у меня ничего не спрашивать, я зубы чищу.

— Правда? — она испуганно моргает, переводя взгляд то на мою голову, то на пачку агитационных брошюр, где говорится о том, как Билл Даун ехал к Богу на мопеде «Ямаха», и его сбило поездом.

— Я рада за тебя, — серьезно и все еще с опаской говорит девушка. — А с головой у тебя — что?

Перед девушкой мне неудобно — со мной так бывает всегда, если я первым начинаю разговор, и он не клеится. К тому же меня просто бесит, когда меня воспринимают как какую-то одну часть тела, а не всего целиком. Я бросаю брошюры в морозильник с рыбой и развожу руками:

— Скоро лето, пора менять имидж...

После этих слов к девушке подходит какое-то чмо с бейджиком и начинает что-то раздраженно шептать ей на ухо. Сто чертей, ненавижу менеджмент, маркетинг и весь этот, сука, современный бизнес вместе взятый... Всех этих ублюдков с бейджиками... У меня возникает непреодолимое желание забросить это чмо в холодильник с рыбой, чтобы он почитал там немного про Билла Дауна и его мопед. Но чмо быстро исчезает, оставив девушку с глазами, полными слез.

— Какой пастой ты пользуешься? — еле выдавливает она из себя.

— Что? — не понимаю я.

— Говори быстро, какой пастой ты пользуешься... У меня испытательный, понимаешь? Если ты сейчас что-нибудь не скажешь, меня уволят. Видишь, за мной наблюдает вон то чмо из-за холодильника с колой?

Я лихорадочно пытаюсь вспомнить название хотя бы одной зубной пасты, но мне словно мозги отшибло, поэтому я засовываю руки в карманы, смущенно улыбаюсь и громко, так, чтобы даже чмо за холодильником с колой услышало, признаюсь:

— Галимой, очень-очень галимой пастой. От ее вкуса у меня всегда портится настроение. А эта паста, — показываю на ее сумку, — эта нормальная?

— Не знаю, — шепчет девушка. — Мне ее только что дали, я даже инструкцию прочитать не успела.

— Ну а думаешь ты как?

— Что думаю? — переспрашивает девушка так, будто она никогда в жизни ни о чем не думала.

— Ну, нормальная она или нет?

— Думаю, что нормальная.

— А почему?

— Видишь, там такой бобер на упаковке — с бревнышком.

— Да, в самом деле, — я совсем сбит с толку. — Скажи, а ее можно глотать?

— Глотать?

— Ну да, у меня в детстве была очень вкусная сладкая паста, не такая галимая, как сейчас... Я ее ел.

— Понимаю, — сочувственно кивает девушка, — тяжелое у тебя было детство.

— Да нет, нормальное было детство, просто мой отец говорил, что если есть зубную пасту, то можно умереть от поноса.

— И что?

— Ничего, я все равно ел... Класса до седьмого, кажется... Надеюсь, эту пасту тоже можно есть?

— Не знаю, — пожимает она плечами. — Если хочешь, могу позвонить нашему агенту.

— Агенту? — зачем-то переспрашиваю я (это одна из галимых черт моего характера — задавать дурацкие вопросы). — Твоя контора держит агента, который ест пасту?

— Все, — говорит девушка.

— Что — все? — в очередной раз не понимаю я.

— Вот б...дь, — она уже почти кричит, — затрахал ты меня!!! И тот мудак за холодильником! Да-да, — чуть не кричит она, когда бейджик выглядывает из-за холодильника с колой, — можешь не прятаться, я все равно знаю, что ты там. Ты следишь за мной, шаришься... Ненавижу все это, взорвать этот сраный супермаркет!!! Взорвать все супермаркеты!!! — она уже собирается бросить свою сумку с рыбой и брошюрами про Билла Дауна и его мопед, впрочем, я успеваю схватить ее за руку.

— Тссс... Ты чего?

Я достаю из ее сумки пять тюбиков зубной пасты с придурковатым бобром, целую ее в щеку и, чувствуя себя асоциальным элементом, быстро ретируюсь, чтобы она меня не убила...

Когда я прохожу мимо холодильника, за которым прячется мудак, тот выпученными глазами смотрит на мои пять тюбиков зубной пасты и хватает ртом воздух.

— Что? — говорю я.

— П-п-приобретая пять тюбиков, — запинаясь, объясняет он, — вы автоматически становитесь участником розыгрыша мопеда «Ямаха»...

Вылетая из маркета, я успеваю прихватить блок честера, бутылку коньяку и банку ананасов для Кэт...

Дома был только Мяуцзедун — это наш старый и очень ленивый кот. Мы нашли его с Икарусом полгода тому назад возле подъезда. Какие-то выродки посадили его в картонную коробку из-под телевизора и выбросили из окна, но котяра выжил. Увидев такое, Икарус просто не мог его не забрать. Почему? Поймете немного позже. Собственно, Мяуцзедун оказался не таким уж плохим чуваком, несмотря даже на то, что ему ни до чего не было дела. Когда у него от старости стала вылезать шерсть, я всем говорил, что его трахнула моль. Ну, не в прямом смысле, конечно, в переносном, хотя, если бы моль трахнула его натурально — я так подозреваю, ему тоже было бы абсолютно все равно.

Собственно, то, что его звали Мяуцзедун, тоже его ничуть не волновало — он никогда не отзывался на это имя. Одним словом, он вел себя, как какой-нибудь святой на пенсии, и пользы от него не было никакой — балконные голуби на такого хищника, известное дело, клали, мыши у нас не водились, а держать Мяуцзедуна на руках тоже мало радости — у него клочьями вылезала шерсть и иногда он пускал газы. Во всем остальном он был нормальным животным.

У меня с самого утра во рту ни крошки не было, но на хавчик меня пробило только тогда, когда я вернулся домой. На кухне было пусто — впрочем, для квартиры, которую мы снимали с Икарусом, это было нормально. Мы покупали

еды столько, сколько могли съесть в один присест — холодильника у нас не было, а на балконе, где в холодную пору года можно было держать продукты, жили и гадили голуби.

Ну, короче, я порылся в кухонном столе, но так ничего и не нашел. Ананасы Кэт я съесть не мог, потому что любил делать Кэт приятные сюрпризы, а если бы я съел ее ананасы, то сюрприз оказался бы неприятным... Есть зубную пасту было опасно, я ведь так и не взял телефон агента, который ее глотал. К тому же, если я ее съем, то где гарантия, что я не выиграю мопед? А эта тема меня вообще пугала. И тут вдруг я вспомнил про шкафчик, оклеенный эротическими картинками. В нем я нашел пол-литровый чугунок, в который кто-то насыпал креветок, и мешочек с кошачьим кормом. «Корм трогать не буду, — подумал я. — Мяуцзедун мне не простит», — и глянул на креветок: они смотрели на меня, а я качал головой и смотрел на них.

— Ты что, собираешься их есть? — спросил Мяуцзедун и потерся о мою ногу.

— А что такого? — пожал я плечами

— Блин, у них какие-то подозрительные глазки... — высказал недоверие кот. — Такое впечатление, что они нас пасут...

— Слушай, они же дохлые.

— Вот я и говорю, сдохли, сволочи, а теперь еще и пасут...

— У тебя паранойя, слышишь, тебе надо меньше спать и больше двигаться.

— Как знаешь, как знаешь, — сказал Мяуцзедун и пошел восвояси, наверное, смотреть на голубей сквозь балконное окно...

Вообще-то я не люблю морепродукты, особенно рыбу... Рыба для меня является чем-то вроде священного существа. Помню, в детстве, когда отец водил меня в зоопарк, я мог часами простаивать перед гигантскими аквариумами, глядя в их немытое стекло, а когда надо было возвращаться домой, ну, когда батя успевал по пять раз посмотреть на остальных животных, а я все еще торчал перед рыбами, — я всегда устраивал истерику. Короче, тогда, в детстве, мне было очень уютно с рыбами, и это, наверное, наложило на мою психику определенный отпечаток.

Но сейчас у меня не было выбора. Я открыл чугунок, еще раз взглянул в грустные и подозрительные глаза креветок, набрал их целую горсть, бросил в рот и, кривясь от омерзения, стал жевать, чувствуя, как они пускают сок. Не в силах терпеть, я запил их несколькими глотками коньяку, поплелся в комнату, не раздеваясь завалился на свой морской надувной матрас, который Кэт привезла мне в прошлом году с моря, куда она ездила с родителями летом на каникулы, и в ту же минуту провалился в сон...

И вот я снова оказываюсь в каком-то окопе. Лежу на спине и смотрю в небо, в глаза мне светит полузакрытое облаками солнце. Сквозь слезы я вижу у него с одной стороны черное пятно, и мне начинает казаться, что это кариес, обыкновенный кариес... и мне очень жаль, что я не могу поделиться с солнцем зубной пастой, которую я недавно огреб в маркете и которую, судя по всему, нельзя глотать. «Странный какой-то окоп, — думается мне, — где кишки? Где лучший курьер этого города?» Неожиданно замечаю, что у меня на шее висит командирский бинокль. Это немного сбивает меня с толку, однако я не двигаюсь. Еще несколько минут не происходит ничего. Потом в небе возникает звук самолета, и над моим окопом пролетает кукурузник, сбрасывая агитационную литературу. Я опять лежу и жду, пока вся эта камарилья, как подбитые птицы, не спланирует на меня... БЛЯАА!!! Опять Билл Даун со своим мопедом!!!

Я осторожно высовываюсь из окопа, вижу перед собой подолбанное взрывами поле и ограждение из колючей проволоки, а дальше маячат несколько пулеметных вышек. Я навожу бинокль на них и с ужасом сознаю, что там, ближе к небесам, за пулеметом сидит старая швабра, которая донимала меня в микроавтобусе. Получше настроив бинокль, я вижу за вышками их Эдем, он напоминает обыкновенный европейский кемпинг. Там шляются какие-то растаманы...

Однако мое внимание вдруг отвлекает хлопанье крыльев и пронзительный звук мотора. Я отбрасываю бинокль в сторону и вижу ангела... точнее, не ангела, а... Словом, представьте себе, что получится, если двадцатилетнему старейшине какой-нибудь американской церкви, в белой рубашке с бейджиком, галстуком, в черных брюках и дорогих шузах, приделать крылья. Он рулит ко мне на мопеде, в одной руке руль, в другой — рюкзак, однако не доезжая нескольких метров, в нерешительности глушит мотор. «Гаси его», — слышу я голос старой швабры с вышки. Ангел долго копается в рюкзаке, потом виновато пожимает плечами. «Офицерское уже закончилось», — кричит он ей в ответ. «А еще говорили, что родина думает о нас!!! — орет благим матом старуха. — Бросай в него все — все, что у тебя есть». Чувак с бейджиком и крыльями пидарским движением бросает в мою сторону рюкзак. Тот падает в пяти шагах от моего окопа. «Ну ладно, я поехал!» — кричит он старухе. «Куда, курва? — выходит из себя та. — Бросай еще!» «Да что бросать?» — не понимает он. «Туфли бросай, все, что у тебя есть, бросай!» — «Ты что, долбанулась? — кричит он ей. — Они же из крокодиловой кожи, 800 евро!!!» Но воздух над его головой вдруг прошивает пулеметная очередь... «Ладно-ладно... — кричит он опять. — Подожди, дура ты чокнутая. Я сейчас попробую с ним договориться. Вот ду ю ду?» — начинает он махать руками мне. Фишка в том, что английский я знаю не очень хорошо, а в эту минуту мне вообще приходит на ум только одна фраза, написанная на стене возле нашей с Икарусом квартиры. Именно ее я и решаю озвучить: «Йор мазер факин кук!!!» — кричу я чуваку... Тот как-то придурковато лыбится и кричит в ответ «Ай ноу» или что-то типа того... «Зато я стреляю жестко!!!» — слышится сверху, и мой персональный окоп, перед которым остановился ангел в шузах за 800 евро, закрывая своей придурковатой американской улыбкой кариесное солнце, начинают расстреливать из пулемета...

Просыпаюсь я оттого, что меня знобит и тошнит. Ощущение такое, что креветки, которых я недавно съел, ожили внутри меня, ожили и остановили мой желудок, как террористы метро в час пик, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Открыв глаза, убеждаюсь, что надо мной нет никакого кариесного солнца, а только одни газеты, которыми собственник нашей съемной квартиры зачем-то оклеил потолок. Но о нем, о собственнике Рулерте Ивановиче, будет отдельный разговор. В углу возле стереосистемы торчит Икарус. На самом деле он мало похож на настоящего Икаруса, но когда торчит над стереосистемой в своих гигантских наушниках, то до чертиков похож на космонавта... первого космонавта. Но я ему про это никогда не говорил. Икарус сидит с закрытыми глазами. И это значит, что сейчас его трогать нельзя — он слушает «рэд элвисов». Проще вскопать на асфальте грядку, чем вывести его из этого фестивального коматоза. Впрочем, это единственная запись, которую он слушает постоянно в течение последних двух лет, что я его знаю. На альбоме написано «Welcome to the freakshow», но я понятия не имею, что это значит. И тут креветки в моем желудке делают еще одну ротацию. Я срываюсь со своего надувного матраса, потому что уделать мне своего лучшего друга ох как не хочется, тем паче, что «рэд элвисов» он будет слушать даже уделанный. Сделав пару шагов в направлении

коридора, я вдруг понимаю, что его дико штормит. Такое ощущение, что нашу, то есть не нашу, а Рулерта Ивановича квартиру за все его грехи смыло всемирным потопом вместе с нами, почти безгрешными. От этой мысли о несправедливости Всевышнего, единственно возможный путь к которому — мопед «Ямаха», мое отчаяние становится еще глубже. Я добираюсь до туалета, слышу, как в ванной шумит вода... Похоже, там кто-то принимает душ, но мне, если честно, пофиг, будь в нашем душе сейчас хоть Папа Римский... мне нечего ему сказать, кроме как... досточтимый Папа, я рад, что вы любезно изволили посетить наш душ, но отойдите, ради бога, если не хотите, чтобы я облевал вас креветками...

В туалет я вползаю на четвереньках и начинаю блевать. Блюю отчаянно, блюю и слышу, как у меня за спиной кто-то все время тихонько скребется. И это тихое царапанье в какой-то момент заполняет всю мою бедную голову, и мне кажется, что там, в моем черепе поселилась колония обкуренных кротов, и им именно сейчас позарез надо выбраться на поверхность, чтобы посмотреть, как я блюю креветками, хотя как они могут это увидеть, они же слепые... От этой мысли меня маленько отпускает. «Не все так плохо, если я осознаю причинно-следственные связи, если я понимаю, что по всем правилам диалектики кроты не могут видеть, как я блюю креветками, то... но, бляха-муха, почему это царапанье не утихает?..» И тут я начинаю догонять, что Мяуцзедуну приспичило, и он никак не может дорваться до своего дурацкого лотка.

— Мяуцзедун, иди на хрен! — начинаю злиться я. — Каждый человек имеет конституционное право спокойно поблевать!

Из-за двери доносится смех — у Мяуцзедуна так явно не получилось бы...

— А, это ты, Кэт...

— Я, я... А там кто? — не может успокоиться она.

— Привидение с энциклопедическим словарем Брокгауза и Эфрона... — ляпаю я первое, что приходит на ум.

— Ну, хорошо, привидение, — соглашается Кэт, — спускай в унитаз свой словарь и выходи, буду кормить тебя углем...

Кэт — это подружка Икаруса. Она время от времени живет у нас, когда ее достают предки, ядерные физики, а случается это довольно часто. Мне кажется, что она их не любит, говорит, потому что они изобрели ядерное оружие. Ну, то есть не они лично, а вся эта шайка-лейка... Нам с Икарусом, если честно, пофиг, поэтому до родителей Кэт нам нет никакого дела. Мы даже рады, что она их недолюбливает, потому что тогда она больше времени проводит с нами. Чего не скажешь о ее родителях. Ну, то есть если нам они откровенно по барабану, то они нас просто презирают и считают отбросами, потому что мы ни хрена не сечем в ядерной физике. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что хотя Кэт и подружка Икаруса, я тоже как бы ее... Черт... Короче, я не должен был этого говорить, и не надо ничего думать. Я ее люблю, люблю типа платонически и люблю приносить ей ананасы. И знаете, я в принципе совсем не удивлюсь, если по-своему люблю ее даже сильнее, чем сам Икарус, несмотря даже на то, что спит она только с ним. Лишь только это я и хотел сказать.

Из туалета я выползаю опять-таки на четвереньках. Открыв головой дверь и выпав наружу, сразу же натыкаюсь на ножки Кэт.

— Привет, вы хорошие... — говорю я им, а сам думаю: «Черт, только не смотри под полотенце, только не смотри, Баз!»

С закрытыми глазами я усаживаюсь на пол, прислоняясь спиной к стене... Собственно, я хорошо сознаю, что она это делает не нарочно, но кому от этого легче? И хреновей быть не может именно тогда, когда Икаруса нет дома... Иногда Кэт зовет меня в ванную, чтобы я потер ей спинку. И каждый раз, когда я касаюсь вспененной мочалкой ее тела, меня переклинивает... Но... Черт возьми,

это девушка моего лучшего друга, поэтому приходится медитировать, как какому-нибудь долбаному древнекитайскому монаху.

— Что пил? — спрашивает Кэт и подает активированный уголь со стаканом воды.

— Спирт, — говорю я. — Авиационный спирт...

— На кой черт?

— Хотел вообразить себя самолетом, подняться в небо и разбиться...

— Ну-ну, — качает головой Кэт, — и горючего хватило только на то, чтобы долететь до туалета...

— Кэт, почему ты со мной цацкаешься, как с дауном?

— Потому что я тебя люблю, дурачок, ну, в смысле платонически...

— Я тебя тоже, — отвечаю я. — В смысле пла...

Договорить я не успеваю, потому что она надавливает пальцами мне на скулы и засыпает мне в пасть горсть активированного угля, после чего заставляет все это прожевать и запить стаканом воды. Горсть угля немного гасит мой энтузиазм... Неожиданно меня опять начинает знобить, меня бросает в жар, моя одежда становится влажной, как спальное белье в вагонах нашей железной дороги, и потому мне снова приходится встать на четвереньки и передислоцироваться в туалет...

На этот раз креветки выходят какие-то черные.

«Чувак, подъем, — говорю я себе, — хватит заглядывать в это бездонное очко, пора менять жизнь к лучшему» и пытаюсь резко встать на ноги. Как ни странно, мне это удается, но почти сразу же у меня в глазах вдруг темнеет, я заваливаюсь набок, срываю дверь туалета вместе с петлями и падаю с ней в коридор. «Хорошо, что Рулерт появится не скоро, недели через две, — думаю я, — можно будет попробовать починить». Ну так, Рулерт Иванович — этот старый алкаш — бывший военный, который, выйдя на пенсию, еще несколько лет преподавал ДПЮ в школе — у него мы снимаем однокомнатную квартиру на последнем, шестнадцатом, этаже панельного дома. Рулерт по-своему улетный. Мы с Икарусом долго ломали голову над его именем, но потом все-таки решили спросить, что же оно значит. Не без гордости Рулерт сообщил, что его отец был водителем — отсюда происходила первая половина имени — «рул», а мать — школьной учительницей литературы, которая увлекалась латиноамериканскими писателями. Рулерт сказал, что именно она придумала это «ерт», как, скажем, в имени Альберт... Мы понимающе кивали и благодарили небо, что папаша Рулерта не был сборщиком педалей на заводе, а матушка не трудилась где-нибудь на химии...

Однажды мы даже спасли старика от смерти — он нажрался водки и стал учить нас жить. А поскольку с пьяным Рулертом спорить было бесполезно, мы, конечно же, со всем соглашались. НАТО — гондоны! Капитализм — говно! — говорил Рулерт. — Депутаты — одни пи...доболы, они пороха не нюхали! А президент... тут Рулерт почему-то умолкал...

— Да-да, конечно, — кивали мы, хотя нам все это было по барабану — и капитализм, и НАТО, и депутаты, ну и президент, разумеется...

— Что да? Что да? — Рулерт брал своими руками-лопатами Икаруса за грудки.

— НАТО — пи...доболы... — не двигаясь с места, Икарус спокойно смотрел ему прямо в глаза.

— Нет, они гондоны!!! — мотал головой Рулерт, наверное, усматривая какую-то, только ему известную, метафизическую разницу между гондонами и пи...доболами.

— Так точно! — добавлял почему-то я.

Одним словом, когда Рулерт понял, что дискуссии не получится, а враг морально подавлен и разбит, он стал показывать нам, как надевать противогаз.

— Каждый порядочный, б...дь, человек должен иметь дома противогаз, — кричал он, — на случай газовой атаки.

И он таки правильно его надел, надел и затих — нам с Икарусом это было как раз на руку, потому что кроме всего прочего старик битый час грузил нас рассказом о том, как в детстве заблудился в лесу на лыжах. Похоже, что именно тогда он и стал таким отморозком...

То, что в противогазе закрыт клапан, мы заметили не сразу — где-то так минут через пять — одним словом, мы заметили это раньше Рулерта. Помню, Икарус делал ему искусственное дыхание через кухонное полотенце, а я размахивал его руками, как инструктор, обучающий птиц полету. Придя в сознание, Рулерт очень нас благодарил, мол, видел страшный сон, его душили его же ученики, а мы его разбудили и спасли от всех этих ужасов. Потом он свалил в свой дачный домик и не появлялся больше месяца. Сейчас он тоже был у нас нечастым гостем. Приходил только для того, чтобы получить бабло за месяц вперед и шел его пропивать. Потому за дверь можно было особенно не беспокоиться.

Я прокручиваю все эти мысли в голове и только теперь замечаю, что дверь упирается в стену коридора под углом градусов так шестьдесят, а я, как медуза, вишу на ней. Подо мной афиша Монсеррат Кабалье, которой Рулерт не нашел другого места, кроме, как здесь, на двери туалета. Не знаю, может, старик на нее дрочит... О вкусах не спорят.

И тут в коридор выбегает Кэт. Малышка в розовых трусиках и розовом бюстгалтере, который она придерживает на грудках своими лапками.

— Ой, — вскрикивает от неожиданности Кэт, увидев меня. Когда наша малышка очень пугается, она как ребенок хватается своими ладошками за щечки.

— Ё! — вскрикиваю я, потому что вижу, как ее бюстгалтер падает на пол, и мы с Мосеррат срываемся и едем еще несколько сантиметров по стене.

— Не смотри на меня, — говорит Кэт.

— И ты на меня тоже, — бормочу я и отворачиваюсь.

— Это еще почему?

— Потому что я лежу на Монсеррат Кабалье...

— Какая гадость, — кривится Кэт, — слезай с нее... лучше помоги мне застегнуть лифчик.

И я таки слезаю с Монсеррат, посылаю ей воздушный поцелуй и пытаюсь застегнуть бюстгалтер Кэт. Я застегиваю ее розовый бюстгалтер и, конечно же, медитирую. Руки дрожат, как у алкоголика, и поэтому я долго не могу справиться с заданием. Мой взгляд скользит по ее плечикам, далее по спинке, потом переходит на идеальные ягодички... «Я спокоен, — мысленно произношу я, — я глубоко дышу и молюсь, чтобы ко мне пришел мой ангел-хранитель с разводным гаечным ключом и закрутил все мои гайки или хотя бы заехал мне этим ключом по черепу, чтобы я ничего этого не видел».

— Малыш, ты что там, уснул?

— Заснешь тут... Это что, кодовый замок?

— Ни фига он не кодовый, просто вставь в правое отверстие нижней пластиковой фиговинки левый пиптик верхней фиговинки, а в левое отверстие нижней — правый пиптик верхней... потом нажми, пока оно не защелкнется, все очень просто...

Наконец мне удается справиться с этой трикотажной головоломкой.

— Слушай, вы с Икарусом тут с голоду не помрете? — интересуется Кэт и убегает в комнату.

— Нет, — говорю, — я купил бутылку коньяку, твои любимые ананасы и до хрена тюбиков зубной пасты с дурацким бобром на упаковке...

— А? — доносится из-за двери.

— Правда, я не знаю, можно ли ее глотать, — перебиваю я Кэт.

— Ананасы — это хорошо. А у тебя что, кариес? — выглядывает из-за двери Кэт.

— Нет, все очень просто... Там была девушка, которая хотела взорвать супермаркет, потому что за ней следило чмо из-за холодильника с колой...

— И что? — говорит Кэт.

— И потому мне пришлось купить у нее много тюбиков зубной пасты, а когда я их купил, оказалось, что я автоматически стал участником розыгрыша мопеда «Ямаха», точно такого, как у Билла Дауна, когда его переехал поезд...

— Хорошо-хорошо, — успокаивает меня Кэт, — ты, главное, не волнуйся... Я и не знала, что креветки обладают таким токсичным действием...

Мне надоедает этот треп, поэтому я поднимаю Монсеррат, дверь уже давно перестала для меня существовать, перевоплотившись во всемирно известную певицу, и пытаюсь закрыть ею проход в туалет, и вдруг везде гаснет свет. Монсеррат приходится поставить на пол и отпустить, — в конце концов, она может неправильно меня понять — мы стоим в темноте, я пытаюсь охватить ее необъятную талию... Отпустив Монсеррат, я слышу, как она с грохотом падает в туалет, и свет тут же включается, а передо мной стоит Кэт, держа в руках свою юбочку.

— Кэт, солнышко, — говорю я, — может, ты хоть это сама наденешь?

— Будь спок, — говорит она, — держи! — и начинает заливать красную ткань каким-то дезиком.

Наверное, малышка замечает мой удивленный взгляд:

— Чего вылупился? Это антистатик! Ан-ти-ста-тик! — по слогам повторяет она. — Это чтобы чулочки не прилипали к юбочке. — А теперь, — просит малышка, — помаши ею, пусть выветривается, — и исчезает в ванной.

Я размахиваю ее юбочкой, а мысли в голове мелькают с калейдоскопической быстротой. За этим занятием меня и застает Икарус. Он долго топчется на одном месте и подозрительно смотрит сперва на Монсеррат, валяющуюся в туалете, потом на меня и на юбочку Кэт, которой я размахиваю в воздухе.

— Что... Что ты делаешь? — говорит он, ошарашенно глядя то на меня, то на юбку.

— Выветриваю из юбки ан-ти-ста-тик, ты что, не видишь?

— И давно это с тобой? — встряхивает головой мой друг.

— Что ты имеешь в виду? — не понимаю я.

— Ну, давно ты ходишь в одежде Кэт?

— Отвали, — говорю я и пшикаю на него антистатиком, который Кэт оставила рядом со мной; уж если, думаю, эта фиговина способна делать так, чтобы юбка не липла к попке, то почему бы ей сейчас не сделать так, чтобы от меня отлип Икарус.

На помощь мне приходит Кэт. Она забирает у меня юбочку и шепчет на ухо:

— Попробуй сегодня больше ничего не есть, пей только чай с коньяком, так делал мой дедушка, и тебе станет легче.

— Твой дедушка тоже был ядерным физиком? — интересуюсь я.

— Нет, алкоголиком.

«Странно, как в семье алкоголика мог родиться ядерный физик?» — думаю я, но решаю промолчать. Беру бутылку коньяку и плетусь к своему надувному матрасу.

Казалось, я проспал целые сутки, но когда Икарус меня разбудил, было около девяти вечера, то есть я отключился всего на двадцать минут... Этот придурок стоял надо мной и стучал ложкой о пустую кастрюлю, распевая «Марсельезу». Из этого я мог сделать вывод, что полбутылки коньяка, оставленного мной возле матраса, уже испарились. Открывать глаза было влом, но Икарус никак не мог угомониться. Через минуту к нему присоединился сосед-фараон с нижнего этажа, он долбил какой-то железкой по батарее и матерился — судя по всему, он просто не знал слов «Марсельезы».

— Слышь, Икарус, заглохни, под нами живет фараон. У него же наручники, дубинка и пистолет...

— Мало того, что — мент, так ему еще и медведь на ухо наступил, — ворчит Икарус, обрывая пение и на всякий случай бамкая еще несколько раз.

Но фараон не унимается, он продолжает долбать батарею, и к нему присоединяется еще добрая половина подъезда. Помню, как-то по результатам теста наш университетский психолог пришел к выводу, что Икарус и я, что мы, короче, аутсайдеры, лузеры, курва...

Он так и сказал: «Вы — лузеры, ясно?» — и осклабился.

Не знаю, как насчет меня, но что касается Икаруса, все эти тесты выеденного яйца не стоят. Разве может один лузер за полминуты создать такой массовый психоз?

— Ну и какого хрена надо было это делать? — не понимаю я.

— У меня сегодня день рождения, — разводит руками Икарус и направляется на кухню. — Пускай все знают.

— Эй, чувак, ты че? Мы же его два месяца назад праздновали! — кричу я ему вдогонку.

— Нет, нет, ты не догоняешь, сегодня мой настоящий день рождения... Я серьезно...

Эта новость заставляет меня окончательно проснуться...

Мы познакомились с Икарусом в начале весны, если то, что произошло, можно назвать знакомством. Я тогда был на втором курсе, нелегально жил в общаге и подрабатывал ночным сторожем автостоянки. Впрочем, не могу сказать, что эта работа мне не нравилась. В десять вечера я взбирался на сторожевую вышку, курил, очень много думал, несколько раз за ночь делал обход. Еще можно было поиграть мощным прожектором, но его разрешали включать только в экстренных ситуациях, хотя никто, конечно же, мне не разъяснял, что такое экстренная ситуация...

Я очень хорошо помню то утро, помню все-все мелочи, все цвета, запахи, даже свои мысли помню... В тот день я шел со смены, она заканчивалась, помню, в восемь. Вокруг лежали кучи мокрого снега, он уже хорошенько подтаял, был первый по-настоящему теплый день. Сеялся мелкий дождик. Перед общежитием я сел на мокрую скамейку и решил покурить. Мой болоньевый плащ не промокал, а с бейсболки капала синяя вода. Сигарету то и дело заливало, и мне приходилось раскуривать ее опять — тогда мокрый табак пускал едкий дым, и у меня наворачивались слезы. Сам не знаю, чего я там сидел, глядя себе под ноги, может, что-то предчувствовал. Мимо меня пробежали четверо негров, прикрываясь от дождя целлофановыми пакетами, в которых были конспекты, а потом на землю спланировал большой гладкоголовый грач. Он стал ковыряться в пакете с объедками, сторожко поглядывая на меня.

Ох, и хреновая это штука — социальная модель человечества, если даже среди птиц стали появляться бомжи... Не найдя ничего съедобного, бомжеватый грач подпрыгнул и полетел прочь. Я в который уже раз раскурил погасшую

сигарету и заметил старуху с пуделем и маленькой внучкой, которую она, наверное, вела в школу. Они не спеша приближались ко мне — на обеих были полиэтиленовые плащи, а на пуделе дурацкий болоньевый пестрый комбинезон. Они были похожи на пограничников какой-то не известной страны. Старуха прошла, не обратив на меня никакого внимания, за ней пробежала пограничная собака, но малявка вдруг остановилась напротив и посмотрела мне прямо в глаза. Лицо девочки — все в веснушках, два молочных зуба у нее выпали, а на ногах красовались резиновые сапожки с лягушками. Она довольно долго меня разглядывала — ее бабушка успела дойти до конца аллеи. «Что, — думал я, — что со мной не так? Почему она таращится на меня так, будто я труп? Может, я сидел тут, курил и не заметил, как отдал богу душу?»

— Куришь? — спросил я наконец чтобы нарушить неловкое молчание, и протянул ей окурок, который еще раз зашипел и погас.

Малявка покрутила головой.

— Правильно. А как тебя зовут?

— Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомыми дядями... — она виновато шмыгнула носом.

— Ну, — говорю я, — видишь, какая штука, я ведь и спрашиваю, как тебя зовут, чтобы познакомиться, ну, чтобы у твоей мамы, в случае чего, не было никаких претензий...

Девочка улыбнулась и показала мне язык. «Ну вот, думаю, — начинаю пользоваться успехом у женщин». Но в эту минуту где-то за моей спиной падает что-то очень большое. Малышка замирает с широко открытыми глазами и даже забывает спрятать язык. Я, конечно, тоже охренел, медленно поворачиваю голову и вижу чувака в оранжевом комбинезоне, распластавшегося на подтаявшем сугробе. Такие комбинезоны носят американские зэки. Дождь неожиданно стих, из-за туч показалось хилое солнце. Я перепрыгиваю через скамейку, падаю возле незнакомца на колени, смотрю в его полные невыразимой муки глаза и не знаю, что сказать. Я достаю еще одну сигарету, и после третьей затяжки у меня чуток проясняется в голове.

— Ты откуда? — наконец говорю я первое, что приходит на ум.

— Оттуда, — с трудом произносит он и медленно поводит глазами куда-то вверх, в направлении неба. На большее его не хватило — он потерял сознание. Я пододвинулся к нему поближе, влез коленями в лужу и стал прислушиваться к его сердцебиению. Сердце билось, как моряк в затонувшей подводной лодке, а в его легких что-то свистело.

— Икарус... — пролепетала у меня за спиной девчушка.

Я поднял голову и увидел, что к нам приближается ее бабуля в полиэтиленовом дождевике. Ее дурацкий пограничный пудель был на длинном поводке и потому появился первым и стал обнюхивать волосы незнакомца, как будто хотел убедиться — Икарус это или нет, и решить — нужен ли он здесь, на их территории?.. Я резким движением ткнул ему в нос бычок — с детства не люблю пуделей, — тот завизжал и пустился наутек, таща за собой хозяйку. За ними, похожая на карликовую русалку, вприпрыжку бежала и девчушка, оставив нас с Икарусом (я решил называть его именно так) на произвол судьбы.

Я кинулся в общежитие и хотел вызвать «скорую», но вахтерша наотрез отказалась дать мне телефон, с опаской поглядывая на мою грязную одежду и напрочь не понимая, какому там еще Икарусу понадобилась «скорая». Я был так растерян, что не придумал ничего лучше, кроме как силой забрать у нее аппарат, но старая стерва так вцепилась в него руками, что аж посинела от напряжения.

— Вот б...дь — кричал я почти в истерике, — ты что, хочешь, чтобы Икарус умер? Он там, он упал и разбился...

Тогда вахтерша вообще схватила черный телефон и крепко, как будто это было сердце, прижала его левой рукой к своей отвисшей груди, а правую высоко подняла, собрав указательный, средний и большой пальцы в щепоть, видимо, собираясь меня перекрестить, как какого-то заблудшего, забрызганного грязью и забитого жизнью демона.

«Ну что ж, — подумал я, — если она уже считает меня демоном, то...» Я тоже поднял руку... собираясь дать ей в ухо... Собственно, в такой причудливой позе нас и застали какие-то тюфяки с первого курса, которые тоже стали требовать телефон, выкрикивая, что надо срочно вызвать «скорую». Увидев такое нашествие демонов, вахтерша капитулировала. Я выбежал на улицу, снял свой плащ и накрыл им Икаруса, а сам сел рядом на землю и закурил.

Когда Икаруса увезли в больницу, я побрел к себе. Врачи зачем-то забрали мой плащ, я очень замерз и потому долго торчал под горячим душем. «Дерьмо, — думал я, — завтра не в чем будет выйти на улицу». Ближе к вечеру, немного поспав, я спустился на восьмой этаж к Михе, тот всегда был в курсе всех событий, он и рассказал мне, что Икарус (он назвал мне его имя, но оно тут же вылетело у меня из головы)... выпал из курилки пятого этажа, милиция оформила все как несчастный случай в состоянии алкогольного опьянения, но Миха, покачав головой, добавил, что ему, скорее всего, помогли. «Да, — сказал он в конце, — и еще эта сука Лида Петровна, — он имел в виду вахтершу, которая хотела меня перекрестить, — собирается накатать на тебя ректору.»

— Пусть катает, — пробурчал я, — к ректору я все равно сейчас не пойду. Может, когда потеплеет...

Остаток весны я проходил в нескольких свитерах и спортивной болоньевой ветровке. Плащ мне, конечно, так никто и не вернул, но я не очень-то и переживал из-за этого. Время от времени я подходил к Михе и справлялся, как дела у Икаруса. Тот говорил, что хреново, семнадцать переломов, частичная потеря памяти, сотрясение мозга и вообще, типа, врачи прикинули и сделали вывод, что в лучшем случае чувак до конца своей жизни будет кататься в инвалидной коляске. Но сам Икарус был другого мнения...

Получилось так, что июнь и июль я просидел в городе, и мне чуть ли не в первый раз в жизни повезло заработать нормальные бабки непосредственно за счет своей профессии. В середине июня мне неожиданно позвонил Витя Болт. Говорю неожиданно, потому что своего телефона у меня тогда не было. Так вот, он вышел на меня через каких-то абсолютно левых чуваков и позвонил в общежитие. Тогда Лиде Петровне все-таки пришлось отдать мне телефон. Витя Болт оказался очень авторитетным дядей. Он сразу перешел к делу:

— Братан, я тут тебе звоню, ну, некоторые пацаны с общаги знают меня, а я их знаю, и они посоветовали тебе позвонить, — стал путаться он, — слышь, братан, я хочу попросить, чтобы ты написал мне книгу про мою династию.

— Про что? — не понял я.

— Ну, понимаешь, у меня есть письма моих предков, и дедушкины письма есть, и фотки, и вообще я много чего такого помню, но боюсь, что забуду или меня убьют, поэтому напиши про все это книгу, понимаешь, мне надо, чтобы после меня хоть что-то осталось, кроме того говна, которым я занимаюсь.

— Хорошо, — согласился я. — Триста баксов.

Тогда я не знал, сколько у Вити бабок, потому, естественно, считал, что услыхав такую цену, он обломается и оставит меня в покое.

Но Витя только заржал в трубку и сказал, что «када все будет в поряде», он заплатит мне штуку баксов и что, вообще, я могу в случае чего к нему обращаться.

К вечеру он и правда привез мне на джипе картонную коробку из-под

телевизора, в которой был весь его семейный архив. Я честно выполнил свою работу и в начале августа получил честно заработанную штуку баксов, а также социальную гарантию, типа, «я кореш Вити Болта», которая, по словам самого Вити, должна была помогать мне в сложных жизненных ситуациях. Ну, во всяком случае, в той части города, где Витю знали и уважали. Мы пожали друг другу руки, Витя сел за руль своего джипа, папку с рукописью осторожно, как ящик с тротилом, положил на переднее сиденье рядом с собой и газанул. Не знаю, как повернулось дело с хроникой Витиной династии, но через полгода после этого я, кажется, видел в газете заметку, что самого Витю взорвали вместе с его джипом.

Тем не менее, получив кучу бабок, я на пару недель исчез из города, а когда, наконец, вернулся в общагу, то увидел, что в мою комнату кого-то подселили. Везде были разбросаны вещи, кто-то хавал из моей посуды и поливал мой папоротник, который я оставил погибать на жарком подоконнике. Меня так мучила совесть, что несколько раз я даже порывался свалить домой, но жажда странствий все-таки побеждала. Можете представить мое удивление, когда вечером явился Икарус собственной персоной...

— Сорри, — сказал он вместо того, чтобы поздороваться.

— За что? — сказал я. — Ты спас мой папоротник. Я чуть не шизанулся, думал, что его уже нет. Просто у меня, понимаешь, кроме него вообще ничего нет...

— За твой плащ сорри, его санитары куда-то заныкали...

— Ты что, все помнишь? — обалдел я.

Икарус как-то загадочно пожал плечами, взял с подоконника стакан и еще раз полил папоротник.

Дело в том, что никто из нас — ни я, ни Кэт — не знали, когда у Икаруса его настоящий день рождения. После того случая, когда он выпал из окна, жизнь его кардинально изменилась. Так вот, свой день рождения или перерождения он стал отмечать именно в тот весенний день, когда все это случилось. Отмечать — сказано условно, потому что мы в этот день просто дико нажирались и несколько следующих дней нам было так паршиво, что хотелось умереть. А какой к черту день рождения, если тебе хочется умереть?

«Те два месяца, что я провел в больнице, — говорил Икарус, — я очень много думал, понимаешь, намного больше, чем раньше. Раньше я просто жил, и жизнь думала за меня, а когда пришлось лежать и думать за жизнь... И вот я лежал и думал про эту жизнь, и еще, правда, иногда и про твой плащ, потому что нехорошо как-то получилось — я фактически падаю тебе на голову, ты отдаешь мне свой плащ, а я его куда-то ныкаю...» «А что еще остается делать, как не думать... если у тебя семнадцать переломов и чуваки в белых халатах говорят, что остаток жизни ты будешь ходить на судно? И вообще, это полная капитуляция, Баз, — говорил он, — о какой нормальной жизни можно говорить, если для того, чтобы почесать яйца, ты должен звать санитарку? Если все окружающие предметы выглядят так, будто ты смотришь на них в бинокль, но с обратной, блин, стороны».

Бамканье наконец стихает. Люди разбредаются кто куда, оставив в покое свои несчастные батареи, а Икарус возвращается на кухню и говорит, что хочет поехать в какой-нибудь кабак. И хотя мне влом слезать со своего надувного матраса и куда-то там ехать, я все-таки это делаю. Упрямый Икарус не собирается отказываться от своей затеи, а я абсолютно не понимаю, зачем надо куда-то

ехать, если можно взять еще одну бутылку коньяка, пять тюбиков зубной пасты и спокойно посидеть дома. Но Икарусу хочется настоящего праздника.

— Хочу, чтобы весело было, — говорит он, — хочу, чтобы мне улыбалась судьба и симпатичные официантки, хочу набухаться... А здесь, ну чего здесь сидеть? У нас теперь даже двери в туалет нету.

Крыть мне и правда нечем, мы вываливаемся на проспект и ждем троллейбус в центр города. «Восьмерка» приходит довольно скоро. К счастью, троллейбус пустой, в салоне только кондуктор. Ехать в пустом троллейбусе было ох как непривычно. Кондуктор вообще, казалось, дремал, а когда мы подъехали к остановке Отакара Яроша, троллейбус так качало и штормило, что, казалось, водитель тоже спит, а троллейбус оснащен системой «автопилот».

Остановка Отакара Яроша всегда вызывала у меня противоречивые чувства. Дело в том, что здесь я совершил свой первый расистский и довольно необдуманный поступок. Совершил вместе со своим другом детства — Вованом Косым. Мы тогда учились в десятом классе, уже бросили футбол и, как большинство пацанов нашей гопницкой школы, занимались тяжелой атлетикой, проще говоря — качались.

Был летний вечер. Мы с Вованом ехали в троллейбусе к своим друзьям. И, собственно, ничего бы такого не произошло, если бы на остановке Отакара Яроша мы не заметили высокого тощего негра. «Понимаешь, ничего бы не было, — оправдывался потом Вован, — я что, даун, я что, не понимаю, что у пацанов там в Африке напряг с хавчиком? Может, у них там половина населения — дистрофики? Но зачем было надевать на голову эту х...йню?»

Я значительно опережал Вована в интеллектуальном развитии, но все-таки ту штуку, которая была у негра на голове, тоже никак иначе назвать не мог. Было такое впечатление, что первым делом по приезде в нашу страну он пошел в магазин женского белья и купил белые капроновые колготки, отрезал один чулок и натянул его на свой черный череп. Короче, увидев его, мы с Вованом стали тащиться. Похоже, негр это заметил, потому что подошел к окну, где мы сидели, и постучал в стекло. Мы с Вованом повернули головы, и он показал нам свой черный фак... Сделал он это потому, что, по всей вероятности, еще не знал всех особенностей украинского менталитета... Вована передернуло: «Ну хорошо, — думал, наверное, он — если бы мне показал фак длинный худой негр, это еще куда ни шло... Но у этого же на голове настоящая Х...ЙНЯ!»

Короче, Вован рванул к кабине водителя. Троллейбус резко затормозил, и мы выскочили на улицу. Негру, похоже, не надо было объяснять, что к чему. Он сразу побежал. Драпал он очень быстро, размахивая своими длинными черными руками, и в какой-то момент мне стало казаться, что мы гонимся за гигантской черной саранчой. Дистанция между нами и ним не сокращалась. И тут Вован, собрав воедино все свои знания по английскому, стал орать:

— Эй, ю, — орал он, — мазафака, стоп, мазафака, эй ю, мазафака-мазафака!!!

На самого Вована это произвело почти магическое воздействие. Он оторвался от меня, и теперь казалось, что он гонится за негром, а я, в свою очередь, гонюсь за ним. Так продолжалось еще несколько кварталов, но Вован все-таки его догнал... И наконец схватил негра за капюшон. Тот споткнулся и растянулся на земле, а Вован навалился на него всей своей девяностокилограммовой тушей. Когда я подбежал к ним, Косой так и лежал на негре, продолжая, правда, уже не так активно, повторять свою мантру: мазафака, стоп, стоп, мазафака.

— Вован, — похлопал я его по плечу, — все, чувак, слезай с него.

— Ёлки, — подскочил Вован, — я лежал на негре! Господи, только никому не говори...

— Ладно-ладно, — успокоил его я.

Наш черный обидчик в это время лежал на земле, крепко зажмурившись, свернувшись калачиком и закрыв руками голову. Создавалось такое впечатление, что над ним стоим не мы, а какие-то страшные африканские божества, в которых веровало племя этого бедолаги.

— Ну шо, — кивнул Вован, потирая руки, — отп...здим?

— Нет, — сказал я. — он на земле, а лежачих мы не бьем, мы же нормальные чуваки.

— Он на земле, — повторил Вован, — а мы нормальные чуваки... Что же делать? — занервничал он.

— Да ну его на фиг, ты и так его чуть не раздавил, — попробовал я направить инцидент в мирное русло.

— Но как же, он же это... — замялся Косой.

— Оскорбил наше национальное достоинство?

— Точно! — выпалил Вован.— Еще как оскорбил!

Тут негр заподозрил что-то неладное, приоткрыл один глаз и сказал на ломаном английском:

— Ай хев мани...

— Шо он там трындит? — спросил Вован так, как будто мы с ним находились на международной конференции, и я был его персональным переводчиком.

— Говорит, что у него есть бабки...

— Мани, — буркнул Косой и показал негру два пальца одной руки, указательный и средний, сведенные вместе, а другой рукой изобразил анальное отверстие, куда и отправил эти воображаемые «мани».

Насколько я понял, это значило, что негр может засунуть свои мани себе в зад. Но перевести это на английский я не мог, и потому негр сперва быстро-быстро заморгал глазом, а потом в ужасе заорал:

— О, май гад, ай эм нот гей...

— Шо он трындит? — не понял опять Вован.

— Говорит, что он не гей! — перевел я.

— А мы шо, выходит, геи? — вылупился мой кореш.

— Он просто не так понял твои жесты, не горячись...

— Да все он правильно понял, он просто это... ну это... хочет оскорбить наше сексуальное достоинство... да мочить его надо, бл...дь такую черную...

Негр тем временем еще крепче зажмурился и еще сильнее обхватил голову руками.

— Но он же на земле! — повторил я.

Лоб Вована покрылся морщинами, а его и без того косые глаза стали смотреть в разные стороны под еще бо́льшим углом — это был верный признак того, что Вован думает, напряженно думает.

— Я придумал, — буркнул он, наконец. — Все очень просто, давай ты его поднимешь и подержишь, чтобы он стоял, а я ему вломлю два раза...

— Два раза? — зачем-то переспросил я.

— Ну да, два! — подтвердил он. — Раз — за национальное достоинство и раз — за сексуальное.

В принципе, это было логично, но я все-таки сказал:

— Ладно, чувак, хватит с него.

Вован сердито сплюнул и выдал нечто нереальное.

— Вот так всегда, — сокрушенно произнес он. — Все срут на украинцев, факи тычут, а мы им даже по почкам дать не можем.

После этих слов он несколько раз сильно пнул негра по почкам. Тот сорвался, как ошпаренный, рванул вперед и растворился в вечерних харьковских улицах.

Сидя дома у друзей, я долго думал про этого негра.

— Знаешь что, Вован? А ведь мы, выходит, расисты...

— Перестань, — отмахнулся он. — В том, что я дал по почкам тому негру, на самом деле нет ничего пло... — он хотел сказать «плохого», но вдруг примолк. — Расистского, — подумав, сказал он... — Не знаю, как ты, а я мочил его только из-за этой х...йни, — тут Вован, наверное, для большей наглядности вынул из кармана хреновину, которая была у негра на голове. — Понимаешь, если бы там на остановке стоял какой-нибудь белый с этой х...йней на голове, я бы его тоже отп...здил...

Единственное, что мы с Вованом вынесли из этого инцидента, так это то, что расизм, как и прочие отрицательные явления всемирной истории, всегда начинаются из-за всяких мелочей... Одним словом, то, из-за чего все начинается, вовсе не стоит того, во что оно потом перерастает...

Почему все это так, мы тогда еще не знали...

Как выяснилось, троллейбус шел в депо. Поэтому мы выходим в начале Сумской и переходим на улицу Рымарскую, по которой двигаемся чуть вверх, в сторону оперы. Здесь Икарус сворачивает в «Лондон», галимую кафешку с галимым обслуживанием и дорогой выпивкой. Собственно, единственное, что может напоминать в ней Лондон, так это смог, висящий над баром. Сразу за баром начинается кухня, оттуда валят клубы пара и доносится запах подгоревшей моркови. И вот, шастая в этом смоге, ни дать ни взять, коренная обитательница «Лондона», нам улыбается сухая, как щепка, барменша с подозрительным передним зубом.

«Вот она, улыбка судьбы...» — думаю я. Заметив такую вот улыбку судьбы, Икарус как-то сникает, но уже через минуту подходит к барной стойке и заказывает бутылку. Мы садимся за ближайший столик и за пять минут выпиваем ровно половину. Мне почему-то начинает казаться, что настоящий день рождения Икаруса почти ничем не будет отличаться от ненастоящего и что завтра утром нам все равно захочется умереть.

И тут Икарус неожиданно разворачивается в сторону бара и говорит:

— Я, конечно, извиняюсь, но не будете ли вы так любезны присоединиться к нашей компании?

Официантка обводит взглядом пустой «Лондон», останавливается глазами на нас, еще раз демонстрирует «улыбку судьбы» и утвердительно кивает.

— Да, — говорит она, — сейчас, только вот морковку дожарю.

— Икарус, ты что, долбанулся? — спрашиваю я настороженно.

— А что, еще Аристотель в своей «Поэтике» писал, что от созерцания уродливого тоже можно получить удовольствие.

— Может, он говорил о каких-то абстрактных вещах?

— Нет, о вполне конкретных.

— Ну, тогда, выходит, он был извращенцем.

Икарус пожимает плечами.

— А может, — все-таки возражаю я, — будем созерцать это уродливое отсюда, а оно пускай стоит себе за барной стойкой? А впрочем, если бы этот извращенец Аристотель хоть раз позависал в «Лондоне», ему бы точно пришлось переписывать свою «Поэтику».

Но официантка с «улыбкой судьбы» уже сидит за столиком рядом с Икарусом. И никакой вам абстракции, она абсолютно конкретна, да еще и с подозрительным зубом. Смог над барной стойкой и морковный смрад тоже очень конкретны.

— А что это вы так далеко? — удивляется Икарус, и «улыбка судьбы», не

моргнув глазом, оказывается у него на коленях. Глядя на такое, я делаю несколько глотков из бутылки. Впрочем, «улыбка» выхватывает ее у меня и сама хорошенько прикладывается к горлышку.

— Эх, мальчики, — вздыхает она, — а у меня сын такой, как вы...

— Не может быть, — искренне удивляется Икарус.

— Атвечаю, — уверяет барменша и ерзает у него на коленях. — Он теперь за границей, он всегда мечтал туда поехать...

— И где же? — спрашиваю я.

— В Лондоне он, в Лондоне, этот, как его, бэби... бэбиситтер...

— Это как? — не понимает Икарус.

— Ну, он живет там в семье, готовит им еду, он у меня хорошо готовит, моет посуду, стирает, развешивает белье, отвозит и забирает из школы детей, бегает с пылесосом по дому, то-се. Трижды в день выгуливает лабрадора, которого хозяева купили за две штуки евров, или фунтов, или чего-то там еще, и собирает в полиэтиленовый пакетик его говно, если он, не дай бог, наложит на чей-то газон... Он очень хочет там остаться, в своем Лондоне, сейчас как раз решается, оставят ли его еще на год...

— И че? — говорю я.

— И ниче, — отмахивается она. — Если останется, значит, еще год буду сидеть тут одна, в этом занюханном кабаке, где, б...дь, вообще жизни никакой нет... Вон, хозяин на прошлой неделе, чечен драный, чуть зуб не выбил за то, что пачку сахару на баре взяла... — тут она открыла рот, в очередной раз продемонстрировав свою «улыбку судьбы»...

Словом, конкретики с меня было довольно...

— А где тут у вас туалет? — спрашиваю я.

Она кивает в сторону какой-то обшарпанной металлической двери. Я заваливаюсь туда и боковым зрением баскетболиста замечаю, что Икарус показывает мне жестом, что я слабак. «Лучше быть абстрактным слабаком, чем конкретным извращенцем», — думаю я и оказываюсь в полуосвещенном коридоре, в конце которого виднеется еще одна дверь. Открыв ее, попадаю в маленькую кабинку с толчком, освещенную фиолетовой неоновой лампой, отчего она кажется еще меньше. Отливая, замечаю прямо перед носом, на бачке, какие-то странные часы. На циферблате уйма всяких цифр, расположенных абсолютно по-идиотски, и это начинает меня раздражать. «На кой черт, — думаю я, — в клозете часы, да еще такие мудреные? И эти странные цифры... Что они обозначают? Наверное, лондонское время... Но на кой хрен человеку знать лондонское время, если он зашел просто отлить? Господи, куда я попал?»

Застегивая ширинку, слышу, как в толчок летит что-то металлическое, но почти не обращаю на это внимания. «Пять копеек, — думаю я, — у меня из кармана выпало пять копеек, не полезу же я в толчок за каким-то пятаком».

Я спускаю воду и замечаю, что цифры начинают мелькать — в ту минуту мне вообще показалось, что я попал в машину времени... Выхожу из кабинки, проходя коридором обратно, открываю металлическую дверь и в ужасе застываю...

Бла... Бла... Бла... Попытка номер два...

Осторожно закрываю дверь, снова стою в полутемном коридоре и набираю полную грудь воздуха. Все, щас у меня все получится. Снова открываю дверь...

Попытка номер три заканчивается так же чудовищно.

«Лондон» исчез, растворился в своем смоге. Передо мной совершенно другое кафе, совершенно другие столики. За стойкой не барменша, а бармен, к тому же у него все зубы на месте. А там, где должен был быть Икарус, вообще сидит какая-то белобрысая и читает книжку.

Я протираю глаза, но моего конкретного кафе нет–нет, как будто никогда и не было. «Ничего себе отлил», — думаю я и чувствую, как у меня подкашиваются ноги. Потом очень медленно спускаюсь по ступенькам, в голову лезут всякие нехорошие мысли. «Что же это, теперь каждый раз, когда я буду отливать, меня будет отбрасывать в другое измерение?»

Я сажусь за столик к реинкарнированному Икарусу, то есть к белобрысой. «Параллельные миры — это очень-очень страшно, — думаю я. — По логике, сейчас передо мной сидит Икарус, но он уже не Икарус, а эта белобрысая. То есть со мной должны были произойти необратимые изменения...» Я перевожу взгляд на свою грудь и понимаю, что самое страшное пока не произошло, что я так и остался мужчиной, впрочем, меня начинает беспокоить мое лицо. Интересно, у меня теперь новая физиономия или нет? Я осторожно ощупываю свое лицо, но поскольку раньше я такого никогда не делал, то на ощупь ничего не могу понять.

Белобрысая все это время внимательно за мной наблюдает. И тут я вспоминаю о своем талисмане, о начищенном до блеска серебряном медальоне, который я ношу на цепочке на левой руке...

Когда мне было восемь, я получил его в подарок от дедушки.

— Держи, малец, — сказал он, — это старинный немецкий медальон, вот видишь, на нем монастырь матери... не знаю точно какой, но какой-то там матери, понимаешь...

Я просверлил в медальоне дырочку, повесил его на цепочку и с тех пор никогда не снимал. Он и правда частенько мне помогал, во всяком случае, я в это верил. За последние лет десять с гаком медальон так истерся, что монастырь «какой-то там матери» просто исчез с его поверхности. Я часто пытался разглядеть хотя бы его очертания, но с медальона на меня таращился только мой глаз. И вот сейчас я решаю глянуть в свой медальон, чтобы наконец выяснить, все ли ОК с моей физиономией. Я закатываю рукав рубашки... и понимаю... что его... то есть моего талисмана какой-то там матери, нет... и что в толчок, судя по всему, полетел вовсе не пятак, а именно он... «Как же это так? — не могу понять я. — Забросить меня хрен знает куда, спустить в канализацию мой талисман... Кто тут хозяин, какая падла меня терроризирует, кто режиссер этого бездарного шоу, он что, тоже на колесах, как тот, из Галиции?»

— У тебя что-то не так? — интересуется белобрысая.

— У меня все не так.

— Все-все? — не может поверить она.

— Абсолютно.

— Хорошо, — говорит она, — то есть я имела в виду «не хорошо», а... Ну, в общем, ты хочешь об этом поговорить?

— О чем?

— Ну, обо всем — обо всем, если у тебя с ним что-то не в порядке.

— Слушай, — обрываю я, — а у тебя у самой все в порядке? Для чего тебе выслушивать про мое все-все?

— Ну, — говорит она, — такая у меня работа.

— Какая такая?

— Телефонная служба доверия.

— Но я же тебе не звонил. Чего ты ко мне пристала?

— Исчезни, — просит она.

— Дай закурить, — я делаю вид, что ничего не слышал.

Она нехотя протягивает мне пачку длинных дамских сигарет, я беру одну, отрываю зубами фильтр и прикуриваю от свечки, стоящей на столике.

— Мое все-все, — начинаю я, — но ты сама попросила. У меня есть при-

ятель, мой лучший друг, зовут его Икарус... И вот, понимаешь, какая штука. Мы всегда отмечали его ненастоящий день рождения, а сегодня он вдруг сказал, что у него — настоящий, — ну, мы и поехали в «Лондон». Выпили немного, а потом к нам подсела официантка, чей сын... бэбиситтер, тоже в Лондоне, но в настоящем, он там гуляет с лабрадором за две штуки ихнего бабла и убирает за ним какашки. А потом официантка показала нам свой дурацкий зуб, мол, что ее хозяин, чеченец... дальше я пошел в туалет, а там на бачке, ты только представь себе, там на бачке часы, показывающие лондонское время, но потом выяснилось, что это не туалет, а какая-то телепортационная кабинка, — когда я вышел оттуда, я не нашел «Лондона», а вместо Икаруса нашел тебя... Впрочем, как справедливо гласит народная мудрость, кто что-то находит, тот что-то и теряет. Я нашел тебя, но потерял свой талисман, его подарил мне дедушка, на нем был монастырь какой-то там матери... — я как раз докуриваю и бычкую окурок в подсвечник. — Ну как? — говорю я белобрысой.

— Полный пи... непорядок, — успевает поправиться она.

— Я ж говорил...

— Молодой человек, — вмешивается бармен-со-всеми-зубами–на-месте. — Я внимательно вас слушал...

— Вы что, тоже? — нервно обрываю его я.

— Что... тоже?

— Ну, с телефонной службы доверия?

— Нет, я бармен. А вы, насколько я понимаю, из «Лондона»?

— Нет, — возражаю я. — Из Лондона бэбиситтер и лабрадор, а я наоборот, местный... Хотя... «местный» достаточно условно, поскольку я вообще не представляю, где оказался.

— Я имел в виду кафе «Лондон».

— Если кафе, то да.

— Ну, так оно в другом конце коридора, у нас с ним общий туалет.

— Что? — никак не врублюсь я.

Один туалет на два кафе, — терпеливо объясняет он. — Так значительно экономней. И на бачке счетчик... а не лондонское время...

Я растерянно поднимаюсь и даже ничего не могу сказать.

— Ты в случае чего, — с трудом пряча улыбку, говорит белобрысая, — звони. — И дает мне свою визитку.

«Куда, черт возьми, подевался Икарус? — пытаюсь понять я, снова очутившись в "Лондоне", потому что я опять его нигде не вижу. — Может, туалетная корпорация намного больше, может, это преступный сговор, и здесь целая сеть кафе, бутиков и банков, имеющая один общий клозет, и вот теперь мой кореш, также как и я, где-то заблудился, растворившись в этих подземных катакомбах?»

Присмотревшись внимательнее, с облегчением замечаю, что Икарус мирно спит себе за нашим столиком, придвинув два стула и свернувшись на них калачиком... На столике, утопая в смоге, гордо стоят две пустые бутылки из-под водки. «Улыбки судьбы», к счастью, нигде нет, поэтому я бросаю на барную стойку бабки... Конечно, я мог бы этого и не делать... Но я все-таки оставляю бабки, сами понимаете, хозяин-чечен, выбитый зуб... Потом я беру Икаруса, как мешок, выхожу на улицу и пытаюсь поставить его вертикально. Икарус падает.

— Что, не стоит? — слышу вдруг за спиной.

Икарус в принципе и правда не стоит, но меня страшно раздражает, что кто-то говорит про моего *лучшего друга*, как про какой-то ... «не стоит»... Неужели нельзя было спросить «падает?», «не ходит?» — словом, как-то более нейтрально.

Я резко разворачиваюсь, слышу, как Икарус, будто мешок, валится на землю, и вижу перед собой телефонную службу доверия, ну, не всю, конечно, а только эту белобрысую.

— Ты что, преследуешь меня? — говорю. — Видишь, у меня уже все в порядке... Почти, — добавляю я, пытаясь поднять Икаруса.

И это мне удается. Икарус даже сам начинает держаться вертикально и, судя по всему, он наконец проснулся.

— Никого я не преследую, просто я занимаюсь психологией, — объясняет она и интересуется: — А это, значит, Икарус?

Я оглядываюсь и вижу, как Икарус вприпрыжку несется в сторону парка. Мне не остается ничего другого, как бежать за ним следом, даже не попрощавшись с белобрысой. Я с трудом догоняю его метров через тридцать, но не успеваю схватить — он спотыкается о какой-то кирпич и летит вверх тормашками. Лежа на спине, Икарус мечтательно смотрит на звездное небо и, улыбаясь, произносит:

— Превед, медвед!!!

Я тоже, мимоходом взглянув вверх, замечаю, что прямо над нами — Большая Медведица.

— Щас, — говорит Икарус, — щас я чуток полежу, и мы пойдем.

Я закуриваю и пускаю дым в небеса. Икарусово «чуток» растягивается минут на десять, и он, кажется, опять засыпает.

— Это тройной кофе без сахара, — слышу я снова у себя за спиной.

Представьте, опять эта надоедливая белобрысая. Я молча смотрю на нее, она ставит на землю свой рюкзак, наклоняется над Икарусом и начинает пощечинами приводить его в чувство. Тот просыпается и опять говорит:

— Превед, медвед!!!

— С днем рождения, — отвечает белобрысая и вливает ему в рот кофе.

Икарус как-то испуганно зыркает на меня и спрашивает: «Что это, чувак?» — имея, наверное, в виду все вместе: небесного медведя, белобрысую и то, что она заставляет его глотать.

— Тройной кофе без сахара, — пожимаю плечами я.

Приближается полночь. Первые четыре таксиста, как только я им говорю, что у меня неподъемное тело, сразу же сваливают. Пятый оказывается более разговорчивым.

— Шеф, — сую голову в его кабину, — за пятнадцать до «низких» доедем? Но у меня еще тело.

Таксист перевешивается через руль, выглядывает на улицу и смотрит на Икаруса.

— Хорошо, — говорит он, — поедем, но если он наблюет, химчистка за ваш счет.

— Ага, — отвечаю, — может, тебе еще колеса помыть и самолетное топливо заправить?

— Да пошел ты, — рявкает он.

— Сам пошел, — я хреначу дверцей с такой силой, что его колымага чуть не рассыпается.

Шестым оказывается какой-то старпер на допотопной «Волге». Он медленно и уверенно едет посреди улицы, как танк на параде.

— Добрый вечер, — останавливаю я его. — Шеф, до «низких»...

— Стоп, ты што, бандеровец? — обрывает он меня с глазами, полными ужаса.

— Нет, — говорю я как можно спокойнее, — а вы что, бандеровцев боитесь?

— Боюсь, бандиты они. Помню, как в Драгобыче камсамолку изнасилавали, а девочка ж токо в камсамол вступила.

— Мда... Жаль... — сочувственно киваю я, — ну так что, поедем? — А ишшо ани палавой член отрезали... — не унимается он.

— Кому, комсомолке? — зачем-то спрашиваю я.

— Нет, другу ея.

— Ну а друга за что ж?

— Дак не знаю, даже разбираться не стали, просто вытащили их с сеновала и изнасилавали...

— Постойте, вы же сказали, что ее другу член отрезали...

— Атрезали-атрезали... А потом изнасилавали.

— Ну-ну, — киваю я, — счастливого пути.

«Волга» все так же медленно исчезает с моих глаз.

— Куда едем? — спросил меня еще один бомбила. Я к тому времени уже сбился со счета, перестал голосовать и просто торчал на обочине, поглядывая, как белобрысая что-то втирает Икарусу.

— У меня пьяное тело, — ответил я. — Бабок на химчистку нет и вообще, если вы не любите бандеровцев, валите отсюда, потому что я, хоть и не бандеровец, но меня все это так достало...

— Ну, че, ну че ты парисся? — не понял мужик. — У меня дома у самого два таких раздолбая. Тащи сюда своего бандеровца, итить... А блондинка с вами?

Тут я тоже спросил себя: с нами ли блондинка? Было уже далеко за полночь. Сперва я дотащил Икаруса до «Жигуля» и запихнул его на заднее сиденье.

— Поехали? — спросил я у белобрысой, которая топталась возле машины и надевала свой рюкзак.

— Это еще куда? — откликнулась она.

— В Лондон, — развел я руками.

— ОК, — согласилась блондинка, немного подумав, — поехали, но ничего такого, только психология.

Я открываю дверцу, пропускаю ее к Икарусу, а сам хочу сесть на переднее, но водитель вздыхает:

— Тут Уголек, мой дружбан, так что извини.

Присмотревшись повнимательнее, вижу на сиденье облезлую дворнягу. «Наверное, штурман, без него мы разобьемся или заплутаем», — думаю я и усаживаюсь сзади.

Где-то на полдороге я замечаю, что наша блондинка отключилась и мирно посапывает, положив голову мне на плечо. «Она, наверное, и впрямь неплохой психолог, — думаю я, — если ведет себя так, будто знает меня всю жизнь. У нее, скорее всего, должно было сложиться впечатление, что мы отпетое хулиганье. И что сподвигло ее сесть в тачку с двумя отморозками и поехать с ними из "Лондона" неизвестно куда?» Я не нахожу никакого другого объяснения, кроме того, что она такая же хулиганистая, как и мы, хоть и работает в телефонной службе доверия... и мне это начинает нравиться...

В конце концов мы подъезжаем к нашему темному дому. Икарус первым отворяет дверь, выпадает и проползает на четвереньках несколько метров, потом поднимается. Я расплачиваюсь с водителем.

— Видишь, — водитель с довольным видом гладит своего штурмана Уголька, — сколько бабок, гуляем...

Рюкзак блондинки приходится закинуть на одно плечо, дальше я пытаюсь взять ее на руки, она что-то там сонно бормочет, но не сопротивляется...

Сильнее всего пустота и одиночество ощущаются по утрам... Ты просто просыпаешься в коридоре квартиры, которую снимаешь... Просыпаешься даже не на своем надувном морском матрасе, а просто так, на полу. Хотя то, где ты просыпаешься, в принципе не имеет никакого значения — если бы я проснулся именно на морском матрасе, то, вероятно, первое, о чем бы я подумал, так это о том, что вот ты, чувак, проснулся, проснулся именно на морском матрасе, а море... море на самом деле очень далеко... И лежа здесь, на своем шестнадцатом этаже, ты смахиваешь на полного недоумка, за которого даже Биллу Дауну со своим мопедом стало бы стыдно.

Настроение от таких мыслей резко падает, а плюс к испорченному настроению — нереальная головная боль. Дальше ты берешь на руки Мяуцзедуна, который лежит рядом, свернувшись клубочком. Он приоткрывает один глаз, смотрит на тебя, какого, мол, хрена, зевает своей беззубой пастью, потом несколько раз портит воздух и начинает сопротивляться: пусти, пусти... Собственно, именно так в каждое тяжелое утро от тебя, из твоих рук, из твоих жабр пытается ускользнуть жизнь... Ты встаешь, заглядываешь в пустой душ, потом плетешься в комнату, где на раздолбанной раскладушке лежит Икарус, кладешь ему палец на шейную артерию, радуешься тому, что он по крайней мере не сдох... Дальше двигаешься на кухню, где разбиваешь попавшуюся под руку чашку. Напившись прямо из-под крана, ты смотришь со своего шестнадцатого этажа на утренний город и понимаешь, что ты совсем никому не нужен... что единственное, бл..., существо в этом мегаполисе, которое может тебе сейчас позвонить, — это Сан Саныч, да и то, позвонит он только для того, чтобы спросить, не пробухал ли ты его «честно заработанные» проценты... ну, может, еще напомнит, дескать, «чувак, никакой сексуальной активности...», и еще много таких «дескать», которые сейчас явно не в твою пользу...

А все нормальное, если оно в конце концов существует, в этой утренней пустоте и одиночестве не оставляет никаких следов, ему просто нет там места. Все выглядит так, будто чья-то рука со следами никотина на ногтях открывает пустой проектор твоей башки и вставляет туда короткометражную черно-белую пленку, и, собственно, пока бобины с этой пленкой крутятся, ты живешь, ну, во всяком случае, думаешь, что живешь, а когда пленка заканчивается, начинается утро, пустое утро, без моря...

Вернувшись с балкона на кухню, я наступаю на кусок разбитой чашки, осколок впивается в ступню, и, оставляя на линолеуме красные следы, ковыляю в ванную, где и пытаюсь остановить кровь. Она, ясное дело, ни хрена не останавливается, потому приходится снять с батареи носок и обмотать им ступню. И так переносоченный, шагом бойца, раненного снайпером условного противника, о котором ничего не знал даже директор моей третьей школы, я шкандыбаю в комнату и падаю на свой морской матрас... В который уже раз засыпая, я наматываю на палец несколько белесых волосков...

Мне все так же одиноко на улицах этого города.

«Хочешь об этом поговорить?» — раздается голос за спиной.

Оглянувшись, вижу ту же надоедливую блондинку. Она почему-то бросается мне на шею, а я ловлю себя на мысли, что, если тебе на шею бросается блондинка, это, в принципе, не так уж и плохо. А все на нас смотрят, смотрят так, как будто мы прямо здесь, у всех на виду начнем трахаться... И уже достают мобильники, чтобы позвонить своим лучшим друзьям и пригласить их, чтобы они побыстрее подтягивались... Смотрят... Все-все... Сотни глаз, не хватает разве что Билла Дауна, который бы сразу начал проповедовать... Его бы, на мой взгляд, народ вырубил, расхреначил бы его красный мопед, смастерив из об-

ломков надгробный памятник, а потом снова все смотрели бы на нас, потому что мы... мы, типа, не сдохли... и не хотим об этом говорить...

Чтобы спрятаться от них ото всех, я зарываюсь лицом в волосы блондинки и крепко сжимаю ее в объятиях, мысленно решив, что никому ее не отдам... Но она, похоже, другого мнения, потому что ни с того ни с сего вдруг кусает меня за щеку, за подбородок, а потом впивается своими коготками мне в горло...

— Дебил! — кричит Икарус. — Пусти Мяуцзедуна!

— Что? — я моргаю спросонок и одновременно чувствую, как в моей руке что-то бешено извивается.

— Отпусти Мяуцзедуна, задушишь!

Я разжимаю пальцы, и Мяуцзедун ракетой вылетает в коридор, а я сажусь на своем матрасе и чувствую, как горит моя физиономия.

— Знаешь, — говорит Икарус, — тебе надо срочно найти женщину.

— Зачем? — не могу врубиться я. И правда, зачем мне женщина, если она пытается меня загрызть?

— Затем, что в один прекрасный момент ты попытаешься трахнуть меня, — объясняет мой кореш.

— Я что, пытался трахнуть Мяуцзедуна? — не могу поверить я.

— Да нет, — отвечает Икарус, — ты просто схватил его и чуть не вывернул требухой наружу. У бедняги там что-то внутри так лопнуло, что на первом этаже, наверное, было слышно. Ты что, ох...ел? Ты хоть знаешь, сколько стоит операция кота?

— Нет, — теряюсь я, — а ты знаешь?

— Нет, — в свою очередь теряется Икарус, — но уверен, что найти женщину будет куда дешевле.

Неделю назад мы с Икарусом нашли трубу.

— Чужого нам не надо, — сказал Икарус, — закон подлости — страшная штука... Если что-то находишь, то непременно что-то и теряешь... О том, что терять нам было почти нечего, он как-то не подумал и начал было из автомата звонить на хоум-номер, забитый в памяти...

— Мы нашли ваш мобильник, можете его забрать, — произнес он таким тоном, как будто это был не мобильник, а такса, которую ночью привязали к нашей двери... — он нам на фиг не нужен...

— Пацан, — ответил ему вмазаный голос, — иди на хер и мобилу с собой можешь прихватить...

Мы, естественно, никуда не пошли, но обиделись, и потому забили на страшный закон подлости и решили оставить трубу себе... Наскребли на зарядку и новый номер и договорились так, что один день с трубой ходит Икарус, а один я... Зачем мы с ней ходили, трудно сказать, потому как нам никто не звонил, даже те люди, которым мы успели дать свой номер, объяснив, что по четным числам по этому номеру можно будет поговорить с Икарусом, а по нечетным — со мной, Базом. Звонить же самим нам было не по карману.

И вот сейчас труба наконец завибрировала где-то под моим матрасом. Я насилу нашел ее и прохрипел:

— Аллооо...

— Баз, это ты? — голос Сан Саныча.

— Я...

— А с голосом у тебя что?

— Я сдох... — прохрипел я.

— Сдох-сдох, — задумчиво пробормотал себе под нос Сан Саныч, — видимо, решая, нужен ли ему сдохший сотрудник, — сдох так сдох, подумаешь, с кем

не бывает... — решил он наконец. — Чтоб через час был в офисе, и сто баксов моих это... обязательно захвати...

Хорошо было уже хотя бы то, что он не вспомнил о сексуальной активности...

Вот так, почти без потерь в борьбе с условным противником, не считая таких мелочей, как дикая головная боль, исчезнувшая блондинка, раненая нога и поцарапанная физиономия, и начинается новый день.

Через секунду со своей раскладушки катапультируется Икарус, который, казалось, опять уснул.

— А какой сегодня день? — вопрошает он в отчаянии.

Неужели опять скажет, что у него сегодня день рождения, ну... то есть настоящий? — начинаю побаиваться я и потому число решаю не говорить.

— Понедельник.

— А который час?

Я зыркаю на мобилу.

— Половина десятого....

— Scheisseee! (Мама, ну почему я такой дебил?!) — кричит мой кореш, срывается, как ошпаренный, и бежит на кухню.

— Чувак, там на полу... — спешу предупредить я.

— А-а-а... — в комнату Икарус заскакивает уже на одной ноге. — Там на полу стекло... — шипит он, — это блондинка, я знаю, это она... нашкодила и слиняла...

— Постой, так она мне все-таки не приснилась...

— Стоп, — не въезжает он, — тебе что, тоже снилась блондинка? Ты понимаешь, как-то все странно... Я просыпаюсь во сне, так иногда бывает, а тут, на матрасе, не ты, а блондинка... Я пытаюсь ее разбудить и спрашиваю: «Ты кто?» А она мне: «Оператор телефонной службы доверия...» «Обалдеть», — не верю я. А она: «Хочешь об этом поговорить?» Тогда я опять упал на раскладушку и решил, что это галимый сон, в котором лучше отключиться и спать дальше... Потому что если сначала хочешь об этом поговорить, то потом...

— ОК, — отвечаю я, — носок в ванной на батарее...

— При чем тут носок? — нервничает он. — При чем тут носок?

Я задираю свою переносоченную ногу и кручу ею у Икаруса перед носом.

— Гениально, — кивает он и ковыляет в ванную.

Собственно, весь этот тарарам Икарус поднял не зря. Дело в том, что каждый понедельник в десять утра... Короче, в этот день он должен быть выбрит, одет в чистые джинсы, свежую рубашку и свежие носки. По понедельникам и по пятницам он работает репетитором — преподает немецкий одной малолетке. «Хотя, видит бог, — говорит он, — устрица научилась бы говорить по-немецки гораздо быстрее, чем моя ученица.»

Ей, кажется, четырнадцать, она распущенна и у нее забавное имя Сабрина. У нее настолько крутой папик, что в школу она не ходит, учителя к ней приходят на дом. И, понятно, как и все малолетки, она писает кипятком от бойзбэндов с пидарской внешностью...

— Ты слушаешь «Смэш»? — спросила она Икаруса на первом же занятии.

— Нет, — ответил тот, — не слушаю.

— А почему? — удивилась она так, будто он признался ей, что последние восемь лет не принимал душ.

— Да как можно такое слушать? И потом, они выглядят как голубые... — Икарус пытается сменить тему. — Хорош, забыли, — говорит он, — так ты скажешь, что такое артикль?

— Да подожди ты со своим артиклем. А сам ты что слушаешь?

— Ну, — пожимает он плечами, — «Рэд Элвисов». Может, это и старомодно, но у них, во всяком случае, вид нормальный...

— Значит так, — говорит Сабрина, — «Смэш» не голубые.

— Хорошо, существительные мужского рода имеют артикль... — не обращает внимания Икарус.

— Слушай, — обрывает она, — ты что, не понял? Я хочу, чтобы ты повторил: «Смэш» не голубые!

— Сабрина, репетитор-то здесь, кажется, я... Сечешь? Здесь я решаю, кто что должен повторять, золотце.

— Ну, — говорит она, — это ты не сечешь. Повтори: «Смэш» не голубые, — иначе мой папа тебя похерит.

«Маленькая засранка, — злится про себя он, — пятнадцать баксов за час, бляха-муха, это ж моя стипендия...»

— ОК, ОК, «Смэш» не голубые! Довольна? — эти слова ему приходится процедить сквозь зубы.

— Да, — кивает Сабрина. — Как ты там говорил? «Рэд Элвисы»?

— Ну, да, «Рэд Элвисы». А они-то тут при чем?

— А теперь скажи: «Рэд Элвисы» го-лу-бые!

У Икаруса начинает потихоньку ехать крыша. «Все, пойду охранять автостоянку, — думает он, — грузить вагоны, таскать кирпичи, грабить прохожих. Эта малолетка будет мне говорить, что "Рэд Элвисы" голубые?! Она хоть слышала их когда-нибудь?»

— Слушай, ты, заруби себе... Во-первых, «Смэш» — голубые, а «Рэд Элвисы» — красные, хотя ты все равно этого не поймешь. Во-вторых, я сейчас сам пойду к твоему папику и скажу, чтобы он меня уволил, потому что устрицу, слышишь, устрицу легче научить немецкому, чем тебя! В-третьих, не выводи меня из себя, потому что педагог из меня хреновый, а авторитетом для меня всегда был и остается МАКАРЕНКО...

— Знаешь что, — говорит она, — пошел ты в ж... со своим Макаренкой. Будешь выдрючиваться, мой папик завалит и тебя, и твоего Макаренка с тобой вместе.

— Ты что, с головой не дружишь? Да Макаренко был самым крутым во всем Союзе, под ним двенадцать колоний ходило. Можешь себе представить?

— Двенадцать? — переспрашивает она.

— Двенадцать, — кивает он.

— Хорошо, — как-то сразу сникает Сабрина. — Что ты там втирал про артикли?

Как говорил потом Икарус: «Это была моя первая и, надеюсь, последняя педагогическая победа», хотя на этом история с Макаренко не закончилась. Перед следующим занятием папик Сабрины добрых полчаса выпытывал у моего друга, что за братан этот Макаренко и почему это он ничего о нем не слыхал. Икарус, конечно, отбояривался как мог, но папик успокоился только тогда, когда он сказал, что Макаренко уже нет.

— Завалили? — спросил папик почти шепотом.

— Завалили, — кивнул Икарус, — с третьей попытки.

— С третьей? — не поверил папик.

— Да, — вздохнул Икарус, — двух киллеров он сам замочил...

Услышав это, крутой еще долго чесал затылок, но в конце концов отстал.

Как раз к Сабрине и собирался Икарус, беспорядочно прыгая по квартире на одной ноге и пытаясь найти свою парадную одежду. Минут через десять его как ветром сдуло.

Если же говорить обо мне, то моя работа была не меньшей жопой, хотя о Макаренко там вообще речи не было. Там могла идти речь, скажем, о том, как Элтон Джон изнасиловал в общественной уборной экскурсию школьников. Хотя, если хорошо подумать, что целая экскурсия школьников могла делать в общественной уборной? Мог быть развернутый материал о том, сколько раз Майклу Джексону отрезали и пришивали нос. Там мог быть гороскоп, в котором Козероги никогда не отличались сексуальной активностью, хотя уже через страницу шло что-то на манер иллюстрированной «Камасутры». Словом, «издание рулило», во всяком случае, на каждой плановой и внеплановой летучке Сан Саныч говорил, что мы возвращаем с продажи все сто процентов вложенного бабла. «50 процентов с продажи, — подозревал я, — а еще 50 — через месяц, когда устаревшие номера сдаем в макулатуру...»

Короче, с гонорарами была напряженка...

Когда я завалил в офис, беременная секретарша Светочка сразу же сказала, что шефуля с нетерпением меня ждет. «Как Билл Даун новый мопед», — подумалось мне.

— Ну, — сказал Сан Саныч, продолжая клацать по клавиатуре...

Я положил на стол сто баксов, он взял их, с довольным видом повертел в руках и положил в карман, после чего опять заклацал по клавиатуре.

— Ты еще здесь? — спросил он через минуту.

— Ну, да, — кивнул я, — вы же хотели меня видеть.

— Приступай к работе, — махнул он рукой, — у нас же нет еще гороскопа на следующую неделю... Шнэлле...

— Но никакой сексуальной активности? — понимающе кивнул я.

— Ты что, издеваешься? — зыркнул на меня шефуля.

— Да нет...

— Так чего же ты тогда все время спрашиваешь меня про сексуальную активность? Ты в чем-то меня подозреваешь?

— Да нет же, — продолжал наблюдать я за тем, как шеф все больше раскаляется.

— Может, ты хочешь сказать, что я импотент? А, Баз? В чем проблема?

— Нет проблем...

— Так будут, если ты сей момент не пойдешь и не займешься делом...

Как подсказывало мне мое богатое воображение, супруга Сан Саныча, вероятно, уже забодалась ожидать расписания гороскопов и попыталась добиться сексуальной активности просто так... О результате можно было догадаться по шефулиному настроению.

Я вышел из его кабинета, хлопнув дверью с такой силой, что беременная растаманка Светочка подпрыгнула на стуле и сразу же на меня набросилась:

— Ты что, придурок, хочешь, чтобы я родила раньше срока?

Ничего не ответив, я поднялся этажом выше, где было рекламное криэйтерское агентство. Там можно было покурить на аварийном балконе. И вот я стоял на балконе и вдруг подумал, ну, эти криэйтеры, ведь они недавно объявили набор. Может, попробовать... Может, они меня возьмут и я даже получу заказ разработать проект рекламы нового средства от импотенции...

И только я так подумал, как на аварийный балкон вышла девочка-страшилка в ярко-розовых очках и стала эротично раскуривать свою слим, заглатывая почти весь фильтр. Такие очки могла носить либо сумасшедшая, либо женщина, у которой очень-очень давно не было секса. Впрочем, между первым и вторым разницы почти нет...

— Красивые очки, — сказал я.

— Благодарю, — сказала она, заинтересованно зыркнув в мою сторону, — долчендгабана, четыреста баксов...

— Что четыреста баксов? — не сразу въехал я.

— Мои очки, — объяснила она.

— Они у тебя что, платиновые?

— Нет, это «Долче-энд-Габана», всемирно известный бренд...

— Так они не из платины? — переспросил я.

— Ну да, — гордо ответила она и вышла, вероятно, решив, что я какой-то имбецил.

Тогда я вышел вслед за ней и внимательнее присмотрелся к их криэйтерскому холлу. Туда-сюда бегали бешено напонтованные чуваки и чувихи, из-кабинета-в-кабинет-из-кабинета-в-кабинет-из-кабинета-в-кабинет... Это было какое-то броуновское движение... Потом они создавали длинные очереди возле автомата, выдающего кофе, а потом толпились на балконе и курили. Потом снова шли за кофе, а потом снова на балкон... А когда в автомате заканчивался кофе, они хреначили в дартс, который висел тут же. Словом, креативили.... А когда дартс надоедал, автомат с кофе успевали заправить. Создавался такой круговорот криэйтеров в природе.

Я вдруг растерялся и даже не заметил, куда пропала та сумасшедшая в розовых очках за четыреста баксов. А потом вдруг подумал, а почему бы и нет, бегать туда-сюда, пить кофе, курить и хреначить в дартс, чем не работа? И остановился глазами на двери с табличкой «Приемная».

Отворив ее, я опять увидел очки за четыреста баксов...

— Знаешь, — сказал я, — пристально вглядываясь в глаза, скрытые розовыми очками, — мне здесь нравится, я хочу попробовать стать вашим криэйтером.

Она зыркнула на меня как на полного недоумка, но все-таки подняла телефонную трубку и, как настоящая лизоблюдка, мелодично прочирикала:

— Семен Альтманович, к вам на собеседование.

Семен Альтманович оказался довольно хитрым. Он не стал рассказывать мне про свои очки, но как-то недоверчиво глянул на мою поцарапанную Мяуцзедуном физиономию.

— Вот, — сказал он, — держите, — и дал мне лист бумаги и карандаш. — Если вы хотите у нас работать, за полчаса на этом листе должны быть две концепции... Концепция первая — билборд социальной рекламы, направленной против взяточничества... Ну и... Вторая концепция... Скажем, видеоролик о... о мобильном факинфоне джей семьсот, пусть будет просто факинфон, никаких известных брендов...

И я принялся за дело, уйдя в него с головой... На рекламу у меня были свои виды, потому что криэйтером я не был, у криэйтеров же, судя по их броуновскому движению, никаких видов не было вообще... Реклама, как мне казалось, это прежде всего — ассоциативный ряд, ни больше ни меньше... От этого надо отталкиваться, это всегда срабатывает...

Хорошо, что там у нас? Билборд-социалка о взятках... Реклама факинфона... Начнем с социалки...

Если ты берешь взятки, то ты фактически продаешься... Теперь простейшая ассоциация... Кто еще продается? Ну, проститутки, например... Пожалуйста, берите, снимайте...

Ночная остановка, стоит проститутка, довольно привлекательная, но с фингалом под глазом. Рядом с ней такси, на капоте сидит несколько таксистов

гопницкого вида. Они манят проститутку двадцатибаксовой бумажкой... И желтая строка в черном небе: ЕСЛИ ТЫ БЕРЕШЬ ВЗЯТКИ, ЧЕМ ТЫ ЛУЧШЕ НЕЕ?

Ну что, криэйтеры, схавали?

Теперь факинфон.

Мобилка... Что такого особенного можно сказать про мобилку?.. Месседжи, звонки... но слоган: ФАКИНФОН — по нему можно позвонить, — имбецильный слоган, как ни крути... Надо мыслить нестандартно... Скажем, так. Все телефоны вибрируют... Вот... Так... Вибрируют, как вибраторы... Эй, криэйтеры, вы меня слышите, мать вашу вместе с кофейным автоматом и аварийным балконом! Ну и долчендгабану с дартсом за компанию! Вытрите сопли, держите...

1-й план: ночь, спит одинокая девушка.

2-й план: под кроватью начинает пиликать и вибрировать факинфон.

3-й план: девушка просыпается и, не открывая глаз, пытается его найти, но не с той стороны... Вытаскивает из-под кровати вибратор, прикладывает его к уху и нажимает power. А когда тот оживает, она в недоумении открывает глаза, растерянно смотрит в камеру и произносит: алло!

4-й план: черным по белому: ФАКИНФОН — ОН БОЛЬШЕ ЛЮБИТ ВАС!

Листок с концепциями я отдал ровно на десять минут раньше.

Альтманович как-то удивленно на меня глянул и сказал:

— Хорошо, подождите в приемной.

Долго ждать не пришлось. Долчендгабана сидела за своим столиком и с умным видом читала Мураками. Телефон несколько раз пискнул, после чего она исчезла в кабинете, а вернувшись, сказала:

— Ты нам не подходишь...

— Он прямо так и сказал?

— Ты уверен, что хочешь знать правду?

— Конечно. Будь со мной откровенна.

— ОК, он сказал, что это галимая немецкая порнуха.

— А что же тогда не порнуха? — удивился я.

Тут она задумалась.

— Ну, то, что снимаем мы, это, скажем, не порнуха.

— И что же вы снимаете?.. Так, для примера...

— Хорошо, — сказала она, — ты, наверное, видел рекламу кукурузных хлопьев?

— Это та, где по городу бегает гигантский кукурузный початок и все время спрашивает у прохожих: «Вы еще не знаете, кто я такой?!» По-твоему, это не порнография?

— Нет, не порнография.

— А объясни, ну, объясни мне, чем это отличается от галимой немецкой порнографии?

Тут она еще раз задумалась.

— Ну, хотя бы тем, что эту рекламу очень любят дети.

— По-твоему, дети не могут любить порнографию?

— Да, не могут, потому что они ее не понимают...

— Вот видишь, — говорю я, — все сходится. Дети смотрят вашу рекламу, потому что еще не понимают, что это галимая немецкая порнография...

Никогда не думал, что спускаться с одного этажа огромного корпоративного здания на другой можно так долго... Я намеренно останавливался на каждой третьей ступеньке, садился и закуривал, докуривал, преодолевал одним шагом еще три и снова садился. Мимо меня пробегали рекламные криэйтеры, клерки из нашей редакции, но никому до меня не было дела. Подозреваю, что даже если бы сюда каким-то чудом зарулил на своей «Ямахе» Билл Даун, чтобы с крыши протрубить благую весть... ну, он тоже бы не обратил на меня внимания,

объехал бы. Мне просто хотелось остановить время... Каким-то чудесным образом остановить время... Вставить ему в колеса кукурузный початок, что ли. Но время упрямо не останавливалось. Несколько раз мимо пробегала долчендгабана, но после галимой немецкой порнухи, какие бы там ни были у нее проблемы с сексом, я ее больше не интересовал...

И тут снова зазвонил мой факинфон.

— Баз, мать твою... — вежливо поприветствовали меня из динамика.

Сперва я подумал, что это звонит мне секретарша-растаманка, беременная Светочка.

— Ты что, все-таки родила? — виновато спросил я. — Ну, раньше срока...

— Господи, да он же опять обдолбанный... Слышь, ты там что, обдолбанный? И чего это я с тобой голову морочу? У меня зуб болит, мне к врачу надо идти, а я вместо этого тебе, козлу обдолбанному, звоню и поэтому не успею одолжить у подруги блузку на выходные, ей-богу, достало меня все...

Это Мила, понимаю я, мой ангел-хранитель на территории альма-матер, несмотря даже на то, что она дура и эксгибиционистка. Хотя, если трезво смотреть на вещи, то на какого еще ангела-хранителя может рассчитывать такой лузер, как я? Это наша староста Мила, которая ходит по общаге в коротеньком халатике, не надевая под него никакого белья. Подозреваю, что делает она это для того, чтобы не так было заметно, что она дура. Но по телефону... По телефону это не срабатывает...

— Мила, — говорю я, — знаешь, помочь тебе с твоим зубом я не могу и блузки у меня, впрочем, тоже нет... И потому...

— И потому заткнись и слушай сюда внимательно, — не дает договорить она, — я тебе, козлу обдолбанному, выпросила, вымолила, высосала из пальца последний шанс сдать зачет по ОБЖ, последний зачет, сдаешь в семнадцать ноль-ноль, и всё... Хотя нет, не все, еще килограмм зефира в шоколаде, и чтоб был у меня вечером... Это последний шанс... — подчеркивает она. — Пожалуйста, возьмись за ум. ОБЖ — это же раз плюнуть, и все — диплом, забирай свой гребаный диплом и дуй на все четыре стороны... Но про зефир, слышишь, про зефир...

И словно оправдывая статус обдолбанного козла, я сбрасываю Милу с линии, на несколько секунд задумываюсь о том, как можно шанс высосать из пальца, и все-таки принимаю решение им воспользоваться, своим высосанным из пальца шансом...

— Хорошо, студент, — первый вопрос... мг... амм... эээ... будет о поведении подростков на льду... на больших водоемах... Ты оказывался когда-нибудь на больших водоемах, на льду? — зачем-то спрашивает меня препод по ОБЖ, потирая руки.

— Нет, — говорю, — только на малых. По льду, — добавляю я, — вообще желательно не ходить...

— Это правильно, — кивает своей седой башкой ас по ОБЖ, — но если все-таки придется...

— Я ж и говорю, что если все-таки придется, то по льду надо ползти, а не идти... Таким образом увеличивается площадь...

— Погоди, — все говорливее становится препод, — а как же ты будешь по нему ползти, ведь это лед. Там даже ухватиться не за что, к тому же ползти по холодному льду — это опасно, можно простудиться...

И тут я начинаю понимать, что меня просто патово, безжалостно и красиво тычут носом в дерьмо, еще раз пытаясь доказать, что я лузер, причем такой беспомощный, что даже не знаю, что делать на льду...

— Хорошо, — говорю я решительно, — этот вопрос я не знаю, оцените мою честность и, если можно, дайте мне следующий.

— Да честность твоя мне ни к чему, — отвечает он, — мне важно, чтобы ты на льду сумел себя вести. Но все равно вот тебе второй вопрос... Правила поведения в том случае, если тебя укусила змея... — тут он делает многозначительную паузу, — за конечность.

— Так вот, — начинаю я. — Если змея укусила тебя... — я тоже зачем-то делаю многозначительную паузу... — укусила тебя за конечность, надо перетянуть конечность выше места укуса чем-нибудь вроде жгута и обязательно прижечь рану... А потом добраться до больницы... Это я знаю...

— Нет-нет, — качает головой он, — ты забыл одну важную деталь. Сначала надо отсосать!

— Отсосать? — обалдело переспрашиваю я.

— Конечно, отсосать... Если не отсосешь — верная смерть...

— У кого отсосать?

— Как это у кого, у себя, разумеется! — возмущается препод и смотрит на меня как на полного идиота.

Я, впрочем, смотрю на него точно так же. Я мгновенно представляю, как этот вот клоун ходит в лесу и собирает землянику, запихивает ее горстями в рот, размазывая сок по щекам. И вдруг ему под ноги выползает маленький неядовитый уж. Остальные ужи наблюдают шоу из-за ближайшего дерева. И вот обэжэшник наступает ужу на хвост, тот кусает его за шершавую пятку и уползает к друзьям, а наш герой, роняя землянику, суетливо пытается у себя отсосать...

В какую-то минуту я даже решаю плюнуть на зачет по ОБЖ и просто свалить.

— Ну, хорошо, — пытаюсь успокоиться я, — а если вы не сможете у себя отсосать? Что тогда?

— Как это, не смогу? — возмущается препод.

— Не сможете в силу особенностей организма, ну, ведь не каждый такой гибкий, можно и не дотянуться... ну, до конечности...

Обэжэшник задумчиво чешет в затылке и утвердительно кивает...

— Конечно, конечно, твоя правда... тогда остается два выхода...

— Какие?

— Что какие? Сам должен знать! — рявкает он.

— Хорошо-хорошо, я не знаю, — развожу я руками, — можете так и записать в своей ведомости. Но все равно: что же и впрямь делать, если змея вдруг меня укусит?

— Что делать? Второй вопрос не знает, — бормочет он себе под нос и записывает в блокнот. — Что делать? Надо найти того, кто бы смог отсосать.

— Вот как... — я понимающе киваю. — Ну, а последний, последний способ?

— Последний самый простой... Надо просто убить змею и принести ее в больницу...

— А это еще для чего? — не перестаю удивляться я.

— Чтобы врачи посмотрели, какая тебя, дурака, змея укусила, и ввели нужное противоядие... И ни о каком зачете даже разговора не может быть... Ты абсолютно беспомощный...

— Простите, а что вы имеете в виду?

— Имею в виду то, что тебе как будущему педагогу страшно доверять жизнь детей. Я вообще удивляюсь, как ты дожил до четвертого курса, не зная элементарных вещей?..

— И что, зачета не будет?

— Не будет, я не могу взять на себя такую ответственность.

Какая ответственность? За что? За мою лайф? Или за свою? Я вообще не понимаю, что эта мартышка имеет в виду под словом «ответственность»? И что вообще такое это ОБЖ? Три гребаные буквы, не больше. Он что, в самом деле верит, что жизнь — это тележка с мороженым, которую он толкает перед собой, умело регулируя температурный режим и время от времени подзаряжая аккумуляторы? Он что, в свои шестьдесят или сколько там ему, не догоняет, что все это жестко отлаженный господний бизнес? И что если ты перестанешь вписываться в его четкие схемы, тебя сразу же приберут. «Ну, хорошо, хорошо», — скажет Всевышний, глядя на то, как ты выходишь из леса, наступив на змею. А потом возьмет и полистает расписание местных электричек... «Так-так, — покачает головой, — электричка — это даже лучше, надежнее. Тут хоть соси, хоть не соси...» И наоборот, если ты будешь приносить дивиденды и вдруг захочешь на все забить и прыгнуть под электричку, Господь сделает так, что тебе отрежет ногу, ну, в крайнем случае две, и их тебе потом благополучно пришпандорят в ближайшей больнице пьяные хирурги. И те ноги даже срастутся, да так хорошо, что ты потом сможешь играть за харьковский «Металлист», все равно там одни инвалиды, потому никто и не заметит — пришитые у тебя ноги или нет.

Вот он сидит передо мной, смотрит мне прямо в глаза и, наверное, думает: сопляк, ты еще жизни не видел, не нюхал, не пробовал, а я вот провел свой корабль через все фарватеры, обошел все подводные рифы и выжил, как видишь. Всякое, правда, бывало, иногда приходилось и задницу лизать, и я лизал, но выжил, и теперь мне шестьдесят, или сколько там, я уже и не помню, такая у нас была тяжелая жизнь, так нам отчаянно приходилось выживать. Теперь ты, мудила, понимаешь, что такое ОБЖ? Что это не три буквы на заборе? Что это твоя, сука, жизнь?

Знаете, мы даже ничего не говорим друг другу, мы читаем это в глазах — он в моих, я — в его, и я понимаю, что ловить мне тут больше нечего, встаю и двигаю к выходу.

— Подожди, — говорит он, — но мы же можем договориться...

«Вот оно, — думаю я, — вот его гребаное ОБЖ, прокаженная школа выживания, правила, которые по пунктам позволят выбиться из числа лузеров... Правила, где первым пунктом идет то, что ты должен стать *жополизом*, выжить, дожить до шестидесяти, провести свой корабль и так далее... А потом смотреть по вечерам в телевизоре на таких же, как ты сам, и оставлять челюсти на полочке в стакане, тем самым пугая и доводя до невроза своих внуков, если они у тебя, конечно, будут...»

Знаете, в таком случае можно даже гордиться тем, что ты лузер... Я затворяю за собой дверь и окунаюсь в свою лайф, где, что бы ни случилось, я все равно буду жить, потому что выживание — не для меня...

У каждого своя карма и свой шлях широкий... Ты можешь не интересоваться своей кармой, но наступит время, когда она непременно заинтересуется тобой, и как будто в знак мести, что ты на нее забил, пустит твою жизнь под откос, перевернет в ней все вверх дном, как копы, что ищут в твоей комнате наркотики, оружие, взрывчатые вещества, порнографию или же просто ищут, без всякой цели, надо же им чем-то заняться. Так говорил один мой знакомый гот. В семнадцать он украл у своей бабушки триста баксов, которые та копила себе на похороны и держала под матрасом, пошел к стоматологу, и тот вставил ему клыки, самые настоящие клыки... Это, со слов моего друга, очень укрепило его авторитет в сообществе готов, хотя есть было не очень-то удобно. И вот как-то ночью, после какой-то там готической пати, он и еще несколько его друзей-

готов возвращались на раздолбанном жигуле домой. Водитель, тоже гот, которому принадлежала тачка, не справился с управлением и въехал в билборд с харей нового мэра, обещавшего светлое будущее городу и всем его жителям, включая национальные, сексуальные и иные меньшинства, ну и готам, конечно... «И после того, как мы наехали на мэра, наш водитель не выдержал его пытливого взгляда и вдруг раскололся, что тачка паленая, — рассказывал мой знакомый гот, — так нас и повязали...» А потом родителям этого гота сказали — «ну, уважаемые, мы даже ничего и не спрашивали у вашего сына, да и что нам может ответить такой... — пауза, — сын... ну, в общем, выбирайте: или суд — или военкомат...» Родители выбрали военкомат... Гот отчаянно сопротивлялся, но сначала его лишили хаера, а потом повели на медосмотр... Гот оказался здоровым, как бык, и только стоматолог, заглянув ему в рот, удивленно покачал головой: «Ни хрена себе патология».

И патология была спилена ровно за десять минут старой бормашиной... И никаких тебе баксов, все бесплатно... И бабушке теперь не на что будет даже умереть, придется жить дальше... Опущенный гот со спиленными зубами поехал под Обухов служить родине, учить, что он «обязан», и защищать ее от воображаемого противника, о котором ничего не знал даже директор моей третьей школы, афганец...

— И вот там, без зубов, копая лопатой окоп и понимая, как подставил бабушку, — рассказывал гот, прибывши в первый отпуск, — я наконец вкурил, что на карму забивать нельзя, потому что все тебе выйдет боком и ты попадешь под какой-то отстойный Обухов, против которого я, впрочем, ничего не имею, я так говорю, образно...

Меня тогда удивило, что после всего этого чувак еще может говорить образно...

Стоя посреди дворика своей альма-матер, на теплом бетоне, сунув руки в задние карманы джинсов и зажав в зубах спасительный «честер», я смотрел на погожее глубокое небо и лелеял надежду, что оно тоже смотрит на меня, но небу, судя по всему, было пофиг... Я, кажется, начал понимать, что карма меня достала... Достала без суда и военкомата.

А вынув руки из задних карманов, я вдруг увидел, что держу визитку. Как она туда попала, я совсем не помнил, поэтому мельком глянул на серебристые буквы:

«Анжелик Ковач
телефонная служба доверия
321 — оператор 7 — с городского
(095)399-588-2 — с мобильного»

Я достал мобильник и набрал первый номер, но он тупо не набирался. «Вы не можете позвонить по этому номеру», — повторяли мне так, будто он был только для избранных, а не для таких, как я, лузеров... Что касается второго, то там заученно отвечали: «Зе сабскрайбер кеннот би ричт зис момент, плиз трай эгейн лейте» (Слышишь, придурок, мне влом с тобой разговаривать, будь добр, отвали).

Я пью крепкий кофе с коньяком. Мяуцзедун запрыгивает на стол, делает несколько уверенных шагов в сторону моей чашки, подходит к ней и макает туда лапу. Облизывает ее, с отвращением трясет лапой и, оставляя на полу коричневые следы, уходит в комнату. Я выливаю остатки кофе в мойку — допивать нет никакого желания, ведь сколько бы мы ни оставляли Мяуцзедуну плошку с водой, ему всегда больше нравилось лакать воду из толчка. Икарус в это время

сосредоточенно ест «Мивину», запивая кефиром. Поев, отодвигает тарелку и говорит:

— Ты не поверишь. Я, как всегда, пришел, достал учебники, тетради, ну и всякую такую хрень и двинул в ее комнату. Камилла, их домработница, сказала, что Сабрина скоро придет, что она разговаривает по телефону со своим бой-френдом, хотя какой к черту бой-френд может быть у такой стервозной малолетки? ОК, — подумал я, — пускай будет бой-френд, мне в конце концов до лампочки, я тут педагог, я бабло отрабатываю, меня это не интересует, дай-ка я лучше сосчитаю, сколько у этой развратной малолетки в аквариуме рыбок... И стал считать. И тут входит она... В таком куцем-куцем халатике. Понимаешь, он что есть, что его нет. И кто, скажи, такие халатики придумал?

«Привет», — говорит она.

«Привет, — отвечаю. — Может, ты бы пошла переоделась?»

«Тебе что, не нравится мой халатик?» — удивилась Сабрина.

«Очень нравится, — кивнул я и добавил, — das ist fantastisch! (Ты такая красивая, я тебя очень хочу!)»

«А мне показалось, что он тебе не нравится», — начинает накручивать она.

«Нравится, мне очень нравится твой халатик. Но не могла бы ты пойти и надеть что-нибудь другое?»

«Если ты говоришь, чтобы я пошла и переоделась, значит, он тебе не нравится! И точка!»

И тут — ты слышишь? — Она его вообще снимает и швыряет за окно... И остается передо мной в одних розовых тру-си-ках...

«И вообще, — говорит она, — сегодня как-то очень жарко... но все равно давай уже начинать, а то я опоздаю на занятия по теннису».

«Хорошо, — говорю я, понемногу приходя в себя, — и впрямь, почему бы... начинаем урок, но я буду смотреть в окно, на тебя я смотреть не буду» — я и правда беру учебники и перекладываю их на подоконник.

«А почему это ты не будешь на меня смотреть?» — возмущается она.

Я напрягаю мозги и объясняю:

«Педагогическая этика...»

«А это что за фигня такая? — еще сильнее возмущается она. — Что это за педагогическая этика, если ты все занятие простоишь ко мне задом? И вообще, я тебе ЧТО, НЕ НРАВЛЮСЬ?»

«Сабрина, ты мне очень нравишься, но ведь *Макаренко* говорил...» — впрочем, даже эта магическая фамилия не производит на нее никакого впечатления.

«Тогда СМОТРИ НА МЕНЯ! — почти взрывается она. — Как ты можешь не смотреть на меня, если я тебе нравлюсь? Вот ты мне нравишься, и я смотрю даже на твою задницу!»

«Ты мне тоже нравишься, но я репетитор, я тебя должен учить, а не смотреть на твой зад!»

«Ах так! — яростно сверкает глазками Сабрина. — У МЕНЯ НЕ ЗАД! Слышишь?! У МЕНЯ НЕ ЗАД!» — топает ногами она.

Из коридора стучит Камилла.

«Солнышко, у тебя все в порядке?» — спрашивает она из-за двери.

«Да, мы сейчас как раз шлифуем фонетику... — ответило солнышко в трусиках и добавило: — Не мешай нам, а то вылетишь отсюда на фиг!»

Камилла потопталась у двери и пошаркала на кухню.

«Так на чем мы остановились?» — спросило меня солнышко.

«Упражнение тридцать четыре», — сказал я.

«Нет, я имею в виду шлифование фонетики...»

«Ты сказала, что у тебя НЕ ЗАД...»

«Да, — в очередной раз взвизгнула она, — у меня НЕ ЗАД!!!»

«Господи, а что тогда у тебя?»

«У меня... Эээ... Ммм... У меня ПОПКА!!!»

«Хорошо, — говорю я, — но это ничего не меняет. Бери свою попку, сажай ее за стол, и переходим к упражнению номер тридцать четыре. А я все-таки посижу здесь, на подоконнике...»

«Слушай, но почему, объясни мне?» — прищуривается она.

«Сабрина, ты не понимаешь...»

«Ты хочешь сказать, что я дура?»

«Да, то есть, нет...» — сразу же поправляюсь я.

«Но я же не дура, ты же сам говорил на прошлом занятии, что я делаю успехи, я даже выучила, что такое херпект!»

«Перфект», — поправляю я...

«Да какая разница?»

«Очевидная, — говорю, — херпект — это неизвестно что, а перфект — это форма прошедшего времени...»

«Но почему, почему ты не хочешь смотреть на меня? — опять заводится Сабрина. — Почему ты не хочешь сделать мне приятное одним своим взглядом, почему ты делаешь из моей жизни сплошной херпект?» — заламывает она руки.

«Я же говорю, ты не по-ни-ма-ешь...»

И тут она вдруг шепчет:

«До меня наконец дошло... ты голубой...»

«Ну конечно, — неожиданно для себя говорю я, — я гей, самый голубой гей на планете, меня женщины не интересуют. Довольна? А теперь открывай свою тетрадь и читай вслух тридцать четвертое упражнение...»

Сабрина смотрит на меня как-то странно.

«А почему же ты тогда гнал на "Смэш"?» — спрашивает она.

«Шифровался, — отвечаю. — Думаешь, твой отец взял бы на работу голубого репетитора?»

Она садится за свой учебный столик, я вижу это боковым зрением баскетболиста, поворачивается ко мне в профиль и начинает:

«Ихь верде... Постой, — говорит она, неожиданно прозрев. — Но ты же какой-то неправильный голубой...»

«Я нормальный голубой, — отстреливаюсь я. — Я с парнем живу, читай давай...»

«Ну, если ты нормальный голубой, тебе должно быть пофиг, женщина я или нет, и вообще пофиг, что на мне надето...»

Знаешь, Баз, в какой-то момент я просто-таки завис... А и в самом деле, — думалось мне, — все так просто... Меня охватывает какое-то бешеное отчаяние. Выходит, это я, ни за что ни про что записался в пидары. Наша песня хороша, начинай сначала. Доказывай ей теперь, что ты все-таки натурал, но ведь ей же только этого и надо...

«Да тебе вообще должно быть по барабану. Вот я сейчас встану и сяду к тебе на колени, — Сабрина забивает последний гвоздь в гроб моей псевдопидарской ориентации, — если ты голубой, наш урок продолжится дальше...»

Она и правда встает и идет с тетрадью ко мне.

«Стой, — говорю я и оборачиваюсь, — стрелять буду...»

«Что?» — теряется она.

Тогда я меряю ее взглядом с головы до ног и наконец говорю:

«Все, солнышко... Все».

«Что? — довольно улыбается она, замечая мою растерянность. — Ты больше не голубой?»

«А я, — говорю, — вообще не голубой, я просто не хочу тебя больше видеть, я увольняюсь. Тшюсс, майне либе!» (Прощай, засранка ты малолетняя).

Я сгребаю с подоконника книжки и собираюсь уходить.

«Стой, — теперь уже говорит она, но вместо "стрелять буду" добавляет банальное "кричать буду"»

«И кричи, — соглашаюсь я, — кричи сколько влезет, шлифуй фонетику, вспоминай херпект, а я ухожу, мне тут делать нечего...»

«Но я же в самом деле закричу», — почти в отчаянии разводит она руками.

«Битте шён!» (Слышишь, дурында, кричи, кричи, сколько влезет!)

«Ты этого хочешь, честно? А может, все-таки останешься?»

«Нет, — говорю я. — Я ухожу, ихь габе алле генде фолль цу тун!» (Делать мне больше нечего, чем фигней страдать с такой дурой).

И тут она как недорезанная, начинает изо всех сил верещать, что... что я... ты представить себе не можешь, что я ее насилую... И в ту же минуту влетает Камилла и тоже начинает орать, как обезьяна, причем орет она какую-то чушь, ни единого слова не разобрать... Я так и не понял, чего она хотела: спасти Сабрину или чтобы ее тоже изнасиловали...

— И че? — у меня перехватывает дыхание.

— Да ниче... Я хватаю подушку и со всей дури луплю Камиллу по кумполу... Камилла умолкает и падает... А я, опрокидывая мебель, вырываюсь из квартиры...

— Мда... — только и могу выдохнуть я.

— Как думаешь, что они теперь со мной сделают?

— Кто — они?

— Ну, папик Сабрины и его менеджеры.

— Даже не знаю...

— А я знаю, — сокрушенно вздыхает Икарус... — И ума не приложу, что с этим делать...

— Может, позвонить телефонной службе доверия? — непонятно зачем предлагаю я.

Наш настольный будильник на кухне высвечивает 23:93. Как-то Кэт уронила его на пол, и он теперь глючит, впрочем, иногда это создает иллюзию, что у нас времени — навалом, а если и не навалом, то во всяком случае больше, чем у других.

Мы упрямо сидим дома, жрать у нас совершенно нечего, но и, если честно, нам сейчас не до жратвы. В который раз перебиваемся кофе, доливая в него остатки вчерашнего коньяка, и курим. Пепел стряхиваем в скорлупу от кокосового ореха. А когда все это до чертиков надоедает, я молча высовываюсь в окно и начинаю разглядывать темные крыши павильонов детского сада — отсюда, сверху, своим старым выцветшим шифером они напоминают западню. Через несколько улиц от нас в небо бьют световые пушки какого-то ночного клуба, как будто выискивая бомбардировщиков воображаемого противника или усталых ангелов, после тяжелого трудового дня возвращающихся домой. В нашем дворике горят только два фонаря — один на въезде, а другой на козырьке нашего подъезда, остальную территорию оккупировала густая липкая темень.

Я выбрасываю окурок, он падает, как крошечный метеорит, и уже собираюсь вернуться к Икарусу, но вдруг вижу, что в наш дворик на бешеной скорости влетает большой черный джип «Чероки». Он подкатывает к соседнему подъезду, а их в нашем доме аж целых два, резко дает по тормозам, с переднего сиденья выглядывает чей-то голый череп, кивает и исчезает в кабине. «Чероки» опять газует, пролетает последние десять метров и тормозит так резко, что его заносит и бросает задними колесами на клумбу тети Тани.

«Пипец пацанам, — думаю я. — Сейчас тетя Таня порубит их всех лопатой и расхреначит им джип...» Шутить с ней — себе дороже. Тетя Таня была адвентисткой седьмого дня, что как бы само собой обязывало ее быть еще и пацифисткой. Но только в одном случае, — если кто-то трогал ее цветы, — ни о каком пацифизме и речи быть не могло. Однажды она разбомбила из окна картошкой какого-то гопника, вздумавшего нарвать своей девушке ромашек, а как-то облила кипятком алкаша, остановившегося у клумбы отлить... Короче, если бы тетя Таня сейчас не спала и не видела свои адвентистские сны, случилось бы что-то непоправимое.

Из «Чероки» вывалились четверо чуваков в спортивных костюмах. Они закурили, а последний, пятый, спрыгнул с водительского места, открыл багажник, достал оттуда бейсбольные биты и глянул куда-то вверх, как будто эти пацаны приехали на разборки с ангелами, которые устало возвращались домой над их территорией и клали на их авторитет. И вот пацаны стояли, курили и смотрели куда-то вверх, наверное, ожидая, что ангелы сами спустятся и начнут свой гнилой базар... Но о чем конкретно с ними можно базарить, я как-то не совсем понимал, с ними ведь хоть базарь, хоть не базарь, у них же вон какая крыша... И вот тут мне что-то стало явно не нравиться... Более того, я даже понял что именно — мне не нравились бейсбольные биты, очень не нравились, хотя я не был ни пацифистом, ни адвентистом седьмого дня. Что касается самого бейсбола, то я даже правил не знал... И тогда я очень осторожно спросил:

— Икарус, а скажи мне, пожалуйста, что за машина у отца Сабрины?

— Черный «Чероки», — как-то совсем беззаботно ответил он, — большой черный «Чероки»...

— И ездит на нем он не один...

— Ну да, — соглашается со мной Икарус. — Обычно с ним два менеджера и два секретаря, все они в спортивных костюмах, а в багажнике у этих отморозков бейсбольные биты...

Когда я снова посмотрел вниз, возле клумбы уже никого не было...

Через каких-то десять секунд мы изо всех сил карабкались по решетчатой железной лестнице на чердак. Может, со стороны мы были похожи на двух полоумных хомячков, что туда-сюда носятся по игрушечному домику, во всяком случае, глаза у нас были такие же остекленевшие, остекленевшие от страха, и нам было не до игр. Впереди мчался Икарус. В последний момент он схватил за шкирку самое дорогое, что у нас было, то есть Мяуцзедуна, и теперь тащил его по лестнице. С чердака мы вылезли на крышу и там, пригибаясь и маневрируя между антеннами, добрались до будки, через которую можно было попасть в соседний подъезд. Мигом спустившись на последний этаж, мы спугнули каких-то малолеток, которые курили драп, слушая музыку на переносном магнитофоне, и вызвали лифт. Он поднимался нестерпимо долго... Малолетки молча переводили взгляд с нашего Мяуцзедуна на Икаруса, потом на меня, а потом друг на друга, а дальше — на свою дурь, и наверное, думали: хорошая дурь, растуды ее.

А когда зассанная кабина лифта наконец изволила прибыть на наш этаж, Икарус вдруг сказал:

— На, — и вручил мне Мяуцзедуна. — Дверь подержи.

Я взял Мяуцзедуна под мышку и заблокировал дверь. Икарус подошел к малолеткам.

— Чуваки... — начал он. Чуваки вдруг как-то отпрянули, а наверное самый продвинутый из них сказал: — Спокойно! Вы видите в данный момент то же, что и я? — Все согласно закивали. — Тогда нам нечего бояться, — продолжал самый

продвинутый, — потому что это наш коллективный глюк, нас просто глючит всех вместе, и мы видим один и тот же глюк, это же...

— Чуваки, — прервал его Икарус, — чуваки, гоните дурь...

— Вы тоже это слышали? — спросил самый продвинутый. — Чуваки молча закивали. — Пацаны, да он же смешной, — попробовал было засмеяться продвинутый, но как-то сразу сник, заметив, что никому не смешно. — Чего вы? — не понял он. — Это же глюк!

— Да-да, — согласно кивнул Икарус, — я глюк, а теперь гоните дурь!

Икарус подошел к самому продвинутому и взял его за грудки. Тот, немного помявшись, все-таки достал из кармана спичечный коробок.

Потом мы спускались вниз, а малолетки, наверное, думали: да ну ее к черту, эту дурь, если после нее так глючит, что наш коллективный глюк приходит и забирает нашу коллективную дурь, на которую мы все скидывались. И только самый продвинутый, наверное, пытался убедить их, что все не так уж и плохо, что глюк был не такой уж агрессивный, ведь он забрал только дурь и ничего больше, а магнитофон оставил. И что можно попробовать покурить еще, тогда глюк, скорее всего, вернется, и дурь можно будет выпросить назад, а если глюк не согласится, то обменять, — обменять, скажем, на магнитофон.

На первом этаже Икарус вдруг остановился, положил коробок в задний карман джинсов и вынул оттуда перочинный нож.

— А это что за хреновина? — спросил я.

— Нож, — объяснил он, — китайский нож.

— Да вижу, что китайский, но что ты собираешься делать?

— Как что? — удивился он. — Защищаться, а если понадобится, то и нападать.

Я попытался представить, как Икарус обороняется китайским ножом для затачивания карандашей от пятерых чуваков с бейсбольными битами — и у меня ничего не получилось.

— Знаешь, — сказал я, — по-моему, единственное, что можно сделать этим ножом, так это харакири, как китайцы.

— Китайцы не делают харакири, — возразил Икарус.

— Какая разница, делают они харакири или нет... Я просто хочу сказать, что с этим ножом нам ничего не светит.

— Ты что, — сказал вдруг Икарус, и нехорошие огоньки блеснули в его глазах, — сомневаешься в моих силах?

Я очень хорошо знал, что значат эти огоньки и чего именно можно после них ждать. Точнее, я знал, что после них ничего хорошего ждать не стоит.

— В твоих силах, чувак, я не сомневаюсь, напротив, я очень предвзято отношусь к китайцам, а особенно к их легкой промышленности...— парировал я.

После таких моих слов Икарус толкнул дверь ногой и вышел, а мне не оставалось ничего другого как следовать за ним. Слава всем святым, там никого не было, поэтому ни обороняться, ни нападать нам не пришлось. Я облегченно вздохнул и уже собирался рвануть за дом, подальше отсюда, куда-нибудь в заброшенные гаражи, но в последнюю минуту заметил, что Икарус идет в сторону одинокого «Чероки», увязшего задним колесом в адвентистской клумбе. Даже Мяуцзедун у меня под мышкой нервно заерзал. Чем ближе Икарус подходил к «Чероки», тем быстрее становился его шаг, и в конце концов мой взбешенный кореш побежал, упал перед самым джипом на колени и резко замахнулся китайским перочинным ножичком. Он с силой ударил им в колесо, там что-то гулко звякнуло и отлетело на клумбу.

— Ненавижу китайцев, — прошипел Икарус, и джип, словно соглашаясь с

ним, разорвал ночную темень и тишину неистовым поросячьим визгом сигнализации.

Ситуация усложнялась еще и тем, что из-за этого визга могла проснуться тетя Таня, которая мигом организовала бы против нас, потенциальных разорителей своей адвентистской клумбы, кровавый и страшный крестовый поход. Икарус виновато зыркнул в мою сторону, словно извиняясь, но потом в его глазах снова блеснули злые огоньки, и я понял, что «Чероки» обречен.

И правда, Икарус вырвал из земли один из кирпичей, которыми была огорожена адвентистская клумба, и, замахнувшись им над головой, со свистом обрушил его на лобовое стекло. В ту же минуту в окне тети Тани вспыхнул свет, а на лестнице между седьмым и восьмым этажами замелькали тени, быстро спускавшиеся вниз...

«Отче наш, сущий на небесах, сделай так, чтобы тетя Таня-адвентистка подумала, что пацаны из "Чероки" умышленно наехали на ее адвентистскую клумбу, а те, в свою очередь, — что тетя Таня разбила им за это стекло», — несясь на всех парах в направлении заброшенных гаражей, молились мы с Икарусом и Мяуцзедуном, если последний, конечно, знал, как это — молиться.

— Знаешь, — сказал я, — а вот что было бы, если бы Тарас Григорьевич Шевченко родился не тогда, когда он родился, а, скажем, в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году... — дурь и правда была хорошая, а после хорошей дури я всегда начинал молоть всякую хрень. Икаруса же, напротив, пробивало на умняк, и он становился молчаливым и депрессивно-угрюмым... Короче, мне дурь развязывала язык, а ему наоборот — завязывала.

Взобравшись на третий этаж недостроенного во время совка паркинга, благополучно миновав все дыры в полу, провалившись в которые можно было пролететь метров пятнадцать и сказать жизни аста ла-виста, мы нашли небольшую комнату с несколькими старыми шинами и молча уселись на них. И тут Икарус достал трофейную дурь. Но проблема была в том, что ни у кого из нас не было папирос, которые можно было использовать как гильзы... Бумаги у нас тоже не было. Тогда после некоторого раздумья Икарус вынул из кармана гривну и сосредоточенно стал сооружать косяк из купюры.

— Ты что, — обалдел я, — ты знаешь, сколько на бумажных деньгах бацилл?

— Чего? — вылупился Икарус.

— Бацилл, так даже сифак можно подцепить.

— И ты откажешься от дури из-за какого-то там сифака? — удивился он.

Делать было нечего.

— Так вот, — продолжил я свою мысль, — если бы Тарас Григорьевич Шевченко родился, скажем, в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году и был, ну, не крепостным, а например, каким-нибудь беспризорником в советском детском доме, то из него, должно быть, получился бы неплохой рэпер, который читал бы жесткий социальный рэп на всю страну и который не дал бы зажраться разным ублюдкам и обличал бы их аферы, их блядство и разврат... А вместо того дерьма, которое он рисовал, учась у Брюллова, он бы бомбил своими граффити «рассадники зла», которые больше всего достают и угнетают и без того угнетенные слои — например, налоговую и милицию. И я это беру .не с потолка, уважаемые скептики и поклонники батьки Тараса, я беру это из «Кобзаря», стихи которого, видит Всевышний, по-своему гениальны... И что бы, скажем, мешало нашему гению, родившись в 1983-м, перефразировать широко известное «у каждого своя доля и свой шлях широкий» на более патетическое и поэтическое «у каждого своя карма и свой джип "Чероки"»...

— На фиг «Черокки»... — попросил Икарус.

— Ладно, — согласился я, — тогда он вышел бы на сцену в широких джинсах с мотней до колен и хоккейном капюшоне и прочитал бы «у каждого своя карма и на фиг чероки»... — а под сценой в это время сидел бы я, и я бы сказал: йо big daddy TARAS, ты в натуре рулишь!!!

— Оставь Тараса Григорьевича, — отозвался Икарус, — не трогай старичка.

— Я так не могу, — объяснил я, — мне сейчас надо думать, думать вслух.

— Думай, но Тараса Григорьевича оставь в покое.

— А о чем же мне тогда думать?

— Ну, о свободе, например.

— О свободе в глобальном смысле или в каком-то более узком?

— А ты и так и так думай... Вот мы с тобой сейчас свободны, абсолютно свободны...

— Я, кажется, понял, к чему ты клонишь, старик...

— Это очень хорошо, а то я еще и сам не понял, к чему я клоню...

— Ты клонишь к тому, что мы с тобой полные лузеры, что у нас есть абсолютная свобода без всяких там глобальных или более узких смыслов, а мы просто не знаем, *что с ней делать*...

— Не знаем, — прошептал Икарус и зевнул.

— Но я, кажется, знаю, кто знает... Телефонная служба доверия... — пояснил я и достал из заднего кармана джинсов визитку.

— Алло, — услышал я сонный шепот в трубке.

— Анжелик, так тебя, кажется, зовут?

— Да, меня, кажется, так и зовут.

— Так тебе кажется или ты на самом деле Анжелик?

— Я на самом деле Анжелик, а ты знаешь, который час?

— Знаю, — ответил я. — Сейчас ночь.

— Ну вот, — объяснила она, — а нормальные люди ночью спят.

— В том-то и дело, я не совсем нормальный, ты должна меня помнить, мы вчера познакомились, в «Лондоне», припоминаешь?

— Еще бы, — ответила она, — у тебя очень тяжелый и нахальный кот... всю ночь мешал мне спать и пытался лечь мне на грудь...

— Ну, он такой, он любит женскую грудь...

— Хорошо, надеюсь, ты не для того мне звонишь, чтобы сказать, что сегодня твой кот никак не может уснуть без женской груди?

Я взглянул на Мяуцзедуна, мирно спящего у Икаруса на животе.

— Ну да, не для этого. Слушай, у меня проблема, большая проблема, потому я, собственно, и звоню...

— Что за проблема?

— Я не знаю, что делать со своей свободой...

— Свободой... в каком смысле?

— В прямом...

— Понимаешь, — объяснила она, — свобода, как я думаю, может быть разная... Тебе могут просто сказать «свободен» — и это тоже в какой-то мере свобода. А еще... как-то в детстве я потерялась в зоопарке. Чем не свобода? Но что делать, я тоже не знала...

— Да, мне сегодня говорили «свободен», трижды, кажется, — согласился я, — но в зоопарке я не терялся, я потерялся в... ну, короче, в мире я потерялся...

— А мир — это и есть большой-пребольшой зоопарк, — недовольно проворчал Икарус, который какого-то черта вдруг проснулся...

— И вот теперь я, как говорится, вольный казак, то есть абсолютно свободен и не понимаю, что мне с этим делать...

В трубке дышала тишина.

— Знаешь, — сказала после паузы Анжелик, и в ее интонации не было ничего, что напоминало бы психолога с телефонной службы доверия, в голосе были только усталость и грусть, — если ты сейчас в самом деле абсолютно свободен, приезжай, будь добренький, ко мне... Я в больнице...

После этого она назвала адрес больницы, номер корпуса и палату. Цифр были ровно пять... И как только она договорила, в трубке раздались короткие гудки. Я попытался набрать этот номер еще раз, но металлический голос сообщил: «На вашем счету недостаточно средств, чтобы совершать звонки».

СВОБОДЕН...

— Икарус, мне надо в больницу, хорошенько запомни пять цифр,— сказал я.

— Зачем? — очнулся он.

— Все за тем же...

— Анализы на сифак? — офигел Икарус.

— Нет, — спокойно сказал я, — там можно узнать, что делать со свободой... потому что телефонная служба доверия сейчас в больнице...

— Какого рожна она там сидит?

— Не знаю, — пожал плечами я, — не успел спросить... А когда позвонил во второй раз, мне сказали, что я СВОБОДЕН...

— Чувак, тебе однозначно нельзя столько курить, — поставил диагноз Икарус.

Но мне было все равно: я был четыре раза СВОБОДЕН и один раз абсолютно-глобально вольный. Икарус остался в гараже кемарить с Мяуцзедуном, а я пошел в больницу, пообещав вернуться утром.

По дороге даже забежал в ночной маркет, с облегчением поняв, что там не разыгрывают очередную красную «Ямаху», на радостях купил целый килограмм бананов. Было три часа ночи, и сонная кассирша вполне справедливо глянула на меня как на идиота. И правда, зачем не-идиоту может понадобиться килограмм бананов в три часа ночи?

А когда наконец дошел до больницы, то обломался. В полчетвертого ночи входные ворота — четыре метра высотой — конечно, заперты, да и в самой больнице светилось всего несколько окон. Впрочем, сдаваться никто не собирался. Я попробовал было лезть, удерживая бананы в руке, но у меня ничего не получилось. Тогда я не придумал ничего лучше, как перебросить их на ту сторону, — так бросает морской пехотинец рюкзак с гранатами, тушенкой и фотками своей девушки в нижнем белье. Бананы упали на газон с глухим звуком, и их сразу же накрыло из поливального автомата. Оказавшись на самом верху забора, я, немного поколебавшись, все-таки спрыгнул вниз и вдруг почувствовал, что под моей левой ногой что-то отчаянно чавкнуло... Короче, из пяти бананов уцелел только один. Я поднял его, оторвал от раздавленной грозди и сунул за пояс джинсов, как кольт сорок пятого калибра.

К счастью, черный ход оказался открытым, слева от него сразу же начиналась лестница. Я ступил на плохо освещенный квадрат с несколькими стульями и телефоном на стене. Тут начинался коридор, перед входом в который сидело некое тело в белом халате, положив голову на тумбочку.

Я не успел сделать ни шагу, как тело подняло голову и остановило на мне свой мутный взгляд.

— Ты кто? — спросило меня тело голосом пожилой санитарки. Даже на расстоянии трех метров, разделяющих нас, на меня повеяло родным запахом перегара. — К кому? — продолжила она допрос, икая так громко, что по коридору катилось эхо. Я молчал. — Ну, чего вылупился? День рождения у меня севодни...

Но именно икота меня и спасла — во время икания санитарке, похоже, показалось, что я что-то ответил, — она укоризненно покачала головой и сокрушенно прошептала:

— Ох, уж эти мне влюбленные...

Она вынула из тумбочки белый халат, комнатные тапочки и протянула все это добро мне.

— Зачем? — не понял я.

— Так положено. Чтоб микробов не было. Ты хоть знаешь, ско...ок... око на тебе микробов?

Я не знал.

— Обув коло меня оставишь, — добавила она, икнув.

Я набросил на плечи халат, потом влез в комнатные тапочки с медвежатами. Они были размера так тридцать шестого, не больше, поэтому половина моей ступни оставалась на полу. Я хотел уже спросить, не найдется ли у нее чего-нибудь побольше размером, но санитарка уже мирно дремала на своей тумбочке.

Если ты хочешь что-то вычеркнуть из своей жизни, то его, это что-то, надо вычеркивать линиями таких вот коридоров, — пустых, полутемных коридоров, с серыми дверями и номерами палат.

В этой больнице было столько коридоров, сплетенных в мудреные темные лабиринты, что казалось, люди попадают сюда вовсе не для лечения, а только для того, чтобы прятаться здесь от смерти.

И вот я шел этими коридорами в своих трофейных комнатных тапочках тридцать шестого размера и искал номер нужной палаты, даже не представляя, что буду делать потом, когда ее найду. Я уже почти потерял надежду, но нумерация палат вдруг наладилась. «Может, за меня стал молиться сам Билл Даун», — подумал я и посветил себе зажигалкой, потому что забрел в совсем темный закуток. Как ни странно, отсутствие освещения действовало на меня успокаивающе, во всяком случае в темноте не так просто заметить, что я в долбаных тапочках с медвежатами. Не знаю почему, но они меня просто убивали. Посветив на дверь последней в этом коридоре палаты, я понял, что нужная мне должна быть сразу за поворотом. Еще через несколько шагов я оказался в новом коридоре, который кончался большим, почти во всю стену, окном. В серой квадратуре кто-то сидел, потому я не придумал ничего лучше, как дунуть на свою зажигалку и подойти к этой одинокой фигуре.

— Привет, — прошептал темный силуэт голосом блондинки из телефонной службы доверия, когда я остановился в нерешительности метрах в двух, — у тебя такие забавные шлепанцы...

— Ты что, как кошка, видишь в темноте? — удивился я.

— Нет, просто они тут одни на всех посетителей, — объяснила Анжелик.

Это чуток выбило меня из колеи, но я все ж таки вспомнил, зачем пришел, и сказал:

— Ну.

— Что — ну?

— Ты же обещала сказать, что делать со свободой...

— Подойди ближе, — попросила она.

Я подошел к ней почти вплотную и, заглянув в ее глаза, спросил, сгорая от нетерпения:

— Так что же мне с ней, черт возьми, делать?

— А вот что, — сказала она, притянула меня к себе за дурацкий белый халат и жадно, но в то же время и умопомрачительно нежно, припала своими устами к моим шершавым и пропахшим каннабисом губам.

Думаю, не стоит рассказывать, как долго и нудно я искал выход из этого запутанного лабиринта. Я, как привидение, слонялся по коридорам и наконец совершенно случайно вышел на спасительную пограничную тумбочку. Там я осторожно переобулся, снял халат, а тапочки поставил возле санитарки. Та подняла на меня свои мутные глаза и в который раз вопросила:

— Ты кто?

— С днем рождения! — выпалил я, достал из-за пояса банан и добродушно протянул ей.

— Да будь ты человеком, у вас там что, одни гестаповцы? — говорит Икарус совершенно обалдевшему оператору мобильной компании, услугами которой мы пользовались, пока у нас не кончилось бабло и нам не сказали СВОБОДЕН, — у меня тачка заглохла в поле, в тачке беременная жена, до роддома тридцать километров, на счете — нули, сечешь?! Ты хочешь взять на себя такой грех? Слышишь, я тебя из-под земли достану, если моей жене придется рожать в чистом поле...

— Хорошо-хорошо, — бормочет оператор в шоке, — давайте я вызову вам «скорую»...

— Не надо нам «скорую», просто позвоните моему другу и скажите, чтобы набрал меня, я же ничего больше не прошу!

— Ну, как я его? — спрашивает Икарус, сбросив оператора с линии...

— Если бы твоя жена и правда рожала в чистом поле, — ответил я, — ты бы до такого не додумался...

После этих слов наш дружбан и правда перезвонил.

— Харе рама, — сказал я.

— И кому это там приспичило рожать в такую рань да еще в чистом поле? — недовольно поинтересовался он.

— Никому, — поспешил объяснить я, — у нас нули на мобиле, пришлось развести оператора...

— То есть никто не рожает? — переспросил он.

— Да, — согласился я, — никаких схваток...

— Ладно, — ответил он, — я сейчас очень занят, перезвоню через полчаса.

— Ты занят, в такую рань?

— Да, занят, чуваки, я солнце встречаю... Вот встречу и сразу перезвоню...

Это был наш старый кореш Яцек, год назад он стал кришнаитом и теперь, судя по всему, как любой порядочный кришнаит, заботящийся о чистоте своей кармы, каждое утро встречал солнце, будто любимую на вокзале.

И вот мы тоже смотрим в пробоину окна и наблюдаем, как из-за байконура, недавно построенной церкви, медленно и осторожно восходит солнце, так, словно оно и впрямь прибыло в незнакомый город и теперь не знает, куда податься. Я смотрю на него и понимаю, что если оно, то есть солнце, есть, то все не так уж и паршиво. И что, в конце концов, не так уж и плохо просыпаться каждое утро, смотреть на него и это понимать. Все-таки кришнаиты мудрые.

У Яцека была долбаная жизнь, и кришнаитом он стал неслучайно. Скажем так, после всего, что он пережил, обращение в кришнаитскую веру — это самое простое, что могло с ним произойти. Яцек был нормальным пацаном, если не брать во внимание того, как он зарабатывал бабки. А бабки, в отличие от нас, ему и впрямь были очень нужны — он жил один и содержал свою сумасшедшую матушку, которая целыми днями сидела в наглухо закрытой квартире, иначе давно бы ушла куда глаза глядят. Кажется, у нее была параноидальная шизофре-

ния. А Яцек был у нее поздним ребенком, она родила его от какого-то польского пройдохи, который приехал на завод его матушки стажироваться на несколько месяцев, а после свалил в свою Польшу, оставив после себя подарок, то есть Яцека, и несколько сотен злотых, которые при совке негде было обменять на нацвалюту... А потом Яцек, собственно, родился, он жил себе спокойно до десяти лет, до тех самых пор, пока его мама не потеряла на производстве руку и у нее постепенно не стала падать планка. Когда Яцеку было шестнадцать, он уже полностью ее содержал, другое дело, как...

Знаете, в каждом газетном киоске есть толстые журналы с рекламными объявлениями. В общем, там нет ничего интересного, кроме раздела знакомств, который я иногда листаю и не перестаю удивляться, что кто-то хочет найти дружбу, любовь, секс, какие-то там чувства в таких вот каталогах, где все расположено под заголовком и сокращено до нескольких строк. Короче, в одном из таких журналов среди объявлений а ля «молодая пара ищет парня-би для поездки на море» я как-то наткнулся на объявление нашего Яцека, мол, молодой, симпатичный, ухоженный парень, мускулы, то-се, диплом массажиста, исполнит любые эротические фантазии бизнес-леди, а внизу стоял номер его, Яцека, мобилы. Да-да, чувак был самой обыкновенной блядью, или, скажем так, блядем, но я его за это не осуждал — его сумасшедшей маме в самом деле нужны были какие-то дорогущие лекарства. «Дешевле было бы покупать кокаин», — говорил ему я иногда, когда он, набухавшись, совал мне под нос аптечные чеки и матерился.

Проще говоря, он спал с немолодыми стервами (я почему-то твердо убежден, что все бизнес-леди — стервы) и получал за это честно заработанные баксы, ведь каждый зарабатывает как может. Но как-то Яцек так сильно забухал, что на нем просто лица не было, и он время от времени одалживал у меня бабки, которых у меня у самого почти не было. Я, известное дело, давал, потому что просил он на лекарство для матушки, а на самом деле все просаживал на бухло.

— Чувак, — говорил я, — я все понимаю, но ты что, лечишь теперь матушку одной только водярой?

— Я отдам, — говорил Яцек, не отвечая на мой вопрос.

— Чувак, да что с тобой, наконец? — спрашивал я.

— Ничего, — сокрушенно покачал головой он.

— Не ладится с бизнес-леди? — я был один из немногих, кто знал, как он зарабатывает.

— Я завязал с этой х...ней, — сказал Яцек.

— Но как же ты теперь?

Яцек наотрез отказался отвечать. Тем не менее, где-то через полгода мы набрались с ним в каком-то баре, и я наконец обо всем узнал. Поздно ночью мы возвращались домой, и он увидел на дороге какую-то дворнягу. Яцек гнался за бедолагой несколько кварталов, швыряя в нее все, что попадалось под руку. Я его еле догнал и силой завалил на скамейку. Яцек весь съежился, как малый ребенок, обхватил голову руками и заплакал. «Вот напасть, — подумал я, — у чувака тоже падает планка, наверное, это наследственное...»

— Яцек, жизнь, конечно, штука хреновая, это факт, ты выпил... но пес, этот долбаный пес, за которым ты гонялся, он-то тут при чем?

— Да е...ал я всех собак, — пробормотал Яцек, давясь слезами...

И тут его вдруг прорвало. Полгода тому назад он приехал на вызов к какой-то лярве, ей было за пятьдесят.

— Я уже начал было думать о Рейкьявике, — говорил Яцек, — понимаешь, каждый раз, когда мне приходилось трахать такую рухлядь, я думал о Рейкьявике — тогда мне становилось немного легче. Я трахал их, погружаясь в своеоб-

разную нирвану, бредил Рейкьявиком, иначе в нашей семье было бы двое сумасшедших, ты меня понимаешь, Баз?

— Да, Яцек, — кивал я, — понимаю... Рейкьявик.

Короче, эротическая фантазия той старухи состояла в том, чтобы Яцек, если я правильно его понял, занялся какими-то там извращениями с ее пинчером. В списке услуг у Яцека, конечно же, ничего такого не было, поэтому он просто послал ее, оделся и хотел уже уходить... Но тут старая курва позвала своего тупого секьюрити, и тот стал угрожать Яцеку пушкой. Ну, и все, собственно. Как оказалось, нирвана с Рейкьявиком в таких случаях не помогает.

Спустя какое-то время Яцек хотел наложить на себя руки, но вспомнил про свою несчастную матушку и просто безбожно забухал. А пока он бухал, матушка почти безболезненно отошла в лучший мир, случайно спутав на кухне лимонад с уксусом. Яцек похоронил ее и забухал еще сильнее, но через несколько месяцев опомнился и дал по тормозам. Он продал квартиру, потому что там ему все напоминало о матери, и на вырученные деньги купил себе права и вонмобиль, такой себе домик на колесах, стал кришнаитом, это бесплатно, и так кружил по городу, иногда путешествовал по стране... «Путь к вере у каждого свой», — как сказал бы Билл Даун.

Когда солнце отрывается от горизонта сантиметров на десять, ну, если мерить на глаз указательным и большим пальцами, Яцек все-таки перезванивает.

— Да, о'кей, Яцек, — в этот раз с ним говорит Икарус, — никакого мяса, деньги на бензин... — он согласно кивает. — А где тебя искать? Где-где? На Пятихатках? А точнее, чувак? Как это, не знаешь? Но они же, блин, большие... Ну, ладно-ладно, найдем как-нибудь...

Семь часов утра. Город начинает потихоньку оживать.

— Никакого мяса, это кришнаиты так... про женщин? — глаза мои медленно, но упрямо закрываются...

— Про мясо убитых животных... Все кришнаиты — вегетарианцы... У него даже пес вегетарианец, прикинь?

— Яцек отважился завести собаку?

— Выходит, что так. Французский бульдог, зовут Сигнал. Говорит, замечательно медитирует...

— А что он вообще говорит?

— Говорит, что если мы достанем бабки на бензин, то можем у него пожить, и вообще, он может нас куда угодно, хоть на море отвезти... Но никаких убитых животных...

— Икарус, да мы с тобой сами, как убитые животные, а убитым животным на море делать нечего, это уж поверь мне...

Мы спим где-то так часов до девяти, как настоящие лентяи, пока нашу бетонную комнату не прогревает яркое солнце так, что она становится похожей на микроволновку, а мы с Икарусом — на двух цыплят гриль — но таких тощих и замученных, что от одного взгляда на таких бройлеров, наверное, сразу пропадает аппетит. Но никакого мяса, никаких убитых животных!

Первым просыпается мой кореш. Он долго и задумчиво вышагивает по маленькой комнатке недостроенного при совке паркинга и держит Мяуцзедуна под мышкой, как теннисную ракетку. Мяуцзедуна это, похоже, устраивает. Он обреченно висит себе, поджав длинные худые лапы.

Тут, наконец, продираю глаза и я, чувствуя, как раскалывается череп и как дико меня сушит. Слезаю с шины, подхожу к щербатой амбразуре окна и потягиваюсь навстречу солнцу. Но солнце, как было за фиг-знает-сколько километров

от меня, так и остается висеть на небе, как гигантская, ввинченная неизвестным великаном-электриком лампочка...

Каждое мое слово пронзает мозг тончайшими иголочками, но такая иглотерапия явно не идет мне на пользу, и потому я решаю какое-то время помолчать.

Икарусу, похоже, не лучше моего, но он говорит, что собирается отвезти Мяуцзедуна Кэт, на какое-то время, разумеется, хотя и не знает, как она к этому отнесется. Я только киваю, соглашаясь, и разглядываю желтые и фиолетовые круги, всплывающие у меня перед глазами.

Не знаю почему, но мы договариваемся ровно через два часа встретиться в одном из парков центра, у памятника жертвам чернобыльской катастрофы.

Первой более или менее нормальной идеей, всплывшей в моей голове в это постобдолбаное, неимоверно сложное, неприветливое утро, — было почистить зубы. Но тут я понял, что наши зубные щетки, мои тюбики зубной пасты и вообще все — наши свитера, футболки, наши воспоминания, «Рэд Элвисы», любимые книжки, мой надувной матрас и моя любимая тарелка с Мальчишем-Кибальчишем, короче, все это осталось в квартире, которую мы снимали у старого алкаша Рулерта и которую вчера могли спокойно оккупировать чуваки, приехавшие на черном «Чероки».

Нет, я не был фетишистом, но у меня были вещи, которые много для меня значили. Так повелось с самого детства, у меня всегда была одежда с большими карманами, куда можно было прятать свои любимые игрушки. Я запихивал в боковые карманы на уровне коленей пластмассовых викингов, железные танки, а в нагрудные карманы, ближе к сердцу, иногда норовил запихнуть какого-нибудь грязного, подобранного на улице котенка. Собственно, теперь, в это тяжелое утро, я очень жалел, что у меня нет штанов, в которых бы уместились все мои книги, свитера, тарелка с Мальчишем-Кибальчишем, и все такое прочее.

Узнать, что же произошло с нашей квартирой, мне так и не пришлось. Я добрался до подъезда, но подниматься на шестнадцатый этаж одному не было никакого желания. И тут я заметил маленького, стриженного «под ноль» пацанчика, который весело топтался по лобовому стеклу, валявшемуся на асфальте рядом с разутюженной колесами адвентистской клумбой. Звали пацанчика Сережа, а по стеклу он топтался потому, что ему нравилось, как оно под ногами хрустит. Во время нашего нехитрого диалога Сережа постоянно называл меня дядей, из-за чего я занервничал.

— Понимаешь, дядя, — говорил он, — зимой много замерзших луж, я топчусь по ним, и они хрустят... А сейчас же лето, и лужи не замерзают... А утром я проснулся, глядь в окно, а на асфальте что-то блестит. Я подумал, что это лужа замерзла, а когда спустился сюда, вижу — стекло... Ладно, — думаю, — хоть стекло потопчу... Вот я его и топчу...

— Молодец, Сережа! — зачем-то похвалил я.

Сережа, видимо, тоже не понял, зачем я его похвалил, потому просто пожал плечами и продолжил азартно топтаться на осколках стекла.

— Сережа, — предложил я, — а хочешь пять гривен?

Сережа в момент утратил интерес к стеклу.

— Конечно, хочу, дядь... давай, — протянул он руку.

— Дам, но сперва помоги мне.

Через несколько минут Сережа вернулся вниз и рассказал, что, мол, все тихо, дядя, никого нет, дверь на месте... Я отдал ему пятерку, а сам вдруг подумал, что там, на шестнадцатом, ему могли дать вдвое больше, и потому побрел в направлении проспекта.

Я даже не подозревал, что меня ждет, и эта свобода начинала мне нравиться. А Сережа стал дотаптывать лобовое стекло — похоже, стекло нравилось ему не меньше, чем мне свобода, но в отличие от меня, Сережа знал, что с этим делать.

Козероги

Что бы вы ни делали, ваши мысли будут только об одном: о сексе, созвездие Козерога в этот день войдет в особенную позу, то есть фазу, и благодаря ей у Козерогов на целую неделю повысится сексуальная активность, доверьтесь и подарите любви как можно больше времени. Не теряя ни минуты, займитесь сексом прямо сейчас.

Свалив подальше от своего дома, я почему-то вдруг подумал, что мой шефуля, то есть Сан Саныч, нормальный, в принципе, чувак. Ну, не в том смысле, что у него проблемы с женой, а в нормальном смысле, то есть, что нормальный человек. «Могут же быть импотенты нормальными людьми, в конце концов», — думал я. Тогда я решил поехать в редакцию и просто попросить у него свою зарплату на две недели раньше...

— Сан Саныч, — сказал я, — попал, понимаете, меня выставили на улицу, и мне не на что снять другую квартиру.

Сан Саныч по-ковбойски сидел передо мной, положив ноги на редакторский стол. На его левой кроссовке блестело свежее розовое пятно жвачки. Казалось, он боится встать, чтобы не прилипнуть к полу.

Шефуля тем временем пошевелил ногами, свалив на пол несколько карандашей, пару накладных и чуть не опрокинув кактус. Я в последний момент успел подхватить горшок. Короче, ковбой был из него хреновый.

— Ладно, так и быть, — неожиданно согласился он. — Ты получишь половину зарплаты... Чего уж там... — Сан Саныч, этот хреновый ковбой, говорил таким тоном, будто он сам Господь Бог, который вправе решать, давать мне шанс или не давать.

Дальше он неспешным движением снял с шеи ключ и сунул его в замочную скважину большого огнеупорного сейфа, стоявшего здесь же, рядом со столом. Господь Бог, похоже, хранил «шансы» именно в таком вот сейфе. В его железном нутре что-то угрожающе скрежетнуло и хрюкнуло, как будто там, внутри, кто-то сидел и внимательно следил за нами в замочную скважину до тех пор, пока Сан Саныч не ткнул туда ключом и не попал этому «кому-то» в глаз. Я еще ни разу не видел, как шефуля открывает сейф, и потому даже не знал, что и думать. Возможно, для большей надежности, он держал там, внутри, собаку. От хреновых ковбоев можно ждать чего угодно... Короче, я сразу понял, что тут что-то не так... Сан Саныч по инерции повернул ключ, в дверце что-то скрипнуло, щелкнуло, и в руках шефули осталась головка от ключа...

Он обреченно глянул на меня, потом на кусок ключа, потом опять на меня и еще раз на ключ... Казалось, он и сам не мог поверить в то, что произошло.

— П...здец-ц-ц, — прошипел он, как удав, подавившийся жирным кроликом. — Это же был ключ от моего домашнего сейфа... Ты понимаешь, что это значит?

— Нет... — растерянно покачал я головой.

— А это значит, что я теперь не смогу открыть ни этот сейф, ни тот, что у меня дома!!! — чуть не лопнул он от крика. — И это все, блин, из-за тебя! Чтоб мои глаза тебя больше тут не видели! Суки... не редакция, а не знаю что... Таки доведут до инфаркта... Что теперь делать? Куда? Ё... Меня же это... Растуды... Твою мать...

Сан Саныч засучил ногами по столу, и кактус наконец грохнулся на пол.

— А ты пойди поищи ее сперва, — неожиданно спокойно сказал я.

— Кого?! — проорал шефуля.

— Мою маму, придурок. Лет пятнадцать тому назад я ее видел. А теперь она где-то в Португалии... говорят.

Сан Саныч стал снимать ноги со стола, но не удержал равновесия и рухнул вместе со стулом куда-то под батарею.

— Что-что-что случилось? — скороговоркой спросила меня беременная растаманка Светочка.

— Хреновый из него ковбой, — сказал я наконец вслух.

Вконец сбитая с толку Светочка так ничего и не поняла, а я на несколько минут сел за свой компьютер и еще раз подкорректировал последний астропрогноз для Козерогов...

Идея Икаруса очень мне не нравилась. Мы ехали к мажорам, но если бы мы ехали к ним просто так — это было бы еще полбеды, а ехать к ним просто так нам, «лохам», было ни к чему... Напротив, мы собирались играть с ними в «понт», и это не предвещало ничего хорошего. Таким неудачникам, как мы, никогда не будет везти в азартные игры, если, конечно, «понт» можно назвать азартной игрой...

Короче, мы с Икарусом ехали в полупустом «фольксвагене» в сторону студгородка. Я сидел и пялился на спецназовские берцы, выглядывающие из-под рясы священника, сидевшего напротив, и думал о мажорах. Мажорами в нашей бывшей общаге называли нескольких отморозков с юридического факультета. У них там было что-то на манер клана. Чуваки заняли полэтажа, завезли туда бильярд, поставили несколько тренажеров и совсем неплохо себя чувствовали. Учебу они проплатили на несколько лет вперед, коменданту отстегнули нормальный пресс бабок, поэтому их никто не доставал. Но, похоже, такая жизнь показалась им скучной — п...дить арабов с медицинского становилось все опасней, арабская диаспора с каждым годом увеличивалась, к тому же они, как настоящие медики, очень часто носили в карманах скальпели, маскируя их под авторучки. Шалавы с окружной мажорам надоели — их было пять и практически каждая годилась им в мамы. Тренажеры, в принципе, тоже надоели, а бильярд они по пьяни облевали текилой и мартини, следы от которых упрямо не хотели исчезать с покрытия — короче, никакой тебе, блин, эстетики...

И вот эти отморозки придумали игру в «понт». Сперва о ней ходили только слухи, но очень скоро стали проявляться и последствия. Я, впрочем, до сих пор сомневаюсь, что мажоры придумали эту игру самостоятельно. Скорее всего, они подсмотрели идею где-то в кино, но для нас с Икарусом это не имело никакого значения. Так вот. Суть игры состояла в том, что мажоры сбрасывались и делали кассу, а потом придумывали какое-нибудь шибанутое задание. Тут уж их больная фантазия работала на все сто. Тот, кто соглашался на игру, должен был или выполнить задание в назначенный срок, или же «попадал» на поставленную сумму. Если игрок обламывался и не мог вернуть деньги, а так чаще всего и происходило, его ждала такая же судьба, как и арабов с медицинского. Обычно «понтовать» соглашались желторотые первокурсники, которым всегда нужны были бабки. Понятно, никаких бабок они не получали, а чаще всего становились боксерской грушей. Правда, несколько раз каким-то отчаянным сорвиголовам удавалось-таки «сделать» мажоров, тогда юрфаковские перцы платили им бабки, выставляли бухло и привозили прошмандовок с окружной.

Сейчас главным у мажоров был Калидор. Его папик, кажется, крышевал автобусный парк. С Калидором нам и предстояло говорить, потому что он был

самым разговорчивым... В принципе, договориться с ним было не так уж сложно, главное, надо было четко помнить, что в разговоре его ни в коем случае нельзя называть Калидором.

И вот мы едем к ним — пролетаем мимо детской железной дороги, настоящей детской железной дороги, на которой я, когда был маленький, так ни разу и не покатался — в детстве меня достали настоящие поезда, так что на эти, детские, я даже внимания не обращал. Дальше проезжаем пожарную часть, кинотеатр, памятник-монумент солдату, который гордо, как фак, тычет в небо дисковый ППШ, угрожая перелетным птицам, самолетам, ангелам и, возможно, самому Господу Богу. А еще он презрительно смотрит из-под своей гранитной каски на торговый центр, в витринах которого торчат манекены в спортивной одежде и футбольные мячи, которые в красноватой подсветке напоминают вырванные сердца каких-то неизвестных существ...

Проходя к общежитию через замусоренный рынок, Икарус все время, как гипнотизер, повторяет, что с мажорами будет говорить он. Он, мол, знает, что и как надо говорить, а мое присутствие может только испортить дело.

— Я, я, я буду говорить с этими отморозками и срублю с них бабло, что бы они там ни придумали!

Мы идем как раз мимо рыбных рядов. На улице жара, градусов двадцать семь, почти час дня, и все эти запахи, голоса, цвета, даже воздух, все заползает в меня и толчется там, как кочевники на новом месте. Меня кумарит...

— Ты вообще можешь туда не ходить, — не умолкает Икарус: во-первых, хочет показать, какой он крутой, а во-вторых, он нисколько не сомневается, что я могу отказаться.

Впрочем, меня так кумарит, что я неожиданно говорю:

— Хорошо, я никуда не пойду, только давай купим килограмм зефира в шоколаде...

— Зачем? — удивляется он. — Не думаю, что мажоры его едят...

— Ты хоть понимаешь, что тебя отчисляют? — почти по-гестаповски кричат у меня над ухом.

— Солнце мое, мне все равно, мне все это надоело, одним «свободен» больше, одним меньше — теперь это уже не имеет никакого значения...

— Какое еще «свободен»? Ты что, хочешь сказать, что тебе все до фонаря?

— Именно так! — устало киваю я. — Мне все до лампочки.

Я сижу у Милы посреди комнаты на скрипучей расшатанной табуретке. Это как на допросе. Мила такая накрученная, что может развернуться и, как настоящая гестаповка, заехать мне по морде кирзовым сапогом. Радует только то, что на ножках у нее — розовые пушистые шлепанцы, без медвежат, кстати...

Впрочем, Мила не собирается меня бить, она просто делает вид, что меня здесь нет. Я тоже делаю вид, что меня не существует, и делаю это настолько правдоподобно, насколько это можно делать, если ты все-таки существуешь... Она мечется по комнате, перекладывает с одного столика на другой какие-то книжки, садится на кровать, пытается читать конспект, затягивает перед зеркалом волосы в два хвостика, пишет кому-то с мобильного эсэмэски. Может быть, так и пишет: у меня в комнате никого нет, я одна... А я сижу, делаю вид, что меня нет, и молча за ней наблюдаю.

Сегодня она в светло-зеленом топике и таких же светло-зеленых трусиках с прибацаной лягушкой на попке — вид у лягухи такой, будто ее раздавил самосвал, а она все равно продолжает улыбаться. Не хватает только надписи never give up. Меня все еще кумарит, и оттого мне почему-то кажется, что весь этот

белый свет пропах дохлой рыбой и раздавленными лягушками... Я отодвигаю табуретку и падаю на кровать Милиной соседки, которая полчаса тому назад свалила сдавать зачет. Мила гневно на меня косится, но продолжает деловито суетиться... А лягушка все прыгает и прыгает у меня перед глазами.

Я лежал, погруженный в свои мысли, а Мила все это время не находила себе места.

— Съешь зефира, полегчает, — наконец, сказал я.

— Не говори со мной так, я тебя ненавижу... И потом — мне же нельзя сладкого. Разве я не говорила, что иду к стоматологу?

— Но я же прекрасно слышал: с килограммом зефира в шоколаде...

Мила морщит носик и, наверное, пытается вспомнить хоть что-нибудь из того бреда, который мне пришлось выслушать вчера по телефону. Потом пожимает плечиками и, наконец, усевшись за своим столом, начинает рвать на мелкие кусочки какую-то бумажку.

Когда бумажка была порвана на такие мелкие, мельчайшие кусочки, что мельче уже просто некуда, Мила обвела взволнованным и даже чуть удивленным взглядом всю комнату, и вдруг ее взгляд остановился на мне. Было такое чувство, что как бы я ни притворялся, мол, меня не существует, она меня все-таки заметила, вычислила, спалила... Мила встала из-за стола, зачем-то сняла свой топик и осталась в одних трусиках с придурковатой лягушкой. Ее потрясные грудки ходили вверх-вниз и, как маятники, стали меня гипнотизировать... Милин взгляд опять вдруг пробежал по комнате и в который уже раз остановился на мне. «Ну вот, — подумалось мне, — вершина женского маразма... Сейчас она начнет рвать на куски свой топик... А когда покончит с топиком и трусиками с лягушкой, тогда, наверное, доберется и до меня». Впрочем, до меня Мила добралась значительно быстрей.

Через полчаса я сидел на бетонной клумбе, курил и водил языком по своей прокушенной губе, чувствуя солено-металлический привкус слюны.

Икарус вернулся с озабоченным бледным фейсом, я даже не стал ничего спрашивать. Было и так ясно, что мы как настоящие лузеры вляпались в еще одну конкретную передрягу, к тому же — добровольно. Похоже, мажоры придумали такое... Ну, просто такое... Такое...

— У тебя есть сколько-нибудь денег? — спросил Икарус.

Я покопался в карманах и вытащил последние смятые банкноты — что-то около пятнадцати гривен.

— На, — сказал я укоризненным тоном, — но чтобы отдать мажорам, здесь все равно не хватит...

— А мы пока еще ничего не отдаем, — он похлопал меня по плечу. — Нам надо в секонд хенд...

— Куда-куда? — охренел я.

— В секонд хенд, немного прибарахлиться...

— Опомнись, чувак, это последние бабки, на кой хрен нам секонд хенд?

— Спокойно, — он выставил вперед ладони, — и не задавай мне идиотских вопросов! Я же не спрашивал, зачем тебе целый килограмм зефира в шоколаде?..

Мы возвращаемся в общежитие мимо продовольственного рынка, и заруливаем на площадку с секонд хендом, которая притулилась здесь же, рядом с рынком. Икарус нервно мнет купюры в кулаке, я сплевываю кровь и думаю о том, что мы опять в капитальной заднице... Чувство капитальности подкрепляет еще

и то, что вчера ночью я пообещал вытащить из больницы Анжелик, хотя до сих пор не представлял, как я это сделаю.

Так мы доходим до первого лотка, заваленного старым тряпьем, от которого несет нафталином и дохлыми крысами. За лотком стоит усатый верзила лет пятидесяти. Похоже, что он сам носит эти шмотки.

— Юноша, — заводится он, увидев в руках Икаруса бабло, — могу предложить вам обалденные гавайские шорты, почти новые, прямо с Гавайских островов, хит сезона... — Он роется в тряпках и в мгновение ока выхватывает оттуда шорты неопределенного цвета с виндсерфером на очке. Приблизительно такие же шорты уныло висят и на нем.

— Нет, мне нужен плащ, очень длинный плащ... — обрывает его Икарус, поскольку верзила, кажется, хотел прочитать целую лекцию о преимуществах гавайских шортов.

— Да зачем вам плащ? — никак не может понять продавец. — Ведь это же настоящие гавайские шорты, а на дворе — лето...

— То есть, плаща у вас нет? — переспрашивает Икарус и уже собирается уходить.

— Ладно, — говорит усатый, — я вижу, вы нормальные парни, попробую что-нибудь придумать.

Скорее всего, о нашей «нормальности» ему говорят только бабки в руках Икаруса. Усатый достает из кармана своих гавайских хитовых штанов допотопную трубу величиной с утюг и набирает номер...

— Маня, — говорит он, — иди сюда...

Минуты через две к лотку подбегает тетка в таких же гавайских шортах...

— Маня, хлопцам нужен плащ...

— Да какой еще плащ, у нас же обалденные гавайские шорты, прямо с Гаваев, хит сезона... — начинает она, но верзила ее обрывает:

— Маня, они хочут плащ...

— Хорошо, — косится Маня на бабки в руке у Икаруса, — я вижу, вы нормальные парни, попробую вам помочь.

Она испаряется и появляется минут через десять, у нее под мышкой бежевый плащ, местами заляпанный голубой краской.

— Говорят, из Румынии, — объясняет Маня так, будто это оправдывает тот факт, что плащ местами заляпан краской, — вообще-то он стоит двадцать пять, но из-за краски отдам за пятнадцать.

Икарус молча отдает наши последние деньги. Плащ, как вещдок в американском боевике, запаковывают в прозрачный полиэтиленовый пакет, и он становится нашей собственностью. Мы отходим шагов на двести от рынка, сворачиваем в какой-то дворик, Икарус выбирает самую пыльную пешеходную дорожку, неожиданно вытряхивает плащ из пакета и начинает старательно втаптывать его в землю. Я не знаю, что и думать. Единственное, что приходит в голову, это то, что у Икаруса истерика. Но зачем тогда было тратить последние деньги? Разве нельзя было натянуть кого-нибудь в общаге или, в крайнем случае, настучать кому-нибудь по башке? Я предпочитаю не задавать вопросов... Каждый спасается сам от себя как может...

В первый раз менты замели меня за то, что я зашел в книжный магазин... Согласен, звучит как-то глупо, впрочем, это совсем не значит, что читать в моей стране опасно... А случилось это так: я был на первом курсе и слонялся по городу с почти пустыми карманами, во всяком случае, тратиться на книжки я даже не помышлял. А тогда как раз стали открываться книжные магазины, в которых можно было подолгу стоять возле полок и делать вид, что выбираешь какую-то

книгу, а на самом деле читать их. Так вот, в одном из таких книжных возле «Детского мира» я начал читать томик Канта. А через какое-то время зашел в такой же книжный, но уже на Сумской, наткнулся там на такой же томик и продолжил читать Канта. Собственно, так я и читал Канта уже несколько недель, кочуя из одного магазина в другой. К слову, Канта я читал небольшими дозами и не потому, что мне было очень интересно, а из-за определенного чувства вины... А чувство вины перед Кантом у меня было еще со школьной скамьи. Началось все с такой банальной и очень далекой от классической немецкой философии вещи, как уборка школьной территории. Моя третья школа располагалась прямо в центре студенческого городка, а наша тогдашняя классуха была совсем зеленая, и нашему классу всегда доставалась аллея под окнами политеховской общаги. И потому, когда другие классы подметали асфальт, сгребали в саду листву (осенью) или расчищали дорожки от снега зимой, мы весь год снимали со школьного забора гондоны, выгребали вороха пивных банок и кучи бутылок из-под водяры. Иногда нам попадались порнографические карты, а в один прекрасный весенний день мы выгребли из-под недотаявшего сугроба целый томик Канта. А поскольку мы тогда еще не знали, кто такой Кант, то решили разжечь из него костер. Я бы вообще не касался этой книги, но издалека мне показалось, что на обложке написано КАНАТ, потому подростковое любопытство победило. И еще в мою память почему-то врезалось то, что Кант был размокший и плохо горел. Мы были глупыми подростками и, помню, так яростно взялись его жечь, как будто это было для нас делом чести. Верите ли, когда мы истратили на него два коробка спичек, все мы так возненавидели Канта, будто он лично перешел дорогу каждому из нас, как будто он сказал всем нам: чуваки, вы — вещи в себе!!! — а мы решили, что он послал нас на... В конце концов пришла наша классная, подозреваю, что она тоже не знала, кто такой Кант, но все равно прописала нам по полной программе. Одним словом, Канта я читал по причине своего школьного дежа вю...

Так вот, в тот вечер мне опять приспичило почитать Канта. На очереди был книжный на Сумской — в том, что возле «Детского мира», я был несколько дней назад. Я послонялся среди стеллажей, полистал книжки, взял Канта, нашел нужную страницу и заторчал над ней где-то на полчаса. А когда собирался уходить, неожиданно заметил рядом с входной дверью два огромных аквариума. Раньше их здесь не было. А я уже, кажется, говорил, что аквариумы и рыбы — моя слабость еще с детства. Я не удержался и присел на корточки перед толстым аквариумным стеклом, а потом стал смотреть в глаза большой коричневой рыбе. Она какое-то время тоже смотрела мне в глаза, ей было неудобно, сами понимаете, из-за расположения глаз, и потому она повернулась ко мне боком и, как мне показалось, немного сощурилась. А потом рыба вдруг развернулась, поплыла прямо на меня, открыла свою довольно большую пасть, будто собиралась пробить стекло и откусить мою дерзкую голову, просто из зависти, что у меня по-другому, более удобно расположены глаза... но ничего этого не случилось, и рыбина, как присоска, прилипла к стеклу. И в таком положении заторчала и погрузилась в свою рыбью нирвану. Она висела так пять, десять минут, до тех пор, пока меня не стал напрягать секьюрити. Я попытался ему объяснить, что просто смотрю на рыбу, что я не собираюсь ее воровать, но ему это все равно не понравилось. Тогда я подошел к ближайшей полке и купил первую попавшуюся дешевую брошюру, кажется, это был сборник рецептов восточных рыбных блюд. Увидев в моих руках такую литературу, охранник запаниковал еще больше и быстро выставил меня за дверь. Я шел по Сумской и все никак не мог понять, почему рыба вот так странно присосалась к холодному толстому стеклу. Эта мысль весь день не давала мне покоя. Настроение испортилось еще и

потому, что я больше не мог так хитроумно читать Канта... в книжный на Сумской меня теперь вряд ли пустят... Залить горе я решил в ближайшем баре, там я спустил остаток своих денег и немного не рассчитал с выпивкой. Короче, домой пришлось ехать в дупель пьяным, да еще в метро.

Я стоял перед дверями с надписью «Не прислоняться» и смотрел в темноту, как вдруг увидел там свое лицо. «Так вот в чем фишка, — подумал я, — ведь рыба, та рыба из книжного, она точно так же видела за стеклом мою морду, как сейчас вижу ее я».

Не колеблясь ни минуты, я присосался к надписи «Не прислоняться», закрыл глаза и заторчал. Когда мы приехали на станцию и двери стали открываться, я чуть не выбил себе зубы и чуть не сломал нос, но стоило поезду двинуться дальше, я снова присасывался к надписи «Не прислоняться». В ночном метро было не так много пассажиров. Приоткрыв один глаз, я искоса наблюдал, как они сбились в другом конце вагона. Так я доехал до конечной, и там меня загребли фараоны. Помню, они затащили меня в свою каптерку, заставили сначала вывернуть карманы, а потом — снять носки... Карманы я вывернул, но носки снимать наотрез отказался, еще и ляпнул что-то насчет того, что, дескать, носки-то у меня — без карманов. Тогда мне дали по почкам — аргумент в принципе достаточно убедительный, — и носки пришлось снять. Когда менты убедились, что носки и впрямь без карманов, мне разрешили позвонить. Я не придумал ничего лучше, как позвонить отцу, и уже через пару часов, поторговавшись, как за раба, старик выкупил меня за сто гривен, а на улице отвалил хороший поджопник — с баблом у него было туго. Но все равно, я был так рад оттуда свалить, что даже забыл носки у ментов.

Сегодня мне тоже надлежало пообщаться с ментами, но на этот раз — добровольно. Я должен был придумать какую-нибудь историю, желательно правдоподобную, ну, скажем, о том, что меня ограбили, что ли... Словом, все надо было устроить так, чтобы они хотя бы сколько-то там минут не высовывались из своего аквариума. Аквариумом у нас называют металлическую будку с тонированным стеклом на центральной площади города между платным туалетом и памятником вождю пролетариата.

Подойдя к аквариуму вплотную, я с облегчением понял, что на его двери висит большой замок. Цидулки «буду через 5 минут» тоже не было. Вообще-то само строение выглядело так, будто его обитатели уехали в отпуск или их кто-то запер снаружи... Может быть, это произошло несколько лет тому назад и теперь там, внутри — покрытые пылью скелеты в ментовских фуражках, которые, если повезет, найдут через полстолетия и похоронят со всеми ментовскими почестями или отдадут в краеведческий музей, который находится в нескольких кварталах отсюда.

Я пересек площадь и уселся рядом с вождем. Стояла жара, и тяжелый воздух, как осьминог, запускал в мои легкие свои раскаленные скользкие щупальца. И от этого было немного щекотно и грустно.

Оранжевые безрукавки перекладывали брусчатку слева от Ленина. Они выковыривали каждый камень и укладывали его рядом с другим так, чтобы не нарушить последовательности в этом гигантском, самом большом во всей галактике, пазле. Запах пота смешивался с запахом перегара и ором транзистора, который стоял на табуретке и надрывно выплевывал из своего единственного динамика какую-то балладу о дальнобойщике, у которого отобрали фуру, предварительно настучав ему по башке. И вот, собственно, лежа в кювете, под ясным небом, тот размышлял, какой страшной будет месть. Ленин в это время

указывал рукой на оранжевые безрукавки с их транзистором, мол, ниче, чуваки, власть советам, фуры дальнобойщикам, а вам брусчатку, вот и давайте чешите в светлое будущее. Но на него никто не обращал внимания.

Я смотрел на все это со стороны, и мне казалось, что площадь — это гигантская рыба, легшая на бок, чтобы людям и машинам было удобнее двигаться по ее утомленной чешуе, а оранжевые безрукавки каждый год приходили, чтобы перетряхнуть ее, почистить и повыгонять разных паразитов, набивающихся в чешую во время каждого дальнего плавания. Рыбе это, похоже, нравилось, и она, может быть, даже тащилась от транзистора. Она уже давно дрейфовала на боку, не шевеля плавниками, и один ее глаз, черный и круглый, как смородина, глядел в высокое небо, а другой — тот всегда находился под водой — куда-то в холодную глубину. И всем, кто сидел на ней, на этой грустной, разумной рыбе, оставалось только надеяться, что ей не захочется в один прекрасный момент поменять положение, опрокинув своими боками всех, вместе с автомобилями, Лениным и транзистором, в черную глубокую воду.

И вот к оранжевым безрукавкам приближается бродяга в затоптанном длинном плаще, там и сям забрызганном голубой краской. У него в руке большой кусок черствого батона, он опускается на корточки напротив табуретки с транзистором и так сидит, покачивая головой в такт блатным мотивам. Оранжевым безрукавкам, похоже, не нравится, что кто-то, кроме них, слушает их транзистор, потому бродягу пытаются быстренько прогнать — сначала словами, а когда это не действует, показывая ломик, которым они выковыривают камни. Бродяга понимающе машет им батоном — мол, неплохой ломик, ребята, я за вас рад — и топает в центр площади, где опять садится на корточки и начинает крошить батон. Так же, как и Ленин, этот бродяга никого не интересует, кроме, кажется, меня. Вскоре с неба, как осенние листья, широкими плавными кругами опускаются голуби и окружают своего кормильца. Бродяге хорошо с ними, у голубей нет ломика, они позволяют слушать свое воркование, они его любят, поэтому он аж приплясывает от удовольствия. Со стороны это выглядит как магический танец шамана.

Впрочем, за бродягой наблюдаю не только я. От старого входа в гостиницу «Харьков» за ним внимательно следят мажоры...

Они нервно прихлебывают новое «офицерское» пиво, переглядываются, пожимают плечами и продолжают наблюдать за странной фигурой, окруженной голубями... Бродягу-шамана швыряет в экстазе еще минут десять, потом у него кончается батон, после чего он спокойно поднимается и мирно, чтобы не распугать голубей, движется в сторону Дворца пионеров. Вот странно как-то: самих пионеров уже давно нет, а дворец — остался... И как только бродяга исчезает за углом дворца, мажоры срываются и сломя голову летят от гостиницы «Харьков», к голубям, и почему-то начинают разгонять их ногами — так, будто шаман с их помощью накамлал что-то нехорошее. И словно в подтверждение этого, в следующую секунду они все дружно хватаются за голову, а голуби шумно взлетают в небо.

Бродяга в это время обходит Дворец пионеров с тыла, подходит к мусорным контейнерам, снимает с себя плащ и бросает его в помойку движением киллера-одиночки, успешно выполнившего задание.

— Старик, я ваще не понимаю, как тебе удалось это сделать... — похаживал перед нами разочарованный, сбитый с толку и в то же время взволнованно-возбужденный Калидор.

Мы с Икарусом сидели на их мажорском бильярдном столе, подальше от

пятен, — Икарус пожимал плечами, мол, как-то же все-таки удалось, а я с равнодушным видом болтал ногами, поглядывая на постер с каким-то черным качком, так отжавшим свой трицепс, что, казалось, его глаза вот-вот вылезут из орбит — и при этом он осклабился в улыбке.

— Это же уму, бля, непостижимо, это как же можно было наср...ть среди бела дня в центре самой большой в Европе площади? — Калидор возмущался так, будто это не он со своими кентами-отморозками все это придумал.

Топографические достопримечательности нашего города Калидора, скорее всего, ничуть не занимали. А занимало его сейчас то, что Икарус с самого начала поднял ставку аж до 400 баксов, я, к слову сказать, узнал об этом только сейчас, когда Калидор стал оправдываться, мол, у них нет такой суммы на кармане. Такого попадалова у мажоров ни разу еще не было. Мы хорошо это понимали и предпочли молча ждать, пока одна из Калидоровых шестерок вернется от ближайшего банкомата. Я, по правде сказать, до сих пор не верил, что нам отдадут бабки, и потому нервничал и болтал ногами еще сильней.

— Ну че ты машешь? Че ты тут машешь? — вызверился Калидор. — Взлететь хочешь?

Я пожал плечами и перестал болтать. Так прошло еще минут семь, пока не вернулся запыхавшийся и бледный Федя Зуб.

— Банкомат, — чуть слышно сказал он, виновато косясь на Калидора, — это все, ля, банкомат.

— Шо банкомат? — не понял Калидор.

— Он дал тока двести, больше не захотел давать, — пожаловался Федя Зуб на банкомат, как на живое существо, превосходившее его по всем показателям: по силе, по авторитету, по уму.

— Ой, ля... — вздохнул в отчаянье Калидор и хлопнул себя толстопалой ладонью по лбу, как будто хотел убить невидимого комара.

Он сунул двести баксов Икарусу, а потом достал из барсетки, висевшей у него на поясе, пачку наших бабок и стал отсчитывать остальную сумму. Я смотрел на его плоскую, как у пекинеса, физиономию, и мне казалось, что у него вот-вот потечет слюна. Отсчитав, он хлопнул колоду двадцаток на стол — они рассыпались зеленым веером, — потом наклонился и вытащил из-под стола ящик водки. Икарус взял два снаряда, Калидор хмыкнул, мол, не хочешь больше — дело твое, и, наконец, спросил:

— Ну шо, па девочкам?

Под «девочками» подразумевались старые потасканные бл...и с окружной.

От «девочек» мы отказались.

— Ну и хрен с вами, импотенты, — устало подытожил Калидор, — валите отсюда, чтобы я вас тут больше не видел.

Нас не надо было долго упрашивать.

Поговаривают, будто бы незадолго до того, как мы с Икарусом родились, каждый там, где ему надлежало родиться, так вот — поговаривают, что этого куска города не было еще ни на одной карте, хотя на самом деле он существовал не один десяток лет. Просто таким образом совковые стратеги пытались скрыть от условного противника свои секретные объекты, как мормонские женщины, которые носили такие длиннющие платья, что можно было подумать, у них вообще нет ног. Что-то в этом, конечно, было: ты работаешь, каждый вечер возвращаешься домой, к своей жене, хотя того места, где ты работаешь, как бы нет; нет в принципе и того дома, где ты живешь, и самого тебя тоже нет. И вот, сидя в глубоком кресле перед телевизором рядом с женой, ты понимаешь, что ее тоже нет, что вся жизнь — это когда ты есть и в то же время тебя нет. Все это

отложило заметный отпечаток на этой части города: тут все вдруг то исчезало, то появлялось, потом опять исчезало — и ты уже не знал, появится оно снова или нет. Такой вот долбаный, искусственно созданный бермудский треугольник, попадая в который ты начинаешь во всем сомневаться и перестаешь доверять тем вещам, какие на твоей территории не вызывали у тебя никаких сомнений...

Одним словом, мы приехали на Пятихатки.

Я остался на раздрызганном стадионе, где гоняли мяч какие-то колхозные команды, а Икарус, положившись на... неизвестно что, подался искать вонмобиль Яцека. Наверное, умоляя небеса, чтобы тот не остановился где-нибудь в лесу, — лес одной стороной прилегал к этой части города, — и не исчез там.

Трава на футбольном поле была желтая и истоптанная, как будто всего несколько дней тому назад здесь росла пшеница и ее сегодня утром скосили большим красным комбайном «Нива». Трибуны стояли только с одной стороны и имели нехитрую конструкцию — проще говоря, это были засранные птицами бетонные ступеньки. Напротив трибун тянулась унылая серая пятиэтажка. За правыми воротами лежала дорога, сразу за ней начиналась лесополоса, а за левыми — кладбище.

Как и стоило ожидать, футбол был галимый — прежде всего мне не нравилась неопределенность. Неопределенность во всем. Я не знал, что за команды играют, сколько они уже играют и для чего... На металлическом табло было написано: хозяева — гости, но это, по большому счету, тоже ничего не меняло.

Минут через десять, когда я уже почти задремал под теплым вечерним солнцем, к бровке газона, чуть не сбив угловой флажок, подрулил небольшой автобус — оттуда высыпала куча поддатых чуваков, которые стали выкрикивать «Чег-г-гка-сы!!!» Их скандирование отлетало сначала в лес, который начинался сразу за дорогой, а потом возвращалось на стадион эхом с искаженным, французско-картавым звуком «грг». «Неплохо было бы устроить здесь массовый сеанс логопедии, — подумалось мне, — рассадить бы всех этих даунов на трибунах и поставить перед ними логопеда, который бы терпеливо объяснял: «"Эр", а не "гэ"... давайте попробуем...» Во всяком случае, это было бы куда интереснее, чем такой футбол.

Откровенно говоря, появление грассирующих фанов «Чегкас» тоже почти ничего не прояснило, поскольку они сразу же потянулись куда-то в сторону от трибун, возможно, на поиски логопеда, но скорее всего, просто прикупить бухла. Не исключено, что после хорошей дозы пойла они расслаблялись и выговаривали «эр» нормально. Так это или нет, но они потянулись к выходу и, как несложно догадаться, — исчезли. Судья дал свисток. Начался перерыв.

Я стал играть в футбол, когда мне исполнилось шесть лет, и очень скоро это переросло в серьезное увлечение. Меня воспитывал отец, я вырос в девятиэтажке на девять подъездов, в большом районе, где обитало почти двести тысяч жителей. Там чуть ли не в каждом дворе была своя футбольная команда, и когда я перешел в девятый класс, поменяв до этого две школы, у нас организовали чемпионат района среди школьников. Наша команда обыграла всех. Мы все были закадычными друзьями, знали друг друга сызмальства, почти с пеленок, и поэтому на футбольном поле понимали друг друга без слов. Просто если мы что-то делали, то делали это действительно хорошо: если мы играли в футбол, то мы действительно играли.

Кстати, наша команда была чуть ли не единственной, кто в то довольно любопытное время играл в форме.

Тогда на харьковские барахолки как раз стали завозить первые партии футбольных форм. Мы бегали в полосатых футболках «юве» — невзирая на то,

что у четверых игроков на спинах был девятый номер, а у остальных членов команды — десятый. Мы мыли в соседних гаражах машины, экономили на школьных завтраках, но купили себе форму и бутсы. Собственно, соперники уступали нам уже в тот момент, когда мы выходили на поле. В том же году чемпионат стал набирать обороты — часто вокруг школьных стадионов, где мы играли, собирались местные мужики, которые воскресными вечерами, а мы играли как раз по выходным, забивали козла на интерес — на бутылку водяры. Иногда их собиралось человек по пятьдесят, потом подваливала местная шпана, потом группа поддержки гостей, так что вокруг стадиона иногда ошивалось сотни полторы болельщиков. Наша же группа поддержки состояла всего человек из двадцати, а еще за нами постоянно таскался Питя — местный даун, который обитал в подвале. Не факт, что он соображал что-нибудь в футболе, но его просто распирало от радости дудеть в дудку, да так, что у всех в радиусе десяти метров закладывало уши.

Как и следовало ожидать, в то лето мы без напряга вышли в финал, но поскольку мы играли за кубок, финал складывался из двух матчей — домашнего и выездного. Первый матч мы играли на своем поле и, не напрягаясь, вкатили чувакам из четвертого микрорайона шесть банок и потому на ответный матч ехали в расслабухе, без фанатов, с одним только Питей, от которого тащился весь троллейбус.

Когда мы прибыли на поле, местные уже разминались, за их воротами сидело человек шестьдесят придурков, пенсионеров и шпаны. Нас встретили свистом. Мы переоделись, пробежали два тренировочных круга, попасовали, то-се...

Матч начался, я держал позицию правого глубокого форварда, и за мной все время гонялся чувак в лыжных ботинках — с такими пластиковыми хреновинами на носках. Собственно, из-за него все и началось. Где-то минуте на четвертой он вломил по ногам Спиде, нашему центрфорварду, пробив ему щиток, но ногу не повредил. Судья, пидар, дал штрафной, но не больше. Хотя Спиде, который подошел к мячу, было достаточно и этого. Он, не задумываясь, выстрелил в правую девятку, и мы повели. В середине тайма счет был уже 2:0, когда тот тип в лыжных ботинках впаял Спиде по второму щитку, но на этот раз наш форвард остался-таки на земле. К лыжнику сразу же подбежал левый хав — Вован Косой, человек довольно прямолинейный (кажется, я уже рассказывал о том, как мы с ним вдвоем приобрели свой первый расистский опыт), я бы даже сказал — слишком прямолинейный, и дал лыжнику в табло. Лыжные ботинки мелькнули в воздухе, будто давая старт... Сначала мы пошли стенка на стенку, а потом на нас кинулись дауны, сидевшие за воротами, и здорово отп...дили, хотя и мы не остались в долгу — все-таки мы все были в бутсах. Сидя потом в павильоне детского сада, уже на своей территории, мы думали — какого хрена? Мы просто любим футбол, мы не бухаем, как другие, мы три раза в неделю тренируемся, мы просто лучшие, мы просто клево играем — и за это нас п...дят? После этого случая половина наших оставила спорт...

Так начиналась наша школа выживания...

Я ловлю себя на том, что в последнее время стал очень много вспоминать. Воспоминания словно самовольно всплывают из глубины сознания, как пузырьки воздуха с речного дна, и пытаются заполнить все мои мысли, оставляя для реалий все меньше места. Я даже проникаюсь этим, потому что еще в то время, когда у меня был ящик, я видел не один фильм, где перед глазами героя в одно мгновение пролетала вся его нехитрая жизнь... Происходило это, как правило, перед смертью, а у меня, если честно, таких планов пока что не было... Даже

наоборот. И все-таки воспоминания лезли и лезли в мою голову, и я ничего не мог с этим поделать. Казалось, они просачиваются в мою кровь вместе с кислородом, который я вдыхал... Телек мы со стариком продали... Вот видите, опять воспоминания...

Чем закончился этот крейзанутый матч, я так и не узнал. На стадион вернулись картавые фанаты «Чегкас» — как и следовало ожидать, с кучей бухла. А еще через минуту на дороге появился зеленый фургон с логотипом какой-то немецкой химчистки на борту. Он несколько раз хрипло просигналил, и из него выпали Икарус и Яцек. Яцек держал на руках своего медитативного французского бульдога Сигнала.

Яцек был в серых хлопковых штанах, такой же свободной безрукавке и шлепанцах, которые держались на ногах благодаря легкой шнуровке. Он поправился килограммов на десять. «И это без мяса!» — подумалось мне. На Сигнале вместо ошейника висели какие-то бусы. Похоже, Яцек повесил их на цуцика недавно, потому что тот все время недовольно вертел головой и пытался просунуть переднюю лапу в щель между бусами и своей морщинистой шеей. Если же говорить о том, поправился ли Сигнал без мяса, то тут я ничего не могу сказать, поскольку видел это маленькое чудовище впервые.

— Чувак, сколько лет... — широко улыбнулся Яцек и протянул мне свободную руку. Сигнал же, продолжая висеть на руке у Яцека, немного успокоился и отрыгнул, пустив на землю нитку слюны.

Яцек недовольно покачал головой, вынул из заднего кармана салфетку и вытер Сигналу его слюнявое французское хавало. Сигнал брезгливо скривился.

— Заходи, чувствуй себя, как дома. Короче, садись, где хочешь... А я пока отнесу Сигнала отлить, и сразу же поедем...

Куда мы «сразу же» должны будем ехать, я не успел поинтересоваться, потому что Яцек с Сигналом направился к лесополосе. Икарус остался курить на свежем воздухе, а я одним шагом одолел две ступеньки и оказался внутри вонмобиля. Тут было на удивление просторно. Сразу мне даже показалось, что внутри места значительно больше, чем может вместить такой вонмобиль. Справа от меня было водительское место, в один ряд с ним, оставляя небольшой проход, располагались два пассажирских сиденья. Слева, у противоположной глухой стены, в самом конце высилась двухъярусная кровать — такие, если верить фильмам, бывают на подводных лодках. У ближней стены стояла обшарпанная кушетка, над ней — зашторенное окно, напротив кушетки — шкафчик и столик, а на столике — радиоприемник, похожий на тот, который Икарус пытался послушать у оранжевых безрукавок. Посредине оставался проход шириной приблизительно с метр, а в потолке зиял довольно большой люк из зеленого стекла. Все было по-кришнаитски аскетично. Когда я упал на переднее сиденье, Яцек как раз открыл водительскую дверь и забросил на водительское кресло Сигнала. Потом он забрался в машину сам, Сигнала передвинул поближе ко мне, а тот продолжал смирно лежать, быстро и отрывисто втягивая воздух своей плоской мордой. Собаченция была ленивая. Я подергал его за ухо, он както презрительно на меня посмотрел, впрочем, не более того. Я подергал еще, и тогда Сигнал, забавно, как тюлень миниатюрной породы, перебирая передними лапами, отполз немного в сторону и подтянул за собой все свое тело.

— Он у тебя что, ходить разучился? — пошутил я.

— Нет, — невесело отозвался Яцек, — у него задние лапы парализованы, — и повернул ключ.

Я почему-то очень смутился, а Яцек тем временем завел вонмобиль, сделал большой круг и выехал на разбитую дорогу. Краем глаза я видел, как фаны

«Чегкас» уныло и молча рассаживались по загаженным птицами бетонным трибунам.

Устроившись на переднем сиденье фургона, который был похож на автономную орбитальную станцию, где ты сам мог задавать траекторию полета, нажимая педали газа, тормоза и поворачивая баранку, я впервые за последние несколько лет ощутил реальный экзистенциальный страх. Его реальность подкреплялась еще и чисто физическим самочувствием... Я чувствовал какой-то непонятный холод в животе и слабость в ногах, наверное, это потому, что последние несколько дней я почти не спал...

Наша зеленая орбитальная станция, на борту которой красовался логотип спонсора, то есть химчистки, летела вперед, гордо и уверенно пронося к другим мирам своих крейзанутых обитателей: кришнаита Яцека, Икаруса, парализованного французского бульдога Сигнала и меня, скованного не свойственным мне чувством страха... И если трезво рассуждать, то все население нашей космической станции было обречено на вымирание... Уже хотя бы потому, что среди нас не было ни одной женщины... Тогда я попросил у Икаруса один снаряд водки, из тех, что мы получили у мажоров, и большими глотками стал пить. Яцек несколько раз презрительно покосился на меня, а я только развел руками, мол, старик, мне сейчас по-другому нельзя, тут одно из двух: либо ты пьешь, либо у тебя начинается капитальный сдвиг по фазе...

Мы ехали неизвестно куда, спрашивать о цели нашего путешествия не было никакого желания. И чем больше я пил, тем четче было ощущение, что куда бы мы ни приехали, везде нас будет ждать только пустота, такая пустота-вакуум, где не будет ни воздуха, ни неба, ни тем паче воздуха, смешанного с небесами. Но самым худшим было то, что в этой ситуации я не видел никакого выхода, кроме как ехать, просто ехать и не останавливаться... Потому что каждая остановка могла иметь очень хреновые, можно даже сказать, катастрофические для нас всех (во всяком случае, для меня лично) последствия... Остановиться в этой лесополосе, пройтись по траве — значит понять, что деревья — это на самом деле не деревья, а долбаные фанерные декорации, которые кажутся деревьями, когда ты пролетаешь мимо них со скоростью за сто... А если просто подойти к ним и ударить ногой, они упадут навзничь, в пустоту, и за ними уже ничего не будет...

— Это добрый лес, — сказал почему-то Яцек, словно прочитав мои стремные мысли.

— А ты уверен, — спросил я, — что в нем нет пустоты?

Яцек как-то недоверчиво покосился на меня, похоже, он не ожидал услышать нечто подобное от чувака, который пьет водку прямо из горл*а*.

— Никакой пустоты, — сказал Яцек, — там пионерские лагеря, много пионерских лагерей...

— Значит, пустота дальше, за ними...

— Нет, не сказал бы...

— Ну, тогда в головах...

— В чьих?

— Тех, кто там живет... Ну как ты не понимаешь? Должна же она где-то быть...

— Нет, — сказал он, улыбаясь, — в тех головах — одно дерьмо, у кого меньше, у кого больше... А дерьмо и пустота — вещи абсолютно несовместимые. Думаю, ты не станешь возражать...

Кришнаитская логика постепенно начинала мне нравиться.

— Вообще-то, — продолжал он, — понятие пустоты для меня относитель-

но, потому что... ну, как бы тебе это объяснить... потому что Кришна — всеобъемлющий и, стоит только захотеть, он заполнит весь твой вакуум...

Я никак не отреагировал на этот его маразм, и потому Яцек, словно в подтверждение всеохватности Кришны, достал из бардачка кассету и сунул ее в магнитолу. Полилась медитативная кришнаитская музыка. Она выходила из динамика какими-то неожиданными рывками, так, будто ее кто-то прокручивал через мясорубку.

Что имел в виду Яцек, когда включил эту кассету, я не понял, и в мою голову поползли разные бесконечные мысли, словно у меня в мозгу образовалась черная космическая дыра, которая их засасывала. «Интересно, — подумал я, — что будет, если Яцек однажды все-таки осознает, что пустота существует, что жизнь иногда подбрасывает тебе такой вакуум, в котором, как на большой глубине, не сможет выжить ни одна рыба, даже такая хитрая, как Кришна, — ее просто раздавит на молекулы, а все ее мысли — на фрагменты, такие мелкие, что она не успеет ничего понять?..»

Я снова и снова погружался в воспоминания, попадая в плен навязчивых, ненужных мыслей... Я боялся, что они начинают мною жить...

К реальности меня вернуло повизгивание Сигнала и какой-то стремный трупный смрад.

Сигнал повизгивал все настойчивее.

— Сигнал, да заткнись ты, пока я тебя сам не заткнул, — буркнул наконец Яцек совсем не по-кришнаитски.

Трупный запах становился все невыносимей, и я все-таки открыл глаза, готовый увидеть самое ужасное.

Впереди нас пер грузовик, доверху нагруженный чьими-то костями, — зрелище, что ни говори, не очень приятное. Яцек бормотал себе под нос проклятия, ведь перед ним ехал целый кузов того, на чем совсем еще недавно держалось МЯСО, а он к тому же никак не мог перестроиться в средний ряд, чтобы это бывшее МЯСО обогнать. В довершение ко всему, на кузов с костями с соседнего сиденья глазами, полными собачьего фанатизма, смотрел Сигнал, радостно визжа и шумно втягивая воздух своим плоским, как у боксера-профи, носом.

Яцек не выдержал такого предательства, а потому ударил по тормозам и въехал в первый попавшийся правый поворот...

Около девяти часов вечера мы припарковались в одном небольшом дворике в центре города. Фонарь выхватывал из тьмы только старые деревянные ступеньки, ведущие куда-то вверх. Было такое впечатление, что по ним можно взойти прямо на небеса, на высокие, темные и стремные небеса, такие стремные, что на их границе обязательно должны стоять крепкие, накачанные ангелы-хранители, которые ни за что бы не пропустили наверх таких лузеров, как мы...

Напротив дворика мигала бело-зелено-красным неоном пиццерия «Челентано», которую в народе называли проще — «Член Тани». Возможно, именно поэтому ее облюбовали местные феминистки, они собирались там теплыми летними вечерами и, наверное, вынашивали какие-то коварные планы против всей мужской половины населения планеты.

— Чуваки, вы это, купите себе что-нибудь поесть, — сказал Яцек. Он выглядел усталым и отстраненным, вынул из бардачка небольшой мешочек, похожий на средневековый кошель для монет, и сунул туда руку. Я уже настроился отказаться, думая, что Яцек предложит нам бабло, но он так и застыл с мешочком в руке. Переглянувшись с Икарусом, мы решили его не трогать и пошли в «Член

Тани». У девушки, что нас обслуживала, на бейджике и правда было написано «Таня». «Символично», — подумал я и заказал четыре пиццы: две с курицей и ананасом и еще две грибные. Икарус в это время набирал из холодильника банки с пивом. Вернулись мы в фургон минут через десять. Яцек все так же сидел с мешочком в руке.

— Яцек, — сказал Икарус, — мы принесли тебе и Сигналу грибную пиццу, падай к нам, будем ужинать.

Яцек не реагировал...

— Яцек, — стал убеждать Икарус, — это всего-навсего грибная пицца, в ней нет мяса...

— Да-да, — поддакнул я зачем-то, — там одни грибы, они неживые...

Но Яцек только отмахнулся от нас свободной рукой, показывая, чтобы не мешали. Мы опять переглянулись, пожали плечами и уселись на кушетке жрать. А Сигнал выглядывал со своего переднего сиденья и всю дорогу облизывался. Когда же мы открыли пиво, он даже несколько раз возмущенно гавкнул... Яцек рассеянно взглянул на него, тяжело вздохнул, процедил себе под нос: « Сбил-с-с-с-я-я-я...», взял бульдога под брюхо и вылез наружу через водительскую дверь, наверное, думая, что псу надо отлить. Я заглянул в мешочек, который Яцек оставил на сиденье, — там были длиннющие четки. Стало как-то не по себе: оказывается, мы мешали человеку медитировать, ведь мы, мать его, не дали ему, как радиоприемнику, спокойно настроиться на ту волну, на которой говорил Кришна, рассказывая о последних событиях в мире и, конечно же, о погоде на завтра.

Тем не менее, мы продолжали сидеть и запихиваться пиццей. Ничего удивительного, я не жрал уже почти сутки.

Тут, наконец, вернулся Яцек, он положил Сигнала на сиденье, достал из бардачка бабки и сказал:

— Пойду куплю нормальной еды. НОРМАЛЬНОЙ, — подчеркнул он.

Хорошо, хоть не добавил: «А вы тут запихивайтесь своей дохлятиной...»

Я доедал, Сигнал смотрел на нас своими голодными, обреченными глазами и пускал слюну. В какой-то момент Икарус не выдержал, оторвал большой шмендель грибной пиццы, кинул его в коробку и сунул бульдогу под нос. Тот что-то проворчал и сразу же стал есть.

— Ты че, совсем охренел?! — сказал я Икарусу, собрал мусор, пустые банки, вылез из фургона и пошел к ближайшей помойке.

Избавившись от мусора, я уже хотел возвращаться, как тут в моем кармане завибрировал мобильный. Если честно, я начинал уже его ненавидеть...

— Да...

Это была Кэт, и у нее почему-то дрожал голос.

— Что стряслось, солнышко мое милое? — никак не мог въехать я.

— Это все ваш дурацкий Мяуцзедун! — выпалила Кэт.

Прозвучало это так, будто наш старый котяра, например, забрался в домашнюю лабораторию ее папочки, ядерного физика, и ненароком расщепил какое-то ядро, после чего произошел ядерный взрыв. Я поднял глаза к темным небесам — ядерного гриба нигде не было видно.

— Так что там наш Мяуцзедун, золотце? — переспросил я.

— Он, он разбил любимую чашку моей мамы!

— Кэт, дай ему трубку, я его, свинью этакую, сейчас хорошенько отчитаю, — попробовал пошутить я.

— Нет! — рявкнула Кэт. — Ты не понимаешь! Мне сказали, чтобы через два часа его тут не было!!! — сразу же после этих слов мой телефон несколько раз

пискнул и сдох, сдох так неожиданно и мгновенно, как сдыхают от сердечного приступа.

— Выходит, Мяуцзедун тоже СВОБОДЕН, — прошептал я. — Да что же это такое творится? Кому это нужно? Кто нами, черт возьми, играет?

Меня прямо-таки затрясло от злости... Я был готов биться головой о стену старого дома и нафиг ее развалить, хотелось кричать... Но вместо этого я просто опустился на асфальт, глянул в темные небеса и беспомощно показал им фак... Небеса меня проигнорировали.

В фургон я вернулся совершенно опустошенный... Ноги подкашивались, а глаза закрывались сами собой.

— Вот, возьми, — сказал я Икарусу, — забери у меня это «зло» и дай водяры, — после этих слов я бросил в Икаруса мобильник и протянул руку за бутылкой. Мой кореш не заставил себя долго ждать и, когда я сделал два хороших глотка, все-таки не выдержал и спросил:

— Я вот смотрю, как ты забухал, и думаю: может, что-то случилось?

— А то как же, случилось... Случилось непоправимое...

— Не пугай меня... — мой кореш поднялся с кушетки и нервно заходил туда-сюда, а я, не теряя времени, завалился на освободившееся место.

— Мяуцзедун разбил любимую чашку мамы Кэт...

— Ой ще-т... — схватился за голову Икарус.

— Послушай, — не понял я, — вы какие-то странные, и мама Кэт тоже... Это что за фетишизм? Что за поклонение какой-то чашке, вы что?

— Но ведь, — возразил он, — у тебя тоже есть твоя любимая тарелка с Мальчишем-Кибальчишем...

— Это отдельная тема, Икарус. Она у меня любимая, потому что единственная, других тарелок у меня просто нет... Я не понимаю, у мамы Кэт что — тоже одна-единственная чашка с Мальчишем-Кибальчишем?

— Не знаю, — отозвался мой кореш невесело, — может, и с Кибальчишем, но ту чашку ей подарил один французский актер, в которого матушка Кэт была безумно влюблена...

Я уже стал проваливаться в сон, когда вернулся Яцек.

— Ё-моё, чуваки!!! — заорал он, усевшись возле Сигнала. — Ну кто, кто дал этому ублюдку ПИЦЦУ?..

Яцек так переживал, так сокрушался, как будто от пиццы у Сигнала могли отняться еще и передние лапы.

— Это не я! — выпалил Икарус.

Яцек укоризненно взглянул на нас и бросил возле Сигнала пакет с яблоками и еще какой-то НОРМАЛЬНОЙ едой. Сигнал, перебирая передними лапами, как миниатюрный тюлень, попытался отползти подальше от НОРМАЛЬНОЙ еды, словно это было взрывное устройство с часовым механизмом, и чуть не свалился под сиденье на коробку передач.

«Как, как он догадался? — не мог понять я. — Может, это все Кришна? Может, он все это время следил за нами, да-да, сквозь люк на крыше, он такой, он мог... а потом все ему рассказал!» Да, так, наверное, все оно и было. Последние два дня меня не покидает ощущение, что за мной кто-то следит, даже тогда, когда я сплю... И вот, чтобы убежать от того, кто за мной следит, я бегу в воспоминания...

Засыпая, я слышал, как Икарус пытался выклянчить у Яцека мобильник, а тот визжал, чтобы мы больше никогда-никогда не кормили его медитативного бульдога *ненормальной* пищей.

Мне ничего не снилось...

Проснулся я, судя по всему, через несколько часов. Вонмобиль стоял, и в открытые двери шел приятный вечерний воздух. На кушетке прямо перед своим носом я увидел чьи-то ножки. Окинув взглядом от колена до края мини-юбочки, я их узнал — это были ножки Кэт.

— Привет, — сказал я им, — вы хорошие...

Дико сушило.

Кэт на всякий случай отсела подальше от меня и вдруг бросила что-то очень тяжелое в район моих яиц. Я согнулся пополам, чувствуя, как это «что-то» впивается в меня когтями. Старичок Мяуцзедун наконец спрыгнул с меня на пол и забился под шкаф, беспокойно поглядывая на Сигнала, валяющегося неподалеку. Я зашипел от боли и соскочил с кушетки.

— Ты че... блин, офонарела, Кэт? А если бы он оторвал мне яйца? — сказал я с укором.

Но Кэт ничего не ответила, только гневно на меня зыркнула и отвернулась.

— Ну вот, я же тебя предупреждал, — донесся с переднего сиденья голос Яцека, — водяра, кот, ненормальная еда, крики про какие-то там яйца — все это, чувак, отрицательные флюиды, как ты не можешь понять? И эти флюиды меня разрушают... Я не могу отказаться от такого образа жизни, он меня когда-то спас...

— Флюиды? — переспросил Икарус. — А это еще что такое?

— Ну, как тебе объяснить? — простонал почти в отчаянье кришнаит. — Если очень примитивно, то это такие сгустки энергии, которые излучает каждый человек.

— И что, они у нас точно отрицательные? — не поверил Икарус.

— Может, и не отрицательные, во всяком случае, несовместимые с моими... И меня это совершенно убивает.

— И как быстро тебя это может «совершенно» убить? — серьезно донимал его Икарус, видимо, перебирая в голове какие-то варианты.

— Да откуда ж я знаю? — потерял самообладание Яцек. — Может, за три года, а может, и за пять минут. — Он произнес это таким трагическим тоном, как будто подцепил какую-то неизвестную тихоокеанскую заразу.

Не знаю почему, но в тот момент я так испугался этой неизвестной заразы, что твердо решил делать отсюда ноги, притом немедленно. И поэтому я забрал самое дорогое, что у меня было, то есть водяру и Мяуцзедуна, и ушел, никому ничего не сказав. Но до меня, похоже, и так никому не было дела.

Ровно полночь. Только что отключили уличное освещение. Я стоял перед забором городской больницы, где прошлой ночью виделся с Анжелик. Под мышкой у меня был Мяуцзедун, внутри меня — перегар, а на душе пустота. Исчезло даже ощущение, что за мной кто-то следит. Напротив, я был уверен, что меня перестал пасти Кришна, потому что его уже должно было задолбать это реалити-шоу с таким придурком, как я, в главной роли. Я бы на его месте уже давно переключился на другой канал, спортивный или хотя бы порнографический.

Подумав об этом, я забросил Мяуцзедуна сквозь решетку на мокрый газон, и он затаился в траве, как разведчик на вражеской территории. Следом за ним перелез через забор и я, и подобрав своего кошака, поплелся к черному ходу; он, как и вчера, был не заперт. Чутко вслушиваясь в звонкую тишину коридоров, я стал подниматься по лестнице на четвертый этаж. Не знаю почему, но мое сердце бешено колотилось. Ступенька — удар, ступенька — удар, две ступеньки одним прыжком — двойной удар. Наконец добравшись до четвертого этажа, я снова ступил в плохо освещенный квадрат с телефоном и тумбочкой у входа в

коридор. На тумбочке кемарило бесформенное тело. В какой-то момент мне даже показалось, что я отсюда никуда не уходил. Я сделал шаг вперед, потом еще один... Санитарка подняла голову только тогда, когда я оказался рядом с ней. Она глянула мутными глазами сперва на меня, потом на Мяуцзедуна, потом еще раз на меня и на него... А потом спокойно опустила голову себе на руки и захрапела... «Наверное, потому, — с облегчением подумал я, — что у нее нет халата и тапочек для моего котяры...»

Коридор напоминал гигантскую морскую раковину, он все время закручивался внутрь, хотя, в отличие от раковины, в нем было зловеще тихо. И вот по этому коридору мы с котярой и продвигались. Сейчас у меня в руках был только кот, водяра кончилась. Щелкая зажигалкой, я нашел нужную палату и нерешительно затоптался перед дверью — в конце коридора на подоконнике сегодня никого не было, в окно заглядывало погожее весенне-летнее небо, усеянное мириадами звезд, о существовании которых я раньше как-то даже не догадывался, хотя, впрочем, они о моем, наверное, тоже.

Я вобрал в себя побольше воздуху, как будто собирался глубоко нырнуть в глубокую воду, и осторожно приоткрыл дверь. Несколько секунд глаза привыкали к полной темноте. Казалось, она, эта темнота, вытекает из дверного проема, как вода из старой чугунной ванны. Теперь я уже мог разглядеть целую казарму — восемь коек, — по четыре под каждой стеной, четыре из них были пусты. Я подошел к первой и сразу же отпрянул — на ней спала какая-то толстуха в растянутой майке, из-под бретелек вываливалась бесформенная, как тесто, грудь. Не знаю почему, но такие груди меня всегда пугали. Мяуцзедуну они, похоже, тоже не очень понравились, потому что он беспокойно заерзал у меня под рукой. На другой кровати, судя по мощным скулам и раскосым щелкам глаз, лежала какая-то казашка, а может, татарка, а может... Еще на одной кто-то спал, уткнувшись лицом в подушку, но волосы, волосы были не такие, как у Анжелик, точнее, волос почти не было. Скорее всего, это была какая-то припанкованная неформалка и видела она свои неформальные панковские сны. И только на последней койке, стоявшей под самым окном, была она, Анжелик из телефонной службы доверия.

Я хотел разбудить ее как-то красиво, например, поцелуем, но вовремя сообразил, что от меня сейчас, должно быть, жутко несет перегаром. Тогда я посадил Мяуцзедуна на подоконник, уселся рядом с ним и стал ждать, когда Анжелик проснется сама. Когда мне стало скучно, я посмотрел в окно. Там были совершенно другие небеса, во всяком случае, совсем не такие, как за окном в коридоре. Эти небеса закрывали тяжелые, мощные тучи, и потому казалось, что за этой отстойной больницей есть аж несколько небесных плесов, и я не мог до конца сообразить, хорошо это или плохо, и если их несколько, то как отсюда, с земли, можно точно определить — какое небо настоящее, а какое фальшивое?

— Эй, — неожиданно спросила Анжелик шепотом, — только не говори, что твой кот не мог уснуть без моей груди и ты потому притащил его сюда.

— Нет, — возразил я, — мой кот так рано не ложится, он же сова, — добавил я зачем-то, хотя не совсем хорошо представлял, как это кот может быть совой...

— Хорошо, — кивнула в темноте она, — а перегаром, перегаром от кого так несет, от тебя или от него?

— Это от нее, от татарки, — пожал плечами я и кивнул на татарку. — А мы с Мяуцзедуном не пьем, нам нельзя, мы закодированы... цыганкой одной... по фотографии...

— Она не татарка... — прошептала Анжелик.

— А кто же она?

— Казашка...

— Странно, я почему-то сразу так и подумал...

— Иди сюда, — Анжелик показала на краешек кровати.

Я сел, пружины подо мной заскрипели так громко, что казашка завороча-лась во сне.

— Вот блин... — начал я, но Анжелик влепила мне бешеный поцелуй. Ее губы пахли какими-то удивительными лесными травами... Они взрывались у меня в мозгу — сотни, миллионы лесных трав, они прорастали, пробивая своими гиб-кими стеблями мои закатанные в асфальт мозги, они расцветали и сливались в причудливые гербарии... Казалось, этот поцелуй мог длиться вечно, если бы татарка, то есть казашка, лежавшая через одну кровать, не стала разговаривать во сне...

— Кезге тигізуден сак болыныз! — пробормотала она. — Кезге тиіп кеткен жагдайда, скмен жаксылал кайталаныз (Смотрите, чтобы не попало между глаз! А если все-таки, бля, попадёт, тогда ищите кран с холодной водой).

Анжелик оттолкнула меня, а я все стоял и смотрел на нее, ничего не сооб-ражая...

— Ну, чего вылупился? — прошептала она.

— У тебя губы пахнут травами, — еле выдавил я из себя.

— А у тебя все-таки перегаром...

— Ладно, — согласился я, — признаю, я бухал... но эти травы... вас тут что, травой кормят? Если это так, то я тоже хочу здесь жить...

— Да никакая это не трава, это всего-навсего зубная паста, — объяснила Анжелик, — такая зубная паста, где бобер на тюбике...

— С бревном? — только и спросил я.

— Да. А что?

— Слышишь, ты, главное, не глотай ее, маленькая, — попросил я.

— А это еще почему?

— Ну, если с тобой что-нибудь случится, мне придется разбомбить их офис и убить агента...

— Какого агента? — почти испуганно покосилась на меня Анжелик.

— У них там есть специальный агент, агент-дегустатор, который глотает пасту...

— Служба патребитилей, — заученно произнесла казашка по-русски, — ноль пять, три ноля девять, Алматы, улица Ильича, сорок один, абанентский яшшик шестдесят шесть.

Неожиданно выяснилось, что кроме халатика у Анжелик больше ничего нет. Ее папаша, как она выразилась, конченый... тут мы долго подбирали слово, которым можно назвать человека, который дико боится чем-нибудь заболеть и жрет каждый день кучу таблеток... Но так и не нашли и сошлись на том, что папаша просто конченый... Так вот, каждый день он жрал таблетки, к тому же жрал он их намного больше, чем НОРМАЛЬНОЙ еды, дальше заваривал себе лесную ромашку и тибетские чаи, потом полоскал рот шалфеем и ставил на ночь антигеморроидальные свечи (кажется, я ничего не путаю), а на эти самые свечи у него была аллергия, и у него что-то там высыпало, поэтому приходилось глотать антиаллергены, от которых повышалось внутричерепное давление и тэ дэ... Так вот, ее прибацаный папаша боялся, что у Анжелик не хватит терпения и она сбежит из больницы, не долечив — нет, вы только послушайте, — НЕСКОЛЬ-КО СИНЯКОВ И ССАДИН! Анжелик и правда сбежала бы... Тогда он просто забрал из больницы ее одежду, оставил в одном халатике. Во всяком случае, так мне объяснила сама Анжелик.

— Ну, — сказал я, — давай свистнем одежду у казашки... Ее все равно не скоро выпишут, она вон мелет черт-те что, был бы я врачом, ни за что бы такую не выписал...

— Ты расист, — покачала головой Анжелик, — к тому же размер у нее почти детский...

— А шлепки, шлепки с медвежатами, случайно, не ее? — почему-то спросил я.

— Конечно, нет, — ответила Анжелик. — Мог бы и сам догадаться...

— Что догадаться?

— Ну, медвежата и Казахстан... Странная какая-то комбинация...

А я вот представляю себе настоящую любовь как-то вот так: ночь, темнота, одна из центральных улиц города, свободная от машин, одинокие такси с заспанными водителями, о чьем существовании догадываешься только по огоньку сигареты... И вот, по обочине идут они... Он в растянутой футболке, под мышкой у него мирно висит старый облезлый кот. Свободной рукой он держит за руку ее, а она идет по бордюру, идет в халатике фиалкового цвета, в шлепанцах и махровых теплых носках. Что у нее под халатиком — остается загадкой. Потом они останавливаются и долго-долго целуются, коту при этом немного неудобно, как ни крути, он третий, то есть лишний, впрочем, деваться ему особенно некуда... Они могут позволить себе целоваться прямо посреди ночной улицы, посреди широкой шестиполосной трассы, прямо на разделительной линии, которая, по правде говоря, им до фонаря, потому что она хоть и разделительная, но вот попробуй раздели их сейчас, забери друг у друга. Они целуются, наверное, с полчаса, пока не начинают болеть губы, и им глубоко начхать, кто и что о них думает... Хотя, если трезво разобраться, кто тут сейчас может думать? Разве что Кришна или, на крайняк, неудачник Билл Даун, или таксисты, если последние, конечно, умеют думать... И им, этим безумно влюбленным существам, глубоко до фонаря даже то, что они в данном случае думают сами о себе... Потому что сейчас в принципе не надо думать. Потому что терять им в принципе нечего... Да и что это за любовь будет, когда ты думаешь?

Сука-любовь будет...

Но мысли все-таки возвращались. Мы шли к неандертальским окраинам города, и я понимал, что теперь у меня есть не просто оператор телефонной службы доверия, теперь у меня есть женщина, которую приятно держать за руку, несмотря даже на то, что она в халатике, тапочках и махровых теплых носках. От такой мысли становилось тепло... Но сразу же за этим почему-то начинало казаться, что мы лишние на целой планете, на огромной ЗЕМЛЕ, по которой снует куча ублюдков, а нам тут просто нет места, ни одного квадратного метра, ни одного кубометра воздуха... И от одной такой мысли становилось невыносимо галимо. Тогда я, правда, стал осознавать, что весь смысл жизни, ответ на вопрос «на х... ты живешь?» — в общем-то, простой и очевидный: — для того, чтобы *отвоевывать* свои метры и кубометры под солнцем, отвоевывать их у какого-то невидимого противника, врага, которого ты *действительно* не видишь и не чувствуешь, но который все же существует и медленно берет тебя в окружение... И никакого перемирия с ним не подпишешь. И плевать ему на твой белый флаг, сделанный из последней футболки, и на твои пацифистские заморочки... Вот для чего в школе все-таки учат бросать гранату...

Так мы дошли до моего дома и поднялись на шестнадцатый этаж. Я без никакой задней мысли долго ковырялся в замке ключом, открыл дверь и вошел в нашу с Икарусом холостяцкую квартиру. Все вроде было на своих местах,

никакого погрома, никаких головорезов на наших метрах и кубометрах, за которые скоро надо было платить бабки старому алкашу Рулерту. Мы спокойно приняли душ, я хотел было найти что-нибудь пожевать, но быстро сообразил, что это пустая затея. Тогда мы с Анжелик просто допили коньяк, и все наши невидимые враги на некоторое время прекратили свое гребаное наступление...

— А вот еще один, — Анжелик показала мне синяк под маленькой грудкой, слева, где должно было быть сердце.

Я наклонился и нежно поцеловал ее в то место. Мы валялись посреди нашей единственной комнаты на моем надувном матрасе. Я спустился немного ниже и стал целовать ее пупок... Анжелик как-то нервно поглаживала мою разлохмаченную голову своими длинными пальцами, и эта ее нервозность стала передаваться мне... Она мешала *не думать*, ее пальцы просто передавали в мой мозг какие-то стремные и напряженно-депрессивные импульсы, и по этой причине рождались все новые и новые мысли, много мыслей, так много, что я просто не успевал их думать. Тогда я начал спускаться поцелуями еще ниже и стал зубами стягивать резинку трусиков... И вдруг меня пробило... Вдруг я понял то, чего мне, может быть, *совсем не следовало понимать*... «Ну, какая на хрен машина? — крутилось у меня в голове. — Зачем она сказала мне, что ее задело машиной? Почему я такой лузер, что взял и поверил? Слышишь, чувак? Как же ты раньше-то не сообразил?»

— Почему он это делает? — спросил я неожиданно и уселся рядом с Анжелик на полу, пытаясь сложить ноги в позу лотоса. Анжелик как-то затравленно зыркнула на меня и прикрыла свои маленькие груди моей футболкой. — Ну, твой конченый папик, почему он тебя бьет?

Она порывисто подскочила и влепила мне такую пощечину, что меня аж развернуло, а в следующую секунду упала на матрас, закрыв лицо руками, и заплакала.

Я поплелся на кухню варить кофе.

Надувать матрас немалого размера, надеясь только на собственные легкие, дело не очень благодарное. Буквально на второй минуте тебе начинает казаться, что матрас на самом деле никакой не матрас, я какое-то загадочное живое существо, которое пытается высосать из тебя весь кислород. Осознав это, ты на мгновение останавливаешься, и тогда загадочное существо, наоборот, начинает надувать уже тебя — и так повторяется не один десяток раз.

Я решил, что мы будем спать на крыше, хотя бы таким образом я хотел успокоить Анжелик, поэтому и вытащил матрас на крышу и таки его надул. И потом я еще несколько минут продолжал сидеть на теплой смоле, пытаясь понять, какие звезды вокруг меня настоящие, а какие не совсем, то есть те, что существуют только в моих глазах от недостатка кислорода. Хотя мне, если честно, было все равно — я не собирался ориентироваться по этим звездам, потому как знал, что позади меня есть железная лестница на шестнадцатый этаж, что там есть квартира, которую мы снимаем с Икарусом у старого алконавта Рулерта, а в той квартире — белокурая Анжелик из телефонной службы доверия, и на душе у нее полное дерьмо. Так о каких на фиг звездах может идти речь?

— Ну и на кой черт ты мне вломила? — пробурчал я. Мы сидели на крыше и смотрели на ночной город, он был похож на гигантскую летающую тарелку, которая напоролась на телебашню и теперь лежит у ее подножия.

— Я? — пододвинулась ко мне поближе Анжелик. — Сказать честно, я не помню, на кой...

— Ох...еть можно... — я в шоке покачал головой.

На нас падал желтый лунный свет, и мне в какой-то момент стало казаться, что мы первые люди, слепленные Всевышним из глины, и что Всевышний забросил нас на крышу этой высотки со словами «ну, милые мои, вы тут себе развлекайтесь», а сам пошел в ближайший паб. И вот как только он оставил нас без надзора, мы вляпались во все возможные и невозможные передряги...

— И вообще, не говори так, — сказала она после паузы.

— Как это — «так»?

— Ну... «ох...еть можно»...

— А почему это я не должен говорить «ох...ть можно», если на самом деле можно ох...еть?

— Неужели так трудно ох...еть и не говорить этого?

— Ну, — пожал я плечами, — вообще-то, конечно, трудно, у меня это наследственное... Вот я ругаюсь, и матушка моя ругалась, и бабушка, наверное, тоже...

— И мой конченый...

— Нет, ты не понимаешь, я сызмальства ругаюсь, с шести лет... У меня, помню, дико болел зуб, матушка привела меня в поликлинику, а на двери у стоматолога висела бумажка «принимает практикант». Я тогда очень смутно представлял, кто такие практиканты... И вот мама сказала: миленький, может потерпишь до завтра? Это же ПРАКТИКАНТ, растуды его налево! Но я только замотал головой и сел-таки в кресло к практиканту. Мама, оперируя фразами «растуды его налево», «сраный зуб», «осторожно, твою мать, усвоил? А не то кишки вырву!», — объяснила ему что к чему, а потом для чего-то добавила, что я очень нервный ребенок, очень-очень нервный ребенок и иногда даже опасный... Практикант как-то загадочно улыбнулся и взял свои садистские щипцы, которые тут же оказались у меня во рту. И тут я почувствовал, понимаешь, почувствовал, что этот недоумок держит не тот зуб, какой нужно, а соседний, я хотел ему об этом сказать, но у меня вышло только «вэуавуэ!!!» «Да-да, — покачал головой практикант, — меня предупредили, что ты очень нервный ребенок, очень-очень нервный, а иногда даже опасный... Только не вздумай кусаться...» И тут же резким движением выдрал мне здоровый зуб... Несколько минут я был в ауте, потом кое-как слез с кресла, практикант в это время подвалил ко мне и, показав мне выдранный зуб, спросил: ну как, дурачок ты нервно-опасный, больно было? «Ё...ное ты чмо», — ответил я и изо всех сил ввалил ему с ноги по яйцам... Мне тогда было шесть, и в принципе я ни о чем не жалею...

Рассказав эту трогательную историю до конца, я скосил глаза на Анжелик, но она уже спала или по крайней мере делала вид, что спит, притулившись у меня под боком. Я уложил ее на матрас и укрыл пледом, который предусмотрительно захватил из дома. А потом еще долго лежал рядом с ней, глядя на глубокое-глубокое небо, оно казалось мне прозрачной водой с неисчислимым множеством жемчужин, моих жемчужин. И я знал, что ни у одного сумасшедшего ныряльщика не хватит кислорода, чтобы их достать. Я думал об этом и почему-то ловил такой кайф, будто у меня были тонны золота во всех самых мощных банках мира.

Утро встретило меня не очень приветливо. Я, кажется, уже говорил, что, просыпаясь, люблю еще какое-то время лежать с закрытыми глазами.

— Это что за херня? — услышал я где-то над собой. Я зевнул, но глаз не открыл.

— Это что за херня? — прозвучало еще раз, однако уже более настойчиво. К словесному пассажу добавились шаги, засеменившие вокруг матраса. Новый день начинался с риторических вопросов, и мне это не очень нравилось.

Приоткрыв один глаз, я убедился, что Анжелик спит, свернувшись калачиком у меня под боком. Пришлось открыть глаза. Это дало определенные результаты, не скажу что приятные. Справа от себя я увидел невысокого мужика в грязной фуфайке и шапке-петушке. Поскольку на дворе было за двадцать, то «петушок», наверное, был частью имиджа. Жара — ничто, имидж — все... Меня почему-то опять тянуло на рекламные слоганы...

И тут мужик вдруг стал уверенно расхаживать вдоль нашего матраса. Создавалось впечатление, что он считает себя полным хозяином ситуации. Что я надул матрас и улегся спать с Анжелик не на крыше своего дома, а скажем, посреди его собственной гостиной, и вот теперь он нас застукал, надел для солидности свой петушок и выдвигает предъяву: мол, что за хрень? Не в состоянии хоть как-то объяснить его появление, я спросил шепотом, чтобы не разбудить Анжелик:

— Мужик, ты кто?

— Да кто-кто... Начальник ЖЭКа! — авторитетно заявил он.

— Жека? — переспросил я.

— Да-да, ЖЭКа! А вот вы кто?

— Ну, мы как бы люди, — спокойно и не менее авторитетно объяснил я.

Потом осторожно вынул из-под головы Анжелик свою руку, вылез из-под пледа, сделал несколько шагов онемевшими ногами, почесал задницу, зевнул и снова почесал задницу... Начальник Жека в это время осмотрительно отступил на безопасное расстояние... Наверное, мои телодвижения показались ему угрожающими.

— Послушай, Жека, который час?

— Ты шо, наркоман? — недоверчиво поинтересовался начальник Жека.

— Не понял, — сказал я, — у тебя что, нормальные люди разве не спрашивают, который час... только одни наркоманы?

— Нет, но где ты, бля, увидел Жеку?

Мужик покачал головой, снял наконец своего демонского петушка, пригладил редкие волосенки, прикрывающие лысину, и объяснил:

— Маладежь, зовут меня Анатолий Петрович, и я главный в ЖЭКе, я в нем всем командую, понятно?

Меня дико сушило, я еще не успел как следует проснуться и поэтому не совсем въезжал в то, что он говорит.

— Послушай, — прервал он мои размышления, — выметайтесь, выметайтесь отсюда по-ско-ре-е! Сейчас сюда придут мои рабочие, я ими командую, потому что я начальник ЖЭКа... Они будут ремонтировать крышу...

Я осторожно разбудил Анжелик и стал сдувать матрас. Она стояла рядом со мной, закутанная в плед, и по-моему, абсолютно не понимала, где она и что вообще происходит. Объяснить ей хоть что-нибудь я не решался, потому что и сам вконец запутался.

— Я еще сплю? — спросила она.

Но я только пожал плечами.

Дверь тамбура была распахнута настежь. Это совсем не похоже на наших боязливых и тупых, как утки-мандаринки, соседей. Те всегда запирали дверь на три замка — обычный, секретный и секретный номер два, а когда мы с Икарусом забывали это сделать, то они делали это за нас... И в таком случае они всегда говорили: мы люди БЕДНЫЕ, воровать у нас НЕЧЕГО... НО ДВЕРИ ВСЕ ЖЕ ПУСКАЙ БУДУТ ЗАПЕРТЫ! И ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ВСЕ ТРИ ЗАМКА: ОБЫЧНЫЙ, СЕКРЕТНЫЙ И СЕКРЕТНЫЙ НОМЕР ДВА!

Я вошел в тамбур первым, Анжелик, завернутая в плед, как ацтекский жрец,

двигалась позади. И тут выяснилось, что дверь нашей с Икарусом обители вообще висит на одной петле. Матрас как-то сам выпал у меня из рук, и я стал хаотически шарить руками в воздухе, пытаясь нащупать огородные орудия труда наших соседей, которые обычно стояли в углу и которые мы с Икарусом, возвращаясь домой в подпитии, как правило, с грохотом роняли на пол. Тогда соседи, наверное, прятались по своим кладовкам, думая, что кто-то пришел по их души. Первым, что попалось мне в руки, была лопата.

— Блин, — устало прошептала Анжелик. — То этот дебил Жека, то теперь ты размахиваешь лопатой... Может, хватит на сегодня цирка?

— Тс-с-с, — цыкнул я на нее, впрочем, она сама все уже поняла и испуганно застыла на месте.

Держа лопату наперевес, как тяжелое легионерское копье, и слушая бешеный стук собственного сердца, я пробрался сначала на кухню. Пол был покрыт обломками разбитых табуреток, рассыпанным кофе и осколками наших с Икарусом чашек. Стол, правда, стоял на месте, посредине красовалась единственная уцелевшая тарелка — к тому же, моя любимая, с Мальчишем-Кибальчишем, но в нее кто-то нагадил... В мою любимую, бл...дь, тарелку, которую я так любил с самого детства... Я сглотнул комок в горле и сам не знаю почему уже совсем спокойно перешел в комнату... По ней, подхваченные ветром, врывающимся в разбитое окно, как живые, летали страницы наших с Икарусом распотрошенных книг. Справа валялась расхреначенная стереосистема, прикрытая разодранной одеждой, а перед балконной дверью... Мои двигатели на какое-то мгновение остановились, и мне даже показалось, что я вдруг умер, впрочем, сразу же и ожил...

Перед балконной дверью лежал Мяуцзедун. Он лежал в лужице крови, неестественно выгнув спину и оскалившись... Наступая на книжки, я подошел к нему и встал на колени... Перед моими глазами опять замерцали желтые и фиолетовые звезды, хотя я не надувал матрас, я просто смотрел на своего убитого кота, который умер, умер, бл...дь, обороняя нашу территорию от каких-то ублюдков, которые неизвестно почему к нам придолбались... Шок был вселенский, и я ничего не мог с собой поделать, я не мог подняться, даже пошевелиться, я продолжал неподвижно стоять на коленях даже тогда, когда в комнату вошла Анжелик и коснулась моего плеча... Увидев мертвого Мяуцзедуна, она тихо вскрикнула и тоже застыла. Так мы стояли еще какое-то время, а дух Мяуцзедуна, если он, конечно, еще не успел попасть в кошачий рай, должен был летать вокруг нас и ластиться к нашим ногам, рукам и щекам. Мы, правда, не могли этого чувствовать, поскольку были еще живы.

Из оцепенения нас вывело какое-то шарканье в коридоре... Я подскочил и схватил первое, что попалось под руку, — это был телескоп Икаруса...

— Извините, — забормотал трусливый и тупой, как селезень-мандаринка, сосед, — вы случайно не знаете, куда подевалась наша лопата?

Мяуцзедуна я положил в красную коробку из-под своих «левисов», а коробку — в пакет с рекламой компартии, другого целого, к сожалению, не нашлось. Я просто собирался похоронить своего кота... Анжелик минут пятнадцать тому назад поехала домой. Я дал ей чудом уцелевшие джинсы и достал с антресолей кеды. Но если джинсы можно было подвернуть и подвязать поясом, то кеды были на шесть размеров больше. Завершала нехитрый прикид моей маленькой, а после смерти Мяуцзедуна я почему-то решил, что буду называть ее своей маленькой, так вот, завершала ее нехитрый прикид моя рубашка-милитари. Анжелик поехала домой, чтобы взять хоть какие-то свои вещи, ее конченый старик в это время должен был убраться на работу, а через несколько часов мы

с ней договорились встретиться возле «Металлиста»... Просто утром на мобилу Анжелик неожиданно позвонил Икарус. Наверное, каким-то образом сумел зарядить наш телефон и откопал ее номер в памяти. Я в нескольких словах пересказал ему все случившееся, и тут Икарус почему-то передал трубку Яцеку. Пришлось повторить все еще и ему. «Слышишь, — сказал я ему в конце, — они забили моего кота, насмерть...» Тогда Яцек в два счета похерил своего Кришну и сказал, что выручит нас, обязательно выручит, он все-таки был нормальный чувак, этот Яцек. В конце концов, ловить мне на этой квартире было нечего. Уцелевших вещей почти не осталось... Я с трудом нашел еще одни джинсы и футболку, на спине у нее, правда, чернел след от спортивного ботинка. Выходя из квартиры, я чувствовал, что в дверной глазок за мной следят тупые утки-мандаринки, следят и, наверное, боятся, что я опять возьму их долбаную лопату. Тогда я развернулся, влепил кулаком в глазок и услышал испуганный вскрик за дверью.

Как выяснилось, моя затоптанная футболка не привлекала ничьего внимания. Все, наверное, думали, что так и надо, что это, блин, новый концептуальный шаг в современной моде, какая-то новая ультралиния... Чего не скажешь про мой отечественный коммунистический целлофановый пакет, взглянув на который сознательные старперы начинали одобрительно кивать. Как на зло, у них проходил митинг у памятника солдату. Именно туда торопился какой-то дедок в галифе и спортивной куртке adidas. «Да здравствует Ленин, сынок!» — воскликнул он, увидев мой пакет. «Аминь, дед!» — ответил я и нырнул в подземку.

На станции было прохладно и воняло чем-то паленым, а на металлических скамейках под монитором, свисающим с потолка, устроилась целая цыганская семья, человек, наверное, пятнадцать, не меньше. С монитора фигачили «Крэнбэрисы», и цыгане от этого тащились. Я цыган ненавидел, впрочем, если они тащились от «Крэнбэрисов», значит они что-то понимали в этой дурацкой жизни... И тут на мою футболку все-таки обратили внимание... Это была не какая-то там девушка, не какой-то гей и даже не какой-то цыган. Хуже. Это был мент. Он подошел ко мне и козырнул. Какой-то узбек, хотя нет, наверное, казах или татарин, хотя и таджиком он тоже мог быть. Что-то у меня хреново с ними в последнее время, так недолго и расистом стать. Глаза у него были узкие и хитрые, а скулы забавно так выпирали... Я никак не мог понять, то ли он такой всегда, то ли просто бухал и опух или же выражает таким образом восторг по поводу моей ультрамодной затоптанной футболки.

— Младший сержант Галимизянов, — отрекомендовался он.

«Крэнбэрисы» в это время жахнули басами, и потому мне послышалось: младший сержант Галимая Обезьяна.

— Очень приятно, — какого-то черта брякнул я, но тут же почувствовал себя абсолютно некомфортно.

Галимая Обезьяна, похоже, офигел от такой наглости и потому выпалил:

— Ваши документики...

— Пожалуйста, — парировал я и вручил ему удостоверение журналиста газеты, где уже не работал.

Младший сержант Галимая Обезьяна почитал, шевеля губами, потом отдал мне удостоверение и глянул на мой комуняцкий пакет.

— Што везете? — поинтересовался он. — Агитацию?

— Вам честно сказать? — спросил я.

— Канешно честно, с милицией нечестно нельзя, — поучительным тоном сообщил он.

— Хорошо, — пожал я плечами. — Я везу кота, дохлого кота, порода

сибиряк, черно-белый такой кот, он героически погиб, и вот теперь я еду на похороны, хочу похоронить его со всеми почестями, понимаете?..

У Галимой Обезьяны отпала челюсть, потом его глазенки сузились настолько, что вообще исчезли, он несколько раз спазматически втянул в себя воздух и... стал хохотать. Хохотал он так громко, что перекрыл даже «Крэнбэрисов»... «Крэнбэрисы», наверное, обиделись, потому что исчезли с экрана и пошла реклама. На нас зыркнули недовольные цыгане. Когда подошел поезд, младший сержант Галимая Обезьяна все еще продолжал тащиться. Казалось, сейчас я мог сделать все — вытащить у него «макар», забрать дубинку, сорвать его дурацкие сержантские погоны — он бы ничего не почувствовал. Но я просто зашел в вагон и поехал.

Совсем неожиданно выяснилось, что я еду в одном вагоне с цыганами, что они всюду, что я в окружении... Я чувствовал, как они ощупывают взглядами меня всего, ищут мои карманы и заглядывают в мой комуняцкий пакет. Рядом со мной по обе стороны сидели замурзанные дети, чей возраст, как, впрочем, и пол, определить было довольно трудно. Напротив расположилась, скорее всего, мать семейства — толстая и нахальная цыганка, рядом с ней сидел ее сынок лет тринадцати, у него на носу какого-то лешего было нацеплено что-то типа пенсне, слева сидела ее дочка лет пятнадцати, у нее были сиськи размера так четвертого, не меньше. И тут началось.

— Дядь, — сказало левое замурзанное, — дай десять копеюшечек.

— Не дам, — буркнул я.

Я снова начинал ненавидеть цыган, хотя они только что слушали «Крэнбэрисов».

— А мне, дядь? — дернуло меня за рукав правое.

— И тебе тоже.

— Ма, он такой жадный, патаму шо камунист, — сказал сынуля в пенсне.

«Значит, не выпендривается, — подумал я, — значит, начитанный ботан...» — и показал ему фак.

— Ма, он мне палец показал! — вякнул тот.

— Палец? — переспросила мать.

— Да-да, палец, — ябедничал ботан в пенсне.

— Слышь, маладой-красивый, — глянула она на меня, — как проехать на Журавлевку?

Я не верил, что начитанный ботан, употребляющий слово «камунист», не знает, как проехать на Журавлевку.

— Не знаю... — ответил я.

— А скока время? — продолжила допрос она.

— Не знаю...

— А сигаретка у тебя есть?

Слава богу, другая половина их династии ехала в соседнем вагоне, поэтому я героически держал оборону.

— Не знаю...

— Ты шо, не знаешь, есть ли у тебя сигаретка?

— Не знаю...

— Или ты бальной? — допытывалась цыганка.

— Не знаю...

— Мам, он не бальной, он камунист, — подтявкнул ботан.

Я еще раз показал ему фак и понял, что пора переходить в наступление. Обладательница сисек четвертого размера не сводила с меня глаз с той самой минуты, как тронулся поезд, наверное, хотела меня загипнотизировать. Я плотоядно облизал губы и подмигнул ей.

— Слушай, мать, — сказал я цыганке, — а погадай-ка мне...

— А деньги есть? — встрепенулась она.

— Нет, — ответил я, — бабок нет, зато есть кроссы, «левисы», сто баксов, новенькие, не ношенные, твой бо... — я чуть не сказал «ботан», — твой сын подрастет, как раз на него будут, — и показал из комуняцкого пакета коробку из-под «левисов».

— Харашо, — немного удивилась цыганка. «Сорри, Мяуцзедун, сорри, брат...» — мысленно произнес я. — Давай руку, — сказала она.

Я протянул ей правую. Пришлось наклониться вперед, и я снова подмигнул обладательнице сисек четвертого размера, теперь они были еще ближе ко мне. Остальные пассажиры наблюдали за нами, как за шайкой разбойников... Уверен, что некоторые даже проезжали свои остановки, чтобы только узнать, чем все это закончится.

Она долго-долго рассматривала мою руку, казалось, это будет длиться целую вечность, но в конце концов глянула на меня, и я заметил, что ее глаза как-то виновато бегают.

— Очень скоро, — сказала она, — тебя ожидает что-то очень-очень большое, красивый-дарагой...

— А потом? — спросил я, усмехнувшись.

— А потом, потом... — замялась она. — А чтоб я знала, что потом...

Я убрал руку. Мы как раз приехали на станцию «Конный рынок». В детстве я всегда думал, что здесь должны продавать лошадей, и меня очень раздражало, что там продают то же дерьмо, что и везде. Двери открылись, я пододвинул ногой свой комуняцкий пакет к цыганке и вышел. За мной вышла добрая половина вагона, наблюдавшая за действом... И я очень надеялся, что они не станут меня преследовать хотя бы до того момента, когда я встречу что-то большое, очень-очень большое, как мне обещала цыганка...

Анжелик ждала меня у обшарпанного «Металлиста», сидя на железной ограде. Теперь она была в джинсовом комбинезоне, поверх которого надела мою рубашку-милитари. У ее ног, прямо в пыли, валялся небольшой дорожный рюкзак. Анжелик слезла с ограды, спокойно сделала несколько шагов, а когда оказалась рядом, просто повисла у меня на шее.

— А я вот волновался за тебя, — прошептал я ей на ухо, — целый день волновался.

— А я вот по тебе соскучилась... — ответила она, имитируя мои интонации.

— Что с твоим конченым стариком? — не сдержался я в какой-то момент.

— Да не сдох еще... — ответила она и укусила меня за ухо.

— У каждого своя карма... — ответил я, взял ее рюкзак, и мы пошли пыльными улицами этого спортивно-цыганского района в поисках кришнаитского фургона.

Мне нравилось, когда она была простая и жестокая. Это ей очень шло. Ей шло быть настоящей, в комбинезоне и рубашке-милитари, с волосами, подвязанными в два детских хвостика, которые наивно пахнут детским шампунем... «Сидеть в кафе и читать умные книжки — это не для нее, это не ее, — думал почему-то я... А тем паче прозябать в своей телефонной службе доверия, выслушивать чьи-то откровения, когда у самой на душе кошки скребут». Мне нравилось слышать от нее простые слова — «я по тебе соскучилась», «еще не сдох», без никаких, короче, «хочешь об этом поговорить?» И правда, х...ли тут можно говорить, х...ли тут можно выдумывать, если она просто по мне соскучилась, а конченый старик, который ее бьет, просто взял и не сдох, хотя она очень на это надеялась... Да не о чем тут говорить...

В этот раз Яцек припарковался на узкой дороге между полузаброшенным заводом и кленовыми зарослями, где текла вонючая флегматичная речка. Его фургон был похож на гигантского жука, спрятавшегося в какую-то щель в надежде что жизнь не размажет его галимой газетой, похожей на ту, где я работал.

Вонмобиль оказался запертым, внутри, похоже, никого не было. Потому я встал на колени и сунул руку за подножку, там должен был быть рычаг, которым Яцек открывал дверь. Дно фургона было холодное и грязное, но рычаг я нащупал на удивление быстро. В дверном механизме что-то зашипело, я открыл дверь, нажав на нее руками. Анжелик запрыгнула на ступеньки первой, а я, подняв ее рюкзак, который казался не таким тяжелым, каким был на самом деле, полез в фургон следом. «Может, — думал я, — может, Анжелик просто блефует? Может, она замочила своего конченого старика, порубила его на куски и сложила в этот вот рюкзак? А теперь вот делает вид, что ничего не произошло... Надо будет обязательно посмотреть, что в нем. Иначе будут возникать новые заморочки... Ну, вот встретимся мы, например, еще раз с младшим сержантом Галимойобезьяной... Вариант с котом еще как-то прошел, но что будет, если я скажу: "Ну, знаете... в этом рюкзаке, ну... в нем, короче, порубленный на куски конченый папаша вот этой девушки... Она его убила, потому что он ее бил... Вряд ли тогда Галимаяобезьяна будет ржать, хотя кто его знает..."» Размышляя об этом, я натолкнулся на спину Анжелик, застывшую в проходе. Точнее, на попку, обтянутую джинсовым комбинезоном.

— Привет... — как-то неуверенно произнесла Анжелик, адресуя свое приветствие неизвестно кому.

— Иди к черту! — отозвался незнакомый тонкий, но довольно уверенный голос откуда-то из нутра фургона.

Тогда я скинул рюкзак (неизвестно с каким грузом) в дорожную пыль, подтолкнул джинсовую попку вперед и тоже сунулся в фургон. В самом его конце, возле шкафчика, где Яцек хранил свою *нормальную* еду, стояло нечто... Я вконец растерялся и не знал, как это «нечто» можно обрисовать. Раньше я, скажем, видел на картинках сфинкса — льва с головой женщины, я даже видел в мультике химерное существо под названием кот-пес, но это было и впрямь «нечто»... с потрясающим женским телом, но лицом ребенка... ее лицо было до неприличия детским, лет на одиннадцать, но ниже... и эта розовая блузка с глубоким декольте... Создавалось впечатление, что странная незнакомка собирается залезть в Яцеков шкафчик, где, как любой нормальный ребенок, рассчитывает найти шоколад, сгущенное молоко или еще какие-нибудь сладости и даже не подозревает, что вместо этого там *нормальная* еда... ДЕКОЛЬТЕ... Перед ней, как сторожевой пес, сидел парализованный Сигнал... ДЕКОЛЬТЕ... Причем с таким самоуверенным выражением на своей плоской французской морде, как будто он в самом деле мог что-то предпринять... если она полезет в их шкафчик... и начнет уничтожать запасы *нормальной* еды... декольтедекольтедекольте...

— Нечего пялиться, — буркнула Анжелик и дала мне подзатыльник, — ты что, не слышал, она послала меня к черту...

— Как тебя зовут? — я с трудом перевел глаза с ее до неприличия взрослых грудей на ее до неприличия детское лицо.

— Иди к черту! — повторила она.

— Ну, а какое-то сокращенное имя у тебя все-таки должно же быть? — процедила сквозь зубы Анжелик...

— Мой папик ва-а-ас порве-е-ет!!! — заверещала она и затопала ногами перед самым носом у удивленного Сигнала. Тот с трудом развернулся и, как

миниатюрный тюлень, перебирая передними лапами, отполз ближе к нам, вероятно, думая, что мы сможем ему помочь.

— Ты, — сказал я, — своим папиком нас не пугай... Пугал нас уже один папик, и где он теперь? Знаешь?

«Нечто» только гневно хмыкнуло.

— Выгляни в окно, — продолжал я, — и ты увидишь там рюкзак, в котором лежит он, порубленный на куски...

— Что за чушь ты несешь? — возмутилась Анжелик. — Какой еще порубленный папик?

Заметив наши несогласованные действия, «нечто» довольно спокойно сказало:

— Мой папик... он порубит вас на такие кусочечки, что вас можно будет закрыть в трехлитровые банки... А потом кормить этого бульдога.

— Этот бульдог не ест мяса, он вегетарианец, — объяснил я.

— Не может быть! — удивилось «нечто».

— Еще как может! Хочешь об этом поговорить? — спросила Анжелик со злостью.

«Нечто» на какое-то мгновение растерялось, но тут же выпалило:

— Не хочу!!! А как, кстати, поживает ваш котик? Ну, тот, что на квартире у Икаруса жил.

Тут мне в который раз за сегодняшнее утро показалось, что я на мгновение умер, а потом неожиданно воскрес. В каком-то бешеном порыве я схватил первое, что попало мне под руку, кажется, яблоко, с кушетки и шарахнул его с такой силой, что, когда оно ударилось над головой капризной малолетки, то разлетелось на мелкие кусочки... Малолетка испуганно присела. Сигнал заполз под кушетку, наверное, недоумевая, почему это я бросаюсь *нормальной* едой, а Анжелик прижала меня к стене, пристально глядя мне в глаза.

— Девочка, слышишь, девочка... уходи отсюда... — сказала она, выразительно артикулируя каждый звук, — иди к своему папику и не возвращайся...

— Да не могу я никуда пойти!!! — чуть не взорвалась от бешенства малолетка и показала нам правую руку, прикованную наручниками к шкафчику, где Яцек хранил *нормальную* еду.

Мы с Анжелик в недоумении переглянулись, не представляя, что бы это могло значить.

«Одно из двух, — пытался сообразить я, — или ее приковал здесь Яцек, или она сама себя приковала». Яцек к своему шкафчику приковать ее не мог, это однозначно, потому что здесь и без нее полно негативных флюидов. Выходит, она сама себя приковала.

У нас за спиной послышались чьи-то шаги, и мы с Анжелик нервно оглянулись, потому как неизвестно, чьего еще появления можно было ждать в этом разбойничьем фургоне. К счастью, это были свои.

— Какого черта, чуваки? Вы что, долбанулись? Вы что натворили? — кричал я, когда мы с Яцеком и Икарусом сидели на поваленном дереве за поворотом, у заводской стены. Анжелик и Кэт остались в фургоне.

— Это Сабрина, — коротко пояснил Икарус.

— Да понял я, что Сабрина, но как она там оказалась?

— А он ее похитил, — буркнул Яцек.

— Я ее не похищал, — сказал Икарус.— Просто так получилось.

— Но как?— не мог понять я.

— Ну, как... Очень просто... — стал объяснять хозяин фургона. — Едем мы себе спокойно, а он вдруг говорит: остановись, пожалуйста, на пару минут... И

через секунду тащит ее в фургон и кричит, чтобы я захлопнул дверь... Ну, дверь-то я захлопнул, но она начала все крушить, потому и пришлось пристегнуть ее наручниками к шкафу...

— А наручники где вы, черт побери, взяли?

— Как это где? — удивился Яцек так, будто каждый добропорядочный кришнаит должен иметь при себе наручники. — У меня в бардачке.

— Ну, и на кой хрен тебе наручники? — как-то совсем обреченно спросил я, хотя к делу это вовсе не относилось.

— Мне неприятно об этом вспоминать, — замялся Яцек, — но тогда... ну, я имею в виду, в моей прошлой жизни... так вот... некоторые из этих... ты понимаешь, о ком я говорю... они, ну, короче, любили, чтобы их пристегивали наручниками к кровати... или к батарее... это уж как кому нравилось...

После таких слов все надолго замолчали, а мы с Икарусом стали сосредоточенно курить... Одну за другой. Пачка наконец кончилась.

— А я вот думаю, не потребовать ли за нее выкуп? — сказал Икарус.

Мы с Яцеком только молча переглянулись. Кришна с Биллом Дауном, если они, конечно, за нами еще наблюдали, наверное, тоже.

Тогда Яцек предложил свою, чисто кришнаитскую версию действий.

— Самым разумным будет, — сказал он, — высадить ее за несколько кварталов от дома...

— Зачем? — не сразу въехал Икарус.

— Ну, высадить ее за несколько кварталов от дома, но голую...

Все снова замолчали.

— А что ты об этом думаешь? — спросил Икарус, когда тишина стала уже просто нестерпимой.

— Да пошли вы все... — сказал я. — Вот что я об этом думаю...

— Да? — подскочил Икарус. — А что?.. А вот как? Как теперь нахрен выкрутиться?

— Ну, — развел я руками, немного подумал и улыбнулся, — давайте порубим ее на куски и спрячем в рюкзак...

— Чуваки, а может все-таки без мяса? — как-то неуверенно улыбнулся Яцек.

Короче, мы решили остановиться на чисто кришнаитском варианте — ни больше ни меньше...

Но сюрпрайз от Кэт и Анжелик нас просто убил. Сидя вдвоем на пыльной подножке вонмобиля, они встретили нас шквальным огнем, перебивая друг друга.

— Эта маленькая сучка нас достала, — раздраженно сказала Кэт.

— И мы ее выгнали нафиг! — не менее раздраженно добавила Анжелик, когда они немного успокоились.

У всех у нас одновременно, то есть у меня, Икаруса и Яцека, отвисли челюсти...

— Ну, надеюсь, хотя бы голую? — как-то совсем безнадежно спросил Икарус...

— Нет, с куском шкафа... — виновато потупилась Кэт.

Яцек только развел руками.

— Но почему? — никак не мог понять я.

— А что же нам было делать?! Она долго рассказывала, как ее папик всех нас будет пытать, а меня и Анжелик зашлет в турецкий бордель, где нас будут трахать турки... — объяснила Кэт. — «Скорей бы уж, — съязвила я, — говорят, турки клево трахаются»... «Ах так! — завелась эта малолетка... — А какую, ну вот какую музыку вы слушаете?» Я сказала — Бреговича, а Анжелик — «Биг дедди Кинси»... «Так вот, — выпалила она, — твой Брегович — голубой, а Бег Педик Инси и

подавно, у него даже имя такое! Они ГО-ЛУ-БЫ-Е! И когда приезжают на турецкие курорты, то трахаются с турками!!!» «Ну, а сама ты что слушаешь?» — спросила Анжелик... И знаете, что она ответила? «"Рэд Элвисов", — сказала она. — Может, это и старомодно, но они, во всяком случае, не голубые... Они красные, хотя вы этого *все равно не поймете»*. «А как же "Смэш"? — спросила я тогда. — Ты что, уже не слушаешь "Смэш"?» Дальше я даже понять ничего не успела — она прыгнула в мою сторону и вырвала дверцу шкафа, к которой была прикована... Мы с Анжелик насилу выпихнули ее из фургона... Вот и все, — героически шмыгнула носом Кэт так, будто она спасла от террористов целый американский аэробус, а не выбросила из фургона безбашенную малолетку с висящей на ней дверцей от шкафа...

Аплодисментов, разумеется, не было.

В этот же вечер мы решили сваливать из города, который теперь не мог дать нам ничего, кроме еще больших неприятностей и заморочек... Может быть, не навсегда, но хотя бы на некоторое время, пока все не утрясется... Яцек осторожно пробирался заводскими кварталами к неандертальским окраинам города, откуда можно было выехать на большую трассу, которая давала шанс хотя бы на что-то — скажем, на несколько дней спокойной, нормальной жизни, хотя в нее — спокойную жизнь — я постепенно перестал верить, как перестаешь верить в свой футбольный клуб или в собственного бога, если они несколько раз капитально облажаются...

Незадолго до того, как город окутала тьма, начался ливень. Он был такой плотный, что казалось, воздуха вообще не существует... Что мы просто двигаемся по дну океана на батискафе, и его стенки вот-вот не выдержат бешеного натиска небесных вод и разлетятся на куски. Мы ехали со скоростью двадцать кэмэ в час, а видимость была всего несколько метров. Яцек, широко раскрыв глаза, всматривался в стену воды, несущуюся нам навстречу, и часто зевал.

На самом выезде из города мы остановились перед супермаркетом. Яцек повернулся ко мне:

— Баз, нужен кофе. Я хочу ехать всю ночь, понимаешь?

— Зачем? — удивился я.

— Увидишь, — он загадочно улыбнулся. — Сбегай, купи кофе и поедем.

Я взял бабки и выскочил прямо под ливень. Супермаркет был похож на большой круизный лайнер, который сел на рифы, продолжая мигать во тьме своей иллюминацией. За те несколько метров, что я пробежал до автоматических дверей, на мне сухой нитки не осталось. Поскальзываясь и оставляя на светлой кафельной плитке торгового зала небольшие лужицы, я стал искать стеллаж с кофе. Радовало уже хотя бы то, что нигде не было видно красного мопеда... Когда же я проходил мимо морозилки с креветками, меня чуть не стошнило.

Я не верил собственным глазам, но все-таки это была она... Не знаю, может ей и в самом деле удалось взорвать тот супермаркет, в моем квартале, и теперь она перебралась сюда, трудно сказать. Может, она вообще загорелась идеей взорвать все маркеты этого города, а потом — и всей страны. И клянусь Биллом Дауном, если бы мне не надо было бежать, я бы с удовольствием помог ей это сделать.

Я очень осторожно подошел к ней сзади и закрыл ей глаза ладонями.

— И все-таки, — прошептал я, — ее *можно* есть...

Она дотронулась своими прохладными пальцами до моих рук и осторожно спросила:

— Что есть?

— Ну, ту зубную пасту с бобром на упаковке, помнишь?..

Тут она отвела мои руки и обернулась с какой-то неоднозначной улыбкой. Если честно, я даже не знал, чего от нее ждать — может, она дала бы мне по морде, а может, бросила бы за пазуху моей растянутой футболки гранату Ф-1. Кто знает, а вдруг я был для нее невидимым противником? А может, просто бы поцеловала... Впрочем, с другой стороны к нам уже приближался какой-то карлик в очках с толстой оправой. Фирменный галстук доставал карлику чуть ли не до колен. Он подошел и встал напротив нас. Какое-то время продолжалась немая сцена, голова карлика была как раз на уровне ее груди — груди рекламного агента теперь уже этой компании.

— Мы взяли тебя сюда не для того, чтобы ты устгаивала цигк, а для того, чтобы ты гекламиговала пгодукцию нашей компании... — прокартавил он.

Я не стал ждать продолжения, а взял карлика рукой за голову, и та оказалась у меня где-то под мышкой. Я даже представил, что это вовсе не голова, а футбольный мяч, потерявшийся на кладбище, когда наши играли с «чегкасами».

— Сколько? — спросил я у рекламного агента, глядя ей прямо в глаза и чувствуя, как карлик начинает сопротивляться, потому зажал его репу покрепче.

— Что, сколько? — не сразу сообразила она.

— Ну, сколько стоит этот карлик? Я его хочу...

— Хочешь карлика? — недоверчиво спросила она.

— Хочу купить! — уточнил я.

— Я не пгодаюсь, я менеджег... — прохрипел карлик у меня из-под руки.

— Слышишь, менеджер, — сказал я, — я чрезвычайно плохо разбираюсь в рекламе и маркетинговых технологиях, зато знаю одно очень важное правило: *клиент всегда прав*!

— Да-да, — закивал карлик своим футбольным мячом у меня под мышкой, — клиент для нашей фигмы пгежде всего.

— Так в чем же дело? — поинтересовался я.

Карлик отчаянно засучил ногами, все-таки вырвался и стремглав куда-то помчался, исчезнув меж стеллажами с презервативами и свежими газетами, среди которых была и та, где я недавно работал, с астропрогнозом для Козерогов, разумеется...

— Ну что, — спросила меня рекламный агент, с трудом сдерживая смех, — как всегда?

— Конечно, — кивнул я. — Пять пакетов...

— Целый килограмм кофе? — вытаращился Яцек.

— Скажи спасибо, что я не купил карлика, — устало ответил я.

— Какого еще карлика? — не понял Яцек.

— Маленького такого, с отрицательными флюидами...

— Ложись спать, флюид! — Он улыбнулся, взял один пакет, а остальные бросил под лобовое стекло, туда где спал Сигнал, уткнувшись носом в бумажку, свидетельствовавшую, что Яцек уже целый год ездит без техосмотра.

Анжелик приготовила нам кофе, залезла ко мне на переднее сиденье, обняла мое мокрое плечо и засопела. Аромат кофейных зерен мешался со сладкотерпким запахом ее волос.

Я смотрел в правое зеркало и видел в нем Яцека. Я не сказал ему этого, но, каким бы ни был Кришна, он, Яцек, сын польского рабочего и украинской сумасшедшей, держа одной рукой чашку кофе, а другой направляя наш фургон в необъятные ночные просторы сонной, накрытой дождем страны, выглядел намного круче, чем Кришна. О том, как в это время выглядел я, мне почему-то

совсем не хотелось думать. Странным было только то, что, уезжая неизвестно куда, рядом с чуваком, который кажется тебе круче самого Кришны, рядом с девушкой, которая, кажется, тебя любит, и рядом с парализованным французским бульдогом, который питается *нормальной* едой, я засыпал и ловил себя на том, что никогда еще не чувствовал себя так уютно. И если бы я вообще завтра не проснулся, мне, наверное, не было бы страшно...

Но все-таки я проснулся... В ту минуту рядом со мной никого не было. Я глянул в лобовое стекло и увидел серый утренний воздух. Метрах в пятнадцати передо мной он был такой плотный, что казался живым и подвижным. Даже не обуваясь, я поспешил выбраться наружу и вдруг понял, что это вовсе не воздух...

Это было море... потому что воздух не может так перетекать...

Море, которое я видел впервые в жизни.

Я никак не мог поверить, что это море, поэтому решил пройтись вдоль берега, чтобы убедиться, что он не закончится, неожиданно не исчезнет, что все это — настоящее. Анжелик и Кэт, оставив одежду на берегу, купались голышом в его ласковых волнах. Яцек и Сигнал молча сидели на крыше фургона, устремив взгляд куда-то за горизонт, а Икарус строил из песка замок. Далеко, где-то в самом конце пляжа, стоял одинокий шезлонг, в нем кто-то лежал. Я почему-то пошел в том направлении.

А в шезлонге возлежал ас по ОБЖ. Если честно, я бы не так удивился, если бы увидел Кришну или, на крайняк, придурка Билла Дауна... Ас лежал с закрытыми глазами и неспешно пил «офицерское» пиво... На его черепе была старая бейсболка с надписью USA и надтреснутым козырьком. Мне сразу же захотелось найти медузу и бросить ему на голое пузо. Кто знает, может быть, он попробовал бы у себя отсосать... Впрочем, я плохо знал географию и абсолютно не представлял, водятся ли здесь медузы... К тому же, спросить какое это море можно было только у него, у аса по ОБЖ.

— Отойди, — неожиданно сказал он, не открывая глаз, — ты заслоняешь мне солнце...

— Но солнце же еще не взошло, — сбитый с толку, возразил я.

— Еще не взошло, — объяснил он, все еще не открывая глаз, — но через семь минут взойдет, и тогда ты будешь заслонять мне его первые лучи, а они самые полезные...

— Но что, что вы здесь делаете? — никак не мог поверить я.

— Я здесь отдыхаю. Лежу и жду, когда взойдет солнце, потом целых сорок минут буду загорать. Двадцать на спине и двадцать на животе. Дальше солнце станет радиационным, и тогда я уйду в гостиницу... Другой вопрос, что делаешь здесь ты?

Мне захотелось сказать ему в ответ что-то такое, что заставило бы его почувствовать себя беспомощным, что, наконец, дало бы ему понять — не все в твоих руках и далеко не все идет по твоему плану... И, может, даже намного хуже... Немного подумав, я ответил:

— А я тут скрываюсь.

— От кого? — спросил он, все так же не открывая глаз. Мне показалось, что он вообще-то зажрался.

— От воображаемого противника... И пытаюсь ни о чем не думать...

— От воображаемого противника? — переспросил он. — Это как же?

— Ну, — сказал я, — вся наша жизнь — это когда на тебя наступают невидимые, воображаемые враги. Этому даже в школе учат. Вы же должны были учиться в школе? И вот они наступают, а мы должны оборонять свои метры и кубомет-

ры, а если повезет — то и захватить их пространство... Так и страдаем, прошу прощения, х...йней всю жизнь...

— В принципе, правильно, — согласился он. — Где-то так все и происходит... Так что же тогда тебя беспокоит?..

— Да ничего, — ответил я. — Мне эти метры и кубометры до фонаря, я не хочу их оборонять, а тем более завоевывать, я даже думать о них не хочу, я не хочу думать о воображаемом противнике...

— В том-то и дело, — сказал обэжешник, — что если ты не думаешь о своем условном противнике, то он продолжает думать о тебе...

— Стремное, я бы даже сказал, трусливое мировоззрение, — ответил я.

— Такова жизнь... — вздохнул ас.

— Вы что, экзистенциалист? — зачем-то спросил я, понимая, к чему он клонит.

Он поморщился, но все же ответил:

— Нет, я препод, простой препод по ОБЖ... Понимаешь, — сказал он, — если ты не будешь думать о них, то о тебе будут думать только они, вот и все... Больше о тебе никто не подумает...

Тут он наконец открыл глаза, поднялся, бросил в песок допитую бутылку «офицерского» и как-то медленно, но в то же время затравленно двинулся в сторону моря. Его старомодные плавки-семейки висели на заднице мешком.

— Что, даже родина не подумает? — спросил я зачем-то, глядя на пустую бутылку.

Не оглядываясь, он пожал плечами и вошел в набегающие волны. Неспешно он шел вперед, пока не оказался в воде по самую шею, а потом поплыл, совершенно неумело, как-то по-собачьи, словом, асу по ОБЖ было совсем не к лицу так плавать. Минут через пятнадцать его черепа не стало видно.

Я подошел к морю и сел на холодный песок. Он был как остывший за ночь кофе. К моим ногам мягко, по-кошачьи, напоминая покойного Мяуцзедуна, ластились холодные волны. На воде, в нескольких метрах от меня, спокойно покачивалась бейсболка с надтреснутым козырьком и надписью USA, а там, за линией горизонта стал медленно появляться тонкий диск розового солнца, без никаких пятен, как тогда, во время затмения. Солнце было БОЛЬШОЕ и вместе с тем очень далекое, такое ДАЛЕКОЕ, что если бы оно соизволило взглянуть на меня, то не увидело бы ничего, кроме пустынного морского берега...

Харьков
2005—2006

Владимир Губайловский

Цена победы

Стихотворения о спорте

Enfant terrible

Марат Сафин, Россия — Феликс Мантилья, Испания — 4:6, 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.
Открытый чемпионат Франции по теннису 2004 г. Мужской одиночный разряд. Второй круг.

Марат Сафин выходит к сетке
И необыкновенно изящным коротким кроссом
Выигрывает мяч.
Публика аплодирует.
Марат поворачивается к судье спиной
И приспускает шорты...
От избытка чувств, вероятно.
По счастью, под шортами оказались плавки.
Трибуны — ахают.
Судья объявляет Сафину штраф.
Соперник обескуражен.
Сафин идет на подачу, как ни в чем не бывало.
Enfant terrible мирового тенниса идет на подачу.
Но это же возмутительно!
Ну, конечно, возмутительно,
Просто возмутительнее не бывает,
А то...

Пас

«Чикаго буллс» — «Юта Джаз» — 90:86. Финал NBA 1997 г. Шестая игра. Чикаго, Иллинойс.
«Чикаго буллс» победили в серии 4:2 и в 5-й раз стали победителями NBA.

Счет равный. Остаются секунды.
«Буллс» идет в атаку.
Мяч, конечно, у Майкла Джордана.
И «Джаз» сходит с ума.
Накрывать Джордана бросаются трое.
Он ныряет под руки,
Он исполняет великолепный танец.
Ему удается выпрыгнуть.
Уже в полете он видит Керра,
Одиноко стоящего на дуге,

Губайловский Владимир Алексеевич — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1960 году. В 1982 окончил мехмат МГУ. Публикуется как поэт с 1985 года. В 1990-е годы появились его критические статьи и эссе. Автор двух книг стихов, в т.ч. «Судьба человека» (М., Центр современной литературы, 2008), многих критических статей и рецензий, посвященных новейшей русской поэзии, а также романа «Учитель цинизма». С 2004 работает в журнале «Новый мир». Живет в Москве.

И вместо броска,
Который от него ждали все,
Который ждал от себя он сам,
Джордан мгновенно меняет решенье —
И пасует Керру.
Керру никто не мешает,
И он — отличный снайпер — бросает.
Мяч в корзине.
За пять секунд до конца «Буллс» выходит вперед.
Это — победа.
Как важно вовремя забыть, что ты лучший.

Почти античная трагедия

Пит Сампрас, США — Джим Курье, США — 6:7(3:7), 6:7(4:7), 6:3, 6:4, 6:3. Открытый чемпионат Австралии по теннису 1995 г. Мужской одиночный разряд. Четвертьфинал.

Пит плачет. Но подает на вылет.
Джим Курье растерян.
Как играть с человеком, у которого по лицу текут слезы?
Пит берет полотенце.
Он вытирает слезы, чтобы они не мешали
Видеть корт и попадать в линии.
Утром у Тима Галиксона был тяжелейший приступ.
Его увезли с турнира. У него рак мозга.
Пит оплакивает тренера и друга.
Он бьет по мячу — мощно и точно.
На центральным корте Australian Open
Звучит реквием на теннисной ракетке.
Его ловят чуткие микрофоны,
Он раскатывается по целому миру,
Склонившему голову
Перед явлением скорби и силы.
Полотенце промокло.
Ахилл оплакивает Патрокла.

Комментарий к одному ходу Михаила Таля

Таль жертвует коня.
Позиция обостряется.
Его фигуры стоят идеально.
Трагедия в том, что это еще не победа.

Фальстарт

Предварительный забег на 100 метров. Чемпионат мира IAAF 2003 г. Сен-Дени, Франция. После второго фальстарта Джон Драммонд был дисквалифицирован.

После второго фальстарта
Судья показал ему красную карту.
Твои мускулы поют как струны,
Тело полно силы,
Как полон неродившимся звуком
Идеально настроенный инструмент.
Получится ли снова
Настроить каждую клеточку тела,
Чтобы оно было готово
К победному бегу?
Он отказался уйти в раздевалку.

Он вышел вперед
И лег поперек
Беговой дорожки.
Он лежал, закинув руки,
Он лежал, глядя в небо.
А на старте переминались его соперники
И не двигались с места.
Им некуда было бежать,
Потому что он лежал.
А вокруг суетились судьи,
Призывали его к порядку,
Взывали к совести, махали руками,
Их возмущению не было предела…
Только через час он поднялся,
Ссутулившийся, вдруг постаревший.
Его окружил целый табор
Операторов и фотографов.
Они забегали спереди, подползали снизу,
Нависали сверху, заглядывали сбоку,
И снимали, снимали, снимали
Лицо, искаженное горем и гневом…
Забеги продолжились в штатном режиме.

«Come on!»

Мария Шарапова, Россия — Сара Эррани, Италия — 6:3, 6:2.
Открытый чемпионат Франции по теннису 2012. Женский одиночный разряд. Финал.

В пасмурное небо Парижа
Во весь голос
Выкрикни свой «Come on!»
А потом отвернись к рекламным щитам
И, теребя струны ракетки,
Тихо-тихо сама с собой
Уговори, утихомирь, успокой…
Слейся с ракеткой,
Контролируй полет мяча,
Усилием воли
Заставь его задеть линию.
Подача, выход к сетке, drive-volley!
«Come on!»
Вы сегодня прекрасны, сударыня.

20 лет спустя

Майкл Мурер, США — Джордж Форман, США. 5 ноября 1994 г. Лас-Вегас, Невада.
Чемпионский бой за титулы WBA и IBF в тяжелом весе. Бой 12-раундов.

10 раундов Форман стоял, прижавшись к канатам,
Закрывшись перчатками,
Под градом ударов
Стоял и терпел.
Ему уже 45 лет,
Он не может порхать по рингу,
Как 20 лет назад,
Когда он проиграл великому Мохаммеду Али.
Но он может стоять,
10 раундов под градом ударов,
Понимая, что все судьи
Уже отдали победу противнику.
Терпеть и ждать.
Поединок заканчивается
У Формана нет ни единого шанса.
Мурер уверен, что победил,
И на мгновенье он ослабляет контроль.
Удар Формана —
Тяжелый, как трамвайная полуось, —
В челюсть.

Мурер рушится на пол.
Судья начинает счет.
Мурер лежит без движенья.
Счет кончается. 10!
Мурер не может подняться.
Это — нокаут.
Форман становится чемпионом мира
Второй раз —
20 лет спустя.

Цена победы

Твоя победа стоит ровно столько,
Сколько стоит поражение твоего соперника.
Если ты победитель — твой соперник повержен,
Если ты победитель — твой соперник унижен.
Если ты победитель, значит — ты выше —
Хочешь ты этого или не хочешь.
Неправда, что все это любят.
Есть люди, которые побеждают
Только самих себя.
Неправда, что они слабы духом и телом,
Неправда, что они не способны бороться,
Превозмогая боль и усталость.
Но они участвуют только в таких скачках,
Где у них нет и не может быть ни одного соперника.
Разве что лед, холод и скалы.

Сверхчеловек

Спортсмены не умеют говорить
На человеческом языке.
Они используют язык жестов и междометий.
Они говорят языком тела.
Если язык — видовое отличие человека,
То спортсмены — не люди.
Но звериное чутье, позволяющее чувствовать спиной
Приближение противника
И отдавать точный пас, не видя партнера;
Невероятно зоркое периферийное зрение;
Способность предугадывать будущее —
Знать куда полетит мяч, и что предпримет противник;
Способность реагировать быстрее,
чем электрический сигнал проходит по нервам,
И его обрабатывает мозг —
Делают спортсмена сверхчеловеком,
Которому человеческий язык,
В общем, не нужен.
Разве для того, чтобы после победы сказать:
«Спасибо всем!»

Мария Ануфриева

Снасти и страсти

Рассказ

Все складывалось как нельзя лучше. От удовольствия Арик почти в открытую захихикал, сжал кулаки и мелко-мелко затряс ими, одновременно слегка дрыгая ногами. У него были две новости — хорошая и прекрасная. Хорошая появилась только что, а прекрасная еще утром: от нее дрожало и вибрировало в груди, будто были там туго натянутые, режущие ладонь струны, как у старенькой никчемной мандолины, висевшей за платяным шкафом в его комнате ровно столько, сколько Арик себя помнил. И вот нашлась умелая рука, вытащила мандолину из-за шкафа и терзает струны маленькой округлой косточкой.

Арик с восторгом оттолкнулся обеими ногами от пола, лихо крутанулся в офисном кресле, но поймал насмешливый взгляд сидящей напротив Галины Васильевны и тут же спрятался от него в мониторе, для пущей деликатности втянув голову в плечи.

Галина Васильевна звалась офис-менеджером, была теткой директора, и в его отсутствие, да и в присутствии тоже, занималась приглядом за сотрудниками небольшого рекламного агентства, которых грозно именовала «шпендиками». Собственно, этот пригляд и был для нее основой непонятного слова «менеджмент», который она произносила с ударением на последний слог по аналогии со словом «ангажемент», которое раньше слышала от служившего в полуподвальном театрике «Трех лун» мужа Володьки, пока тот не сбежал от нее к костлявой рыжей костюмерше. К менеджмЕнту, то есть пригляду за сотрудниками, Галина Васильевна подходила ответственно. Бывший инженер аэрокосмического приборостроения, она никак не могла взять в толк, как такие несуразные люди вообще могут появиться на свет. Ну, а каким образом они могут приносить пользу Анатолю, как ласково именовался ею директор, да и обществу в целом, было настоящей загадкой, хотя подтверждение этой пользы она неизменно получала раз в месяц в конверте без марок. Впрочем, получаемая стопочка пятитысячных была до неприличия тонка и, конечно же, не могла компенсировать тех титанических мыслительных усилий, которые она прилагала к решению стоящей перед ней задачи ежедневно, пять дней в неделю, восемь часов в день с перерывом на обед.

В поисках ответа она долго буравила взглядом то одного, то другого «шпендика», сидевшего с ней в одной из двух комнатушек, составлявших офис агентства «Первая рекламная компания». Кто знает, может быть, разгадка этого когнитивного ребуса и составляла скрытую от нее самой суть и главную цель работы здесь. Хотя нет, конечно же, еще была игра в шарики, которой офис-менеджер предавалась со всей страстью новичка, освоившего компьютер.

Мария Ануфриева родилась в Петрозаводске в 1977 году. В 2001 г. окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работает копирайтером в рекламном агентстве «Авторская творческая мастерская» (СПб.). Автор романа «Медведь» («Время», 2012). Участник 10-го Волошинского фестиваля (2012).

Клиентов было немного, а если уж не врать себе, то откровенно мало, и рабочий день протекал по заранее известному сценарию: Галина Васильевна с высоко поднятой левой бровью придирчиво разглядывала своих подопечных, а те жались к мониторам, вылавливая минутки, чтобы ненароком заглянуть на обновление вакансий на сайте поиска работы. Проклятье работодателя — социальные сети — Анатоль недавно запретил с помощью своего племянника-компьютерщика, тоже Толяна, полтора часа возившегося в гробовой тишине. Сотрудники скорбно молчали, а Галина Васильевна ушла в банк, будучи абсолютно уверенной, что Анатоль с Толяном не посягнут на шарики — единственную ее отраду.

Не пожелав принять деликатность позы одного из вверенных ее взору «шпендиков», загадочность которого казалась ей возмутительной, она громогласно спросила:

— Что ногами сучишь, Арсений? — и для пущего остроумия добавила: — Эээ... в лотерею выиграл, что ли?

Худенький Арик встрепенулся. В его больших, тревожных карих глазах мелькнул испуг, как у зверька, внезапно вытащенного из тесной норки беспощадным хищником. Но испуг тут же сменился вежливой улыбкой.

Галина Васильевна неизменно напоминала ему домоправительницу Фрекен Бок, с кряхтением перелезшую через экран и успешно мимикрировавшую под офисные реалии. Но тем же чутьем маленького зверька он чувствовал, что испуг надо всячески прятать, нельзя его обнаруживать перед большим зверем, даже перед собакой. Лучше вообще упасть замертво как перед медведем, авось пройдет мимо.

Но Галина Васильевна была ретивей медведя, с ней такие трюки не проходили. Оставалось улыбаться. Обычно это давалось ему с трудом, но сегодня он получил прекрасную новость, а за ней еще и хорошую!

— Как вы догадались про лотерею, Галиночка Васильевна, — с восхищенным удивлением протянул Арик. — Хорошие новости! База отдыха «Омут» наконец-то дозрела! Хочет перейти на рекламный абонемент! Сорок тыщ в месяц только за маркетинговые консультации, не считая прочих работ. Но им не хватало партнера — убедить клиентов, что в «Омуте» лучшая рыбалка, охота, семейный отдых, в общем. И вот, буквально только что крупная сеть рыболовных магазинов «Снасти и страсти» подтвердила свою готовность стать партнером нашего «Омута»! Понимаете?! И даже первая акция почти готова — проведение лотереи среди всех постояльцев «Омута». Уже и название утвердили! В «Омут» всей семьей!

— Ишь ты, — то ли удивилась, то ли одобрила Галина Васильевна и передвинула поближе к монитору бокастое, похожее на бочонки семейство кактусов, которому надлежало защищать ее от вредного излучения компьютерной техники.

— Да, да, Галиночка Васильевна, завтра подписываем договор, получаем первый платеж и начинаем работу! Надо ехать в Торфяновск в комендатуру, брать разрешение на наружную рекламу у пограничников. «Омут»-то у нас в приграничной зоне! Да еще краевед там местный вызвался нам помочь, хороший такой дядька, энтузиаст. Мы ж туда экскурсии водить будем, по заповедным местам Торфяновского района. Уже и названия утвердили: «Православные святыни Торфянщины» и «Тропами торфяновских партизан». Паломничество, интерактив — то, что народу нужно!

— С тем же успехом ты можешь водить экскурсии на пустыри и промзоны за кольцевой автодорогой, — пробурчал грузный, одутловатый креативный дизайнер Юр Саныч, самый давний сотрудник «Первой рекламной», который пользовался покровительством Анатоля и занимал лучшее с точки зрения эргономики офисного пространства место: в дальнем углу, почти за шкафом, рядом с микроволновкой и обеденным столиком. Что, разумеется, развязывало ему руки в поисках творческого горения, которое он пытался раскочегарить в себе, ползая по сайтам с голыми девицами. Но оно отчего-то все не раскочегаривалось — скорее всего, из-за неусыпного пригляда все той же Галины Васильевны:

видеть происходившее на экране его монитора она не могла, но ее флюиды, подобно глушителям радиосигнала, ослабляли чары виртуальных прелестниц и гасили на корню реакцию на них Юр Саныча.

— Молчите, Юрий, — цыкнула она и на этот раз. — Можно подумать, у вас когда-нибудь были предложения лучше! Что ты там про святыни говорил, Арсений?

Рассказать всю историю про торфяновского краеведа и про новые туристические тропы Арик не успел. Стрелки пластиковых часов с логотипом «Первой рекламной компании» приблизились к вертикальному положению. Когда до заветной отметки 18.00 оставалось несколько рубчиков, стрелка часов замедлила ход, словно прибывающий к перрону поезд. Казалось бы, вот же он, приехал — ан нет, еще движется, ползет, медленно-медленно тянет его электровоз к стоп-линии.

Последняя шпала... Приехали!

Галина Васильевна одним махом поставила на стол тяжелую квадратную дамскую сумку. Юр Саныч одним махом отказал гуттаперчевым девицам, нажав кнопку выхода из их развратных сетей. Арик одним махом перекинул через плечо шарф и первым был таков.

— Одно слово — «шпендик», — беззлобно вздохнула про себя Галина Васильевна, утрамбовывая в сумке пластиковую банку из-под борща.

Арик мчался к метро, подгоняемый в спину холодным осенним ветром. И даже он, ветер, не морозил его, а обжигал прекрасной утренней новостью: кажется, он Ей не безразличен! Дорога к метро всегда короче за разговором с самим собой, это он проверял дважды в день вот уже десять лет, с тех пор как начал работать.

«Влюбился, дуррак. Нет, ну дурак же. Сама — *сама!* — набрала мой номер, извинилась, что вчера не ответила: устала, заснула, не слышала. И ведь перезвонила же, а не сообщение прислала. И говорила хорошо, улыбалась, когда говорила, я слышал. А еще, наверное, щурилась. Она всегда щурится, когда улыбается».

Вот ведь странно, он все время думает о ней, а лица не помнит. Вроде и встречал ее часто, смотрел... Да что смотрел — любовался! Но на расстоянии, спустя даже час, оно словно уходило в область фантазий, грез. И он, как ни силился, не мог собрать воедино эти ускользающие черты. Они убегали, будто хотели, чтобы он бежал за ними, и он бежал. Бежал, и в спину его толкал ветер. Бежал к метро, а на самом деле — бежал за ней.

«И познакомились по-дурацки, в больнице. Оба в тапках, у меня-то еще палец вылез, тьфу, гадость какая, хоть провались теперь, вдруг помнит. И халат в полоску, а сам еще перекошен на один бок, как старик. Потому что бухать с братом не надо было, мало ли, что раз в три года приезжает!.. Ах, да что же это я. Ведь если бы брат не приехал со своим пойлом, то и панкреатит не взыграл бы. А если бы приступа не было, то и больницы тоже. И тогда жизнь не была бы так прекрасна! Она на гинекологии лежала, уже почти выписывалась, и вот в лифте на первом этаже — перегруз. Вышли, уступили втолкнувшимся следом за ними бабушкам. Вы на каком этаже лежите, говорит... Неужели тапок мой порванный помнит?..»

У метро Арик набрал номер, который почему-то так и не сохранил в телефонной записной книжке. Ее телефон рассказал ему, что выключен.

Он сразу запомнил ее номер, и эти цифры стали ему родными, как ее второе имя, потому и не сохранил. Когда раздавался звонок или сигнал пришедшего сообщения, он теперь всегда на секунду замирал, не глядя на экран и загадывая, чтобы это были те самые цифры. Уже почти месяц на все звонки он отвечал немного раздраженно. Каждый из звонивших как бы обманывал его, подсовывал свои цифры и имена. Впрочем, хорошей новости он был рад. После того, как менеджер по работе с клиентами Катька засобиралась в декрет, все рекламные дела турбазы поручили вести ему. «Омут» давно прокручивался на месте, его хозяин мечтал о притоке людей, и вот «Снасти и страсти» готовы помочь им расставить сети на рыболовов.

В вагоне напротив Арика сидела девушка — читала-читала книжку, да и

заснула над ней. Поезд в перегонах подтормаживал — следуя его ритму, девушка ватно валилась то на мужика справа, то на мужика слева, но, как и полагается спящей красавице, так просто не просыпалась — болталась между ними как главный приз, который им не суждено поделить между собой. На том же сиденье, что и девушка, но чуть поодаль, сидел совсем юный кавказец. Смотрел в окно напротив как в телевизор, и на лице его отражалась куча эмоций: от глупого восторга до крайней досады, что сидит он неудачно и девушка валится не в его объятия.

«Красивая, — думал Арик про девушку напротив. — А о*на* красивая? Конечно… или так, не очень». Он стал думать, красивая она или нет, и понял, что вопрос этот ему не разрешить. Слово «красивая» не шло ее лицу. Да и она сама, казалось, убегала от этого слова, которое гналось за ней так же, как и Арик, делая вид, что вовсе и не гонится.

Вагон еще раз дернулся и остановился на конечной станции. Девушка вскинула голову и мгновенно открыла глаза — профессиональное пассажирское умение просыпаться. Арик поспешил вслед за ней, на ходу вынимая телефон. Связь есть, пропущенных нет. Не перезванивала.

На улице снова набрал ее номер, набрал и возле дома, и дома. В первом часу ночи она прислала ему сообщение: «Прости, телефон был в сумке. Встретимся завтра?»

Завтра было уже сегодня, он ответил ей и заснул, счастливый от того, что засыпает уже в этом сегодня и все складывается как нельзя лучше.

Утром у него была «местная командировка» — выезд в город по делам клиентов агентства, который извинял временное выпадение из поля зрения Галины Васильевны. Поехали они за подарками победителям лотереи «В Омут всей семьей» вместе с Катькой, которая непонятно, в декрете или нет: хоть на два-три часа, да придет в офис. Дома ей было скучно, а Галина Васильевна мало беспокоила: кто ж ее теперь уволит, беременную, так что смотри на здоровье, старая грымза, хоть глаза в мозоли сотри.

Катька все никак не могла расстаться с заботами о своем «Омуте», хоть и паршивенький до последнего времени был клиент, на заказы не богатый, зато красив и мощен был его владелец. Видимо, этот повелитель загородных утех, а по совместительству государственный чиновник, и был тем мощным стимулом, что заставлял ее в зубах тащить «Омут» вперед, несмотря на кажущуюся бесперспективность.

По дороге они стали в пробку. За рулем служебного «Рено Кенгу» сидел маленький усатый завхоз Алексей. Он ругался и с опаской поглядывал вправо, на отодвинутое по максимуму переднее сиденье. На нем удобно полулежала трудолюбивая Катька и, приподняв тонкий вязаный свитерок, задумчиво поглаживала живот, уже похожий на обтянутый кожей барабан, по центру которого от пупка тянулась четкая темно-коричневая полоска, как у заштопанного плюшевого медвежонка.

Чем чревата задумчивость в глазах беременных женщин вкупе с неуемной активностью тогда, когда уже надо дома на диване с вязанием лежать, Алексей знал. Пару лет назад жена родила ему сына раньше срока, не доехав до роддома, прямо в машине «Скорой помощи». Тоже вот так, как стрекоза, все порхала…

— В «Самоцветах» все и купим, — сама себе сказала Катька. — Не тормози так резко, Лешенька, ребенка разбудишь, он и так сегодня растолкался, прямо кувыркается.

— Причем тут «Самоцветы»? — удивился Арик.

— Где же еще мы купим яйца Фаберже? — удивилась она. — Кулоны в виде яиц. Директор «Омута» хочет подарить то, что от него не ждут. «Снасти и страсти» одобрили эту идею, а они спонсоры! К тому же мы будем развивать концепт «Купеческой России»: трактир, охота, рыбалка царская. Все на широкую ногу. Полный фэшн, короче. Понял? А рыбакам вручим яйца «под Фаберже»! Они смогут подарить эти кулоны своим женам, подругам, любовницам. И те простят им отсутствие, и в следующий раз охотно отпустят в «Омут»!

Арик посмотрел в окно на Неву, вдоль которой они толчками продвигались в веренице машин, и живо представил усатых мужиков в высоких резиновых сапогах, которых видел на фото турбазы. Мужики лыбились, держа в руках большущих рыбин. На груди у них красовались кулончики в виде яиц. Да уж, полный фэшн. И главное, Катьке-то что, через месяц она и не узнает, что думают мужики о кулонах.

Впрочем, все это ерунда. *Она* уже, должно быть, работает, уже в белом халате, поехала к кому-нибудь по вызову. «Да не стесняйтесь вы, — сказала она ему у лифта. — Я ведь тоже врач, не похожа? Это потому что детский». Детские врачи сейчас в цене. Мамаш много сумасшедших. Она «личный педиатр» в коммерческом медцентре, ее дарят детям на день рождения. Абонемент на нее. Она сказала, что любит свою работу, только мамаши часто дурами бывают. Заплатили клинике и весь год в претензии, что, мол, ребенок за такие деньги еще и болеет.

В магазине их догнал запыхавшийся завхоз и, пока Катька терлась возле витрины, прошептал Арику:

— Позвони лешему вашему из «Омута». Беременную бабу не переубедишь, она ж как кикимора. А тебе потом разгребать. Теперь же ты за них отвечаешь! Давай, пока не видит!

— Чего вы там шушукаетесь? — не поворачивая головы, спросила Катька. — Давайте яйца выбирать, тут есть маленькие со стразиками, и побольше, но не такие красивые.

— Катюша, жене день рождения скоро, будь другом, помоги подарок выбрать. Ну, так, чтобы полный фэшн и не дорого, — заканючил завхоз, увлекая ее к витрине с мельхиором и больно ткнув Арика локтем в бок.

Арик набрал номер хозяина «Омута» и в ответ на свой вопрос услышал сдавленный рык:

— Какие яйца? Вы что там, обалдели? У меня встреча с населением! Если я каждый раз буду думать, что подарить каким-то лохам, то вы мне на что? Решайте сами!

— Только что мне звонил владелец «Омута». Яйца отменяются, покупаем медальоны, серебряные, самые большие. На них закажем гравировку. С одной стороны «Снасти и страсти», с другой «Всегда Ваш, Омут», — как можно официальнее сообщил Арик Катьке через минуту.

Она, к его удивлению, не стала спорить: то ли выдохлась, уговаривая завхоза купить крупный браслет с финифтью, то ли замучил ее кувырками такой же активный, как она, плод. По дороге в офис Катька морщилась, временами выгибала спину и была неразговорчива. Затея с яйцами ее больше не волновала. Завхоз Алексей плавно жал на тормоз и вспоминал жену: вот хорошо обошлось, нормального пацана родила, в следующий раз покажет он ей беготню с животом.

Вечером Арик ждал *ее* в кафе. Он был весел и разговорчив, он был на высоте, хотя сердце его еще с обеденного перерыва покалывало где-то в пятках.

— Я через пару дней в Африканду поеду, к тетке, на две недели. Отпуск отгулять велели. А я давно не была, надо родню навестить, — сказала она.

— В Африканду? — удивился Арик. — Это что?

— Не что, а где! Поселок такой, в Мурманской области. Я в детстве всегда смеялась, когда там с родителями были. Представляешь, сопки, березы эти северные, карликовые, кривые такие. Холод собачий, и на тебе — Африканда! А потом прочитала, что это название придумали инженеры-путейцы, которые там железную дорогу строили. В единственный за все время теплый день они пошутили: «жарко, как в Африке». В шутку и назвали будущую станцию Африкандой. Так и осталось...

— Ты в Африканду, а я в Торфяновск, правда, на день всего, — сообщил он. Хотел рассказать про «Снасти и страсти», базу отдыха за двести с лишним километров от города, про яйца Фаберже, удачно замененные в последний момент на медальоны, но тут же передумал. Она занимается настоящим делом: детей лечит, а он тут про какой-то «Омут». Смешно.

Она отламывала ложкой неожиданно сухой чизкейк и заправляла прядки волос за ухо, казавшееся прозрачным и остреньким, как у эльфа. Он старался не смотреть настойчиво и удивлялся тому, что не помнил ее лица: вот же оно, такое знакомое, почти родное. Точеное, подвижное, но как будто за вуалью, оттого и не рядом она, даже если держишь за руку. Конечно, она красивая, какие могут быть сомнения. Только бы он ей нравился. Но нет, все-таки что-то ускользает. Или наоборот — растворяется? Во всем... О чем он думает, чему улыбается, чего боится? Вот тот мальчишка, прижавшийся снаружи носом к стеклу и строящий им рожи, пока мать увлечена разговором с подругой, — это тоже она. И завтрашняя поездка в Торфяновск имеет смысл только потому, что по дороге он будет думать о ней. И всю эпопею со «Снастями», «Омутом» и этой пошлой лотереей он сможет вынести лишь потому, что есть ей противовес — *она*. И весь последний месяц ему хорошо, даже когда все вроде бы плохо — оттого что она есть.

Арик порылся в кармане пальто и протянул ей маленький бархатный чемоданчик с крошечным замком, не зря же в «Самоцветах» побывал.

— Дома откроешь, — эти два слова с веселой улыбкой он репетировал полдня, потому что не хотел, чтобы подарок выглядел значительно. Кто знает, какие подарки ей дарят, тут надо сдержанно, чтобы не показаться смешным, к тому же и тапок с дыркой вдруг помнит.

Расстались как-то неловко, сумбурно, эскизно. Она просила не провожать, серьезным голосом, без кокетства просила, так, что настаивать неудобно: мы в разных концах города, ты потом на метро не успеешь, я волноваться буду. Один раз уговорил, проводил все-таки, но тоже неопределенно вышло, всю дорогу потом переживал, не показалось ли, что остаться у нее хотел. Он-то хотел, но она с мамой живет, и неудобство от расставания привез с собой на последней электричке, а потом еще возил несколько дней.

Несколько недель, пока она была в своей Африканде, он всюду носил с собой и дорисовывал эскиз их последнего расставания, твердо решив в конце первой недели: будь что будет, пусть он покажется смешным, но скажет ей, вот просто скажет, что любит ее. Говорят же это люди, и совсем обычные, не геройские люди говорят. Вот завхоз Алексей сказал же своей жене когда-то «я тебя люблю», а он маленький и усатый, но, значит, он жене нравился. Вот и он непременно скажет. Он высокий, не усатый и подружкам раньше вроде нравился. Это «раньше» было совсем давно, до счастливого приступа панкреатита месяц назад.

В конце второй недели Арик заболел: то ли от переживаний, то ли заразился от Юр Саныча, чей раскатистый чих сотрясал воздух за шкафом.

— В этом году грипп рано пошел, вот моя подруга на восьмом месяце умудрилась заболеть, так у ребеночка осложнение на сердце дало, до сих пор мучаются. Зато от армии откупать не надо, — задумчиво сказала Галина Васильевна, подводя шарик на мониторе компьютера к лунке.

Катька перестала поглаживать живот, закрыла сайт с детскими кроватками, выбросила в ведро недогрызенное яблоко и засобиралась домой. На следующее утро она позвонила и сказала, что передачу дел Арику закончила, врач прописала ей посещать дневной стационар, так что с этого дня она окончательно в декрете.

К концу рабочего дня на Арика навалилась такая тяжесть, как будто сдвинулись стены и потолок, и только он, как Атлант, держит их на плечах, тоже ставших каменными. Голоса вокруг казались глухими, будто отгороженными толстым слоем ваты, тело обмякло в офисном кресле и не хотело идти даже домой.

Девицы на мониторе Юр Саныча сверкали розовыми трусиками и неистово терлись друг о друга грудями. Как блохастые собаки, — вяло подумал Арик и протянул креативщику листок с очередным техзаданием.

— Что там? Вымпел спортклуба «90-60-90», женщины в купальниках бегут с олимпийским огнем, куда? В Летний сад? Колонну возглавляют двое мужчин с мускулистыми телами, как у... кого? Тореадоров? Особое внимание при создании макета надо обратить на то, что первый бегущий должен быть похож на генерального директора клуба, а второй на... КОГО? Главу комитета по спорту и

развитию физической культуры населения администрации города... ТЗ утверждено. Фото прилагается.

С распечатанных фотографий в упор смотрели две упитанные, вполне мускулистые, неуловимо друг на друга похожие морды.

— Пожелание заказчика, — развел руками Арик, на всякий случай отойдя подальше от не менее мускулистого на лицо Юр Саныча. — Мы, конечно, устроим брэйн-сторминг и предложим им свой вариант, но привязку к персоналиям просили сохранить.

— А кто-то один хотя бы во главе колонны бежать не может? — горько спросил Юр Саныч.

— Нет, — искренне посочувствовал ему и развел руками Арик. — Они же братья.

— Анатоль просил поторопиться с этим вымпелом, — с расстановкой сказала Галина Васильевна тоном человека, не спеша прилаживающегося, чтобы вбить последний гвоздь. — Это почти гос-за-каз!

Дизайнер исторг из себя креативный рык, перешедший в оглушительный чих, и раздраженно бросил листок с техзаданием на стол к похожим листкам, заляпанным коричневыми кружками от стекавшего по чашке кофе.

Арик приплелся домой, выпил шипучие таблетки, прополоскал горло содой и даже нашел на дальней полке кухонного шкафчика бутылочку из темного стекла с наклеенной бумажкой «Люголь». Это название было совсем из детства, он даже позвонил маме, которая давно жила отдельно, и получил подробную инструкцию, как им пользоваться, но так и не решился лезть в горло обмотанной ватой авторучкой, а просто лег спать и тут же провалился в глубокую, очень теплую и темную яму. В этой яме ничего не было, лишь один тяжелый шар, в центре которого пульсировала боль.

Назавтра он, через все сгущающийся вокруг уже не только головы, но и всего тела слой ваты, еще поехал на работу, потом к гравировщику — делать надписи на медальонах: их утвердили именно такими, как он придумал сходу в «Самоцветах». В этот день, как и все две недели, он думал о *ней*, но тоже как сквозь вату, а к вечеру слег и провалялся с гриппом две недели.

Дела его временно вела Галина Васильевна, которая звонила ему домой с неизменной первой фразой: «Лечишься, Арсений? Лечись-лечись, завал полный!» — волновалась за то, как проходит лотерея «Омута», не потерялись ли в офисе медальоны с гравировкой, понравились ли заказчику бегущие в Летний сад марафонщицы в бикини, утвержден ли девиз симпозиума сторонников оздоровительного питания «Семь бед — в тарелке ответ», почему пошел полосами десятитысячный тираж листовок кафе «В гостях у зебры»...

Арик отвечал на звонки, звонил сам и даже убедил заказчиков из «90-60-90» перенести головы спортивно-административных братьев подальше от бегущих, на остроконечный частокол ограды сада. Там они смотрелись значительней и даже как-то уместнее. К тому же Юр Санычу никак не удавалось срастить мускулистые тела тореадоров с головами братьев. Несостыковка проявляла себя в районе шеи: рельефные тела никак не хотели носить на себе смахивающие на шарпеев лица спортивных функционеров. А вот работа с отдельно взятыми головами была Юр Санычу по плечу. В прошлые депутатские выборы «Первая рекламная» ударно потрудилась на благо сразу пятерых кандидатов, и теперь по помещению голов в рамки и вензеля, как и по приведению в приятный глазу вид, равных ему не было. Это полезное умение было главным в любви Анатоля к креативному дизайнеру, ведь выборы случаются хоть и досадно редко, но все же регулярно. Ради них можно было простить и сетевых девиц, жрущих трафик офисного Интернета, о чем ежемесячно сообщали отчеты о посещаемых сотрудниками сайтах, которые компьютерщик Толян клал ему на стол с видом выполнившего секретное задание агента, хотя половина офиса знала, а остальные догадывались о маленькой хитрости директора. Юр Саныч тоже догадывался, но ему было плевать.

Обо всем этом думал Арик, когда выполнял свои обязанности и метался по

кровати в жару. Метался, выполнял и снова метался. Температура держалась долго, и, измученный и весь ватный, он плохо помнил, что сделал, что нет, были ли эти звонки Галины Васильевны или только приснились. Нелепость того, что он говорил и делал, смешивалась с его собственным болезненным бредом. И всегда рядом с ним была *она*, то вплетаясь в этот бред, то возвышаясь над ним, то угадываясь сквозь него.

Она уже вернулась из своей бредовой Африканды. Даже прислала короткое сообщение: «я вернулась». Арик мечтал, что узнав о болезни, она приедет к нему, в белом халате, сядет у кровати и положит руку на лоб, но просить не мог, да и неразумно это — она же с детьми общается.

Он тоже писал ей сообщения, бодрые и скупые: поправляюсь, очень хочу видеть. А в тяжелой дреме, почти в бреду разговаривал с ней и все не мог наговориться, так много надо было ей сказать, столько слов накопилось. Арик путался, бубнил про себя, но находил все новые и новые истории, лишь бы только говорить с ней.

— А вот в Торфяновск как я съездил... Всю дорогу обратно сочинял, как тебе расскажу, а ты смеяться будешь. У погранцов в комендатуре с начальником разговариваем, он плакат наш у себя вешать не хочет, боится, открещивается. Генерал, говорит, приедет, напьется и как там карта ляжет, как бы не выгнали, и денег не надо. Вдруг у него телефон звонит, проблема, по разговору слышно, зона-то приграничная, прибалты рядом... Перезванивает кому-то: «Была у вас вчера в Помпадурках ситуация, что с автобуса ссадили бабушку с пропиской в поселке Кишкино?» Ав-ав-ав, — ему там отвечают. «Старший погранотряда бьет себя пяткой в грудь, что вообще такого не было? Говорят, начальник отряда на пробке сидит постоянно, он вообще трезвый был, когда высаживал? Бабушка домой вернулась с гостинцами, до внука не доехала, а мы тех, кто с местной пропиской, свободно пропускать должны. Родственники ее теперь жалобу президенту пишут!» Потом успокоился и говорит: «Слушай, мне бы пять щитов придорожных нужно, стоят они у меня в плане. Понимаешь, закон обязывает, чтобы на въезде в пограничную зону написано было: так, мол, и так, мать вашу, граница рядом, веди себя прилично, не напивайся и документ при себе имей. В законе-то прописано, а денег не выделяют, а мне закон исполнять надо. Я к муниципалам: те мне кукиш. А с меня требуют! Передай хозяину вашему, может, в рамках, так сказать, взаимодействия...» Но это все ерунда, милая моя, хорошая, я с ним говорю, и нипочем мне щиты эти, ведь ты-то есть, да и никто их не установит: ни «Омут», ни страсти эти со снастями, ни государство. А мужики-то местные как напьются, так из ружей палят по единственным двум табличкам, которые комендант бережет как зеницу ока. Им забава, а ему расстройство... На прощание попросил: визитки хоть сделайте.

А в «Омуте» все хорошо! Заживет теперь «Омут»!.. Лотерею провели. Мне Фрекен Бок благодарность их за выбор призов передала и фото с роликом прислала: стоят мужики с медальонами, прямо как я месяц назад представлял! Сюрприз подругам, говорят, будет. Один усатый прямо сияет, недавно, говорит, подарил своей девушке цепочку, а теперь и медальон как раз, будет знать, что я не где-нибудь, а в «Омуте» пропадаю! Все как Катька наша предсказывала, гений маркетинга, недооценивал я ее... Таких Катек, знаешь как много, кругом одни Катьки: хваткие, деловые, зубастые, в коротких свитерках, верткие. Главное, нахальные до остервенения, до самой крайней такой пошлости, какую и у торговки рыночной не сыщешь. Ты не такая, ты благородная, детей лечишь, у тебя как будто иммунитет от бреда, который окружает, сгущается, закручивается в воронки. Я в нем тону, а ты как островок, нет, остров, большой остров, только бы добраться до него, лечь на песок и все, земля под ногами, спасся!

В деревне, где «Омут» находится, на берегу реки ангел стоит. Настоящий каменный ангел, хоть сейчас в музей. Одна рука заломлена, вторая отбита как у Венеры. Там кладбище старое рядом, заросшее, разрушенное. Так этот ангел с надгробия. Его в перестроечные годы с могилы одной из купчих — деревня-то богатой была — мужичок местный притащил. На этого ангела дачники покуша-

лись, огороды свои украсить хотели, так вот он и принес: у реки простор, далеко все видно, не украдешь. Я возле этого ангела и так и сяк с фотоаппаратом, чуть в реку не свалился — там парапет такой, остатки каменной пристани, так он на самом краю, а мне ж вблизи его нужно! Он же у нас рекламное лицо «Омута». Подобрался, повис там как-то, за ветку уцепившись, камеру навел, приблизил. А у него глаза пустые, каменные, без зрачков, белесые, как выколотые, и по щеке слеза ползет. Дождь был, с дерева над ним капает. Плачет ангел. Но нам нельзя, чтобы ангел плакал. «Ничего, думаю, Юр Саныч фотошопом-то подотрет. Уж и не такие лица в порядок приводил, неужели с ангельским не справится».

Ты не смейся надо мной и не пугайся, но лицо ангела на твое похоже. Только глаза у тебя живые, теплые, и слез я твоих не видел... Ты как будто руку протягиваешь в этот омут бессмыслицы и пошлости, который я сам же и создаю, в который сам же и лезу. Ты детей лечишь, и пусть мамаши тебя обслугой считают, но ведь лечишь же, а я, знаешь, чего я добился за десять лет? Придумал логотип одной конторы, вернее сказать, стырил идею у другой, более успешной, и усовершенствовал с помощью Юр Саныча. Я этим горжусь, ведь логотип теперь ездит мимо меня каждый день на тентах грузовиков и на служебных иномарках этой конторы. Одна меня недавно чуть не сбила, пронеслась перед носом на зебре, но я все равно был горд, ведь на ней красовался «мой» логотип...

— И выхода из этого бреда нет, нет, — метался он по постели. — Ты, ты одна мой выход.... С тобой даже бред имеет смысл.

Приходила вечно спешащая мама и приносила мед и малиновое варенье. Приходила иногда подкармливающая его соседка, старушка Рита Романовна и приносила домашнее печенье. Протянула тарелку, постояла в дверях, о чем-то поспрашивала несущественном, лишь бы постоять да поспрашивать, и ушла. Он раньше не понимал, почему она его опекает, а потом мама рассказала, что давным-давно был у соседки единственный сын, очень похожий на Арика, разбился на мотоцикле, который подарила та ему на совершеннолетие.

Приходил даже Юр Саныч: заскочил на минутку и отдал распечатанные макеты, но поддался на уговоры и просидел на кухне два часа. Съел почти все соседкино печенье и мамино малиновое варенье, зато научил Арика как вкуснее: толсто режешь сыр, а сверху щедро поливаешь его вареньем.

Юр Саныч долго говорил о работе, о том, какая же все-таки ведьма Галина Васильевна и какой козел Анатоль, потом переключился на баб и рассказал о новой подружке, выловленной в сети, обладательнице великолепного зада в форме сердца, прямо как у Ким Бэссинджер. Арик слушал и понимал, что больше не может. Он должен *ее* увидеть. Закрыв дверь за креативным дизайнером, он набрал ее номер, удивился быстрому соединению и быстро сказал в трубку:

— Я очень хочу тебя увидеть, можно?

Она могла через два дня в обед. Арик не готовился к этой встрече, не репетировал, не перебирал фразы. Он был похож на человека, который загодя собрал чемодан перед поездкой и вот сидит на нем, ждет. Перебирать чемодан бессмысленно, все сложено, упаковано, закреплено. Осталось дождаться момента, когда надо будет подхватить чемодан и выйти.

Он знал, что должен ей сказать о том, что «порхающие бабочки в животе» — это ерунда по сравнению со сладкой болью под ребрами, которая опоясывает и щекочет, когда он думает о ней. Самая приятная болезнь на свете — это его панкреатит, самое лучшее техническое изобретение — лифт, самые замечательные люди — проворные бабушки, самое прекрасное, что они могут сделать — вбежать в закрывающиеся двери лифта. Самое лучшее место — конечно, больница. В нее приводит панкреатит, в ней ездят лифты, а в лифты забегают бабушки.

Он теперь, если мимо проезжает, всегда голову поворачивает и, даже если не видно больницы, ребра у него начинает сводить и покалывать. Когда есть *она*, он готов придумать еще сотню логотипов, которые будут рассекать по городским магистралям, проплывать по каналам, ездить в подземных поездах, висеть на каждом доме, заборе, столбе. Он готов браться за большое и не гну-

шаться малым, потому что только *она* может придать смысл самым бессмысленным вещам. Еще он хочет то, чего не хотел никогда: стать ребенком. И переболеть всеми детскими болезнями, лишь бы его врачом была она.

Его чемодан был собран, он больше не мог сидеть и ждать.

На ней в этот день была блузка с отлогим воротом и узкая юбка-карандаш.

— Спасибо за цепочку, — улыбнулась она. — Я дома открыла чемоданчик и так обрадовалась! И медальон вот как раз к ней подошел…

На шее у нее висела серебряная цепочка с крупным медальоном, они идеально подходили друг к другу.

— Мне к ней медальон один знакомый подарил, только на нем ерунда какая-то написана «Снасти и страсти» и «Всегда Ваш, Омут». Но издалека не видно. Ты не знаешь, что это значит?

В первую секунду Арик не знал, что это значит, и даже обрадовался как человек, который видит быстрый результат своей работы. Как тогда, когда обрадовался ехавшей на него машине с логотипом. Но уже в следующее мгновение он не знал, что ей сказать. Как ей сказать, зачем…

Медальон был повернут той стороной, на которой тоненько и мелко было выведено каллиграфическим почерком старого гравировщика «Снасти и страсти». Когда делали надписи, он все боялся, что не поместятся, и просил: мельче, как можно мельче. Издалека не видно, она могла не волноваться, что дурацкую надпись прочтут. Он не стал распаковывать свой чемодан с бабочками и сладкой ломотой в ребрах. Не рассказал ей про «Омут», ничего не спросил про медальон, хоть и помнил усатого победителя лотереи, сообщившего в камеру о том, что подарил его цепочку. Она была с ним ласкова, как врач с заболевшим ребенком. Таким ребенком он себя и чувствовал, болело внутри, и давно заболело, разладилось, развинтилось.

По дороге на работу Арику было холодно, он старался ни о чем не думать и только повторял про себя бессмысленную фразу, которую где-то услышал, запомнил и теперь всегда повторял, когда мерз: «Комитет охраны тепла». Кажется, так называлась рок-группа, но это было совершенно не важно, этот «комитет» позволял ему немного, хоть мысленно, согреться, а теперь еще и помогал не думать о *ней*.

В офисе бегал оживленный Анатоль.

— Наконец-то! — вскричал он, увидев Арика. — «Снасти и страсти» и «Омут» просят тебя придумать фразу для их рекламного придорожного щита. С администрацией договорились, с тебя только фраза осталась, чтоб цепляла, чтоб люди с дороги сворачивали — и прямиком в «Омут»!

— Вы давно уху ели? — сказал ему Арик.

— Что? — не понял Анатоль.

— Вы давно уху ели? — четко повторил Арик и посмотрел на Анатоля. — Это фраза.

— Мысль! — просиял Анатоль.

— Еще пробел подрежем, чтобы слитно читалось, — хохотнул из угла Юр Саныч. — Точно запомнят!

Галина Васильевна на всякий случай одобрительно кивнула и загнала в лунку еще один шарик.

— Держи, как новый! — Юр Саныч положил ему на стол ворох картинок. Над выстроившимися в ряд домиками «Омута» склонился каменный ангел. Лицо его было задумчиво и печально, а, главное, избавлено от капель дождя, подтеков и трещинок. Так же идеальны и по-ангельски чисты были благородные, смелые лица спортивных братьев, украшавшие ограду Летнего сада на следующей картинке.

Арик уткнулся в компьютер, подобрал ноги и замер. Он представлял, как падает в глубокую, вырытую в земле яму, летит спиной вниз, разрывая на лету своим телом сцепившиеся корни деревьев, а яма — бездонная, и никак ему не разбиться.

Илья Фаликов

Евтушенко. Love story

Эта книга написана для серии «ЖЗЛ: Биография продолжается...». Книга большая. Читателям журнала предлагаю прочесть отрывки из нее: узловые моменты грандиозного сюжета евтушенковской жизни. Ограничимся покуда временем от начала творческого пути до рубежа 60-х — 70-х годов прошлого века. Здесь будет очень много цитат из самого Евтушенко, поскольку лучше и полней о нем не сказал никто. Возможно, это будет похоже на жизнь Евтушенко, рассказанную самим Евтушенко. Ссылок не предусматривается — это не научный труд, и цитаты будут отовсюду вперемешку. Надеюсь, сжатая фрагментарность публикации не помешает ощущению непрерывного единства этой судьбы.

И всё же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

Белла Ахмадулина

1956-й: лента новостей

Первые месяцы пятьдесят шестого года в сфере искусств были выдающимися. Разнообразие событий захватывало дух. Телеграфный стиль новостей отдавал эпосом. У молодого человека кружилась голова. Он шатался в толкучке столичной.

В самом начале года наградили орденом Ленина скульптора Конёнкова, а писателя Гроссмана — орденом Трудового Красного Знамени. Отметила восьмидесятипятилетие актриса Варвара Николаевна Рыжова из династии Бороздиных—Музилей—Рыжовых. Орест Верейский путешествовал с альбомом по берегам Нила. В Большом поставили оперу Кабалевского «Никита Вершинин» с Лемешевым в роли китайца Син Би-у. Негритянские артисты Элен Тигпен и Эрл Джексон, граждане США, зарегистрировали брак в московском ЗАГСе, а затем венчались в церкви общины евангельских христиан-баптистов. Игорю Моисееву стукнуло пятьдесят. Столько же — Антанасу Венцлове и Вере Кетлинской.

Советский народ отметил семидесятипятилетие со дня смерти Достоевского.

Столетняя годовщина смерти объединила Гейне с Лобачевским.

На театре происходило репертуарное пиршество. Шли пьесы: «Цюй Юань» Го Можо, «Последняя сенсация» Себастьяна, «Такие времена» Юрандота, «Дармоеды» Чики, «Ученик дьявола» Шоу (большого друга СССР; его поставили в Рижском ТЮЗе), «Кремлевские куранты» Погодина с Ливановым в роли Забелина (о, как величественно он торговал серными спичками на ступенях Иверской часовни!), «Макбет» Шекспира, «Фома Гордеев» Горького, «Чудак» Хикмета; в Ленинграде Товстоногов соорудил «Оптимистическую трагедию».

Смешили до упаду всенародные любимцы Тарапунька и Штепсель. Рост имеет значение.

Блистали певицы Зара Долуханова и Лилита Берзинь.

Московская общественность почтила память скончавшегося пятьдесят лет назад осетинского поэта Косты Хетагурова.

Не было забыто семидесятипятилетие со дня смерти Мусоргского.

Коллегия Министерства культуры СССР во главе с министром Н.А. Михайловым утвердила Кибальниковский проект памятника Маяковскому, похожему на знатного металлурга.

Это не все, не все. Время набирает новостные обороты.

Готовилось к печати собрание сочинений Ивана Бунина. Вышел шеститомник Вилиса Лациса. Шеститомник Ванды Василевской. На страницах всесоюзной печати зазвучали стихи Расула Гамзатова. Поэтесса Е.Шевелёва прикрепила медаль международной Сталинской премии «За укрепление дружбы между народами» к груди г-жи Акико Сэки, японской певицы.

Москва стала привыкать к появившемуся два года назад напротив Моссовета Юрию Долгорукому.

В Доме культуры издательства «Правда» прошел пленум Правления Союза писателей СССР, работа которого была совмещена с Третьим Всесоюзным совещанием молодых писателей.

Двадцатидвухлетний поэт Евгений Евтушенко, уже издав две книжки и вступив в Союз писателей, хлещет информационный кипяток, как квас на жаре, воображая поверх кружки родниковую воду. Красивым, в отличие от предшественника («иду красивый, двадцатидвухлетний»), он себя не считал и сильно переживал на сей счет. Широколиц, востронос, длиннорук, шея худа. Однако рост ему достался порядочный, под два метра.

Для поэта год начался с большой удачи. 6 января помечен «Глубокий снег».

По снегу белому на лыжах я бегу.
Бегу и думаю:
что в жизни я могу?
В себя гляжу,
тужу,
припоминаю.
Что знаю я?
Я ничего не знаю.
По снегу белому на лыжах я бегу.
В красивом городе есть площадь Ногина.
Она сейчас отсюда мне видна.
Там девушка живет одна.
Она
Мне не жена.
В меня не влюблена.
Чья в том вина?..
Ах, белое порханье!
Бегу.
Мне и тревожно и легко.
Глубокий снег.
Глубокое дыханье.
Над головою тоже глубоко.
Мне надо далеко...

Совершенно чистая лирика. По сути — романс, только спрятанный. Сюжет, встроенный в мелодический поток: некоторое раздвоение автогероя между той, что «не жена», и еще одной девушкой, которая «венком большие косы носит». Одна — «не влюблена», другая — «поцеловать себя попросит». Евтушенко с самого начала умел писать сюжет, а именно: самое трудное — сюжетную лирику. И — деталь. Что бы ни происходило с ним и с миром вообще, он *видит* — себя и этот мир.

В этой вещи Евтушенко избег *евтушенковской рифмы*. Что это такое, не совсем ясно, но к 56-му году она уже у него была, однако здесь, в январском повествовательном романсе, не понадобилась. Он близко дружит — среди значительных прочих поэтов, поголовно старших, — с Владимиром Соколовым. В «Глубоком снеге» очень ощутимо соколовское присутствие — снег, Москва, романсовый напев, тонкий звук печали.

В прошлом году советская правительственная делегация побывала в Индии, Бирме и Афганистане. А. Сурков:

Общей ясной цели сила
Нашу дружбу окрылила.
Руку брату, брат, подай!
Хинди, руси, бхай, бхай!

35-летие подписания Советско-афганского договора, молодой советский востоковед Юлиан Семенов — его статья в «Огоньке» с такой концовкой: «Во время пребывания в Афганистане Н.С. Хрущёв в следующих словах охарактеризовал афгано-советскую дружбу: “Дружба между нашими странами имеет глубокие корни. Великий Ленин стоял у истоков нашей дружбы. Никогда она не омрачалась конфликтами или спорами, и мы глубоко уверены, что этого никогда не будет и впредь”». Афганские стихи, в переводе Ю. Семенова:

Подари мне, крошка, сладкий поцелуй,
Ты со мною, крошка, нежно поворкуй.

Отметили столетие Третьяковской галереи. Там открылась «Выставка произведений советских художников 1917—1956 годов». Евтушенко приступил к постройке своей первой галереи — в стихах. Он пишет широкой быстрой кистью. Пошел портрет за портретом.

Александр Межиров выглядит так:

Ты стал моей бедой
и дел ненужной уймой,
мой друг немолодой,
воспитанный и умный.

Михаил Луконин:

Друг открывает дверь,
больной и сильный:
«Ух, молодцы какие,
что вдвоём!..
Шампанское?
А я уж лучше водки.
Оно полезней...»
Он на нас глядит,
глядит,
и знаю — думает о Волге,
которая зовёт его,
гудит.

Павел Антокольский:

Но вышел зоркий, как ученый,
поэт с тетрадкою в руке,
без галстука, в рубашке чёрной
и мятом сером пиджаке.

Ярослав Смеляков:

Он вернулся из долгого отлученья от нас,
и, затолканный толками, пьёт со мною сейчас.
Он отец мне по возрасту. По призванию брат.
Невесёлые волосы. Пиджачок мешковат.
Вижу руки подробные, всё по ним узнаю,
и глаза исподлобные смотрят в душу мою.
Нет покуда и комнаты, и еда не жирна.
За жокея какого-то замуж вышла жена.

Писано 15 февраля. Идет второй день XX съезда КПСС. Хрущёв вещает. В Отчетном докладе еще вскользь, прикидочно-разведочно, но — как бы услышав это стихотворение и осмелев — через несколько дней выдает на-гора тот, роковой доклад. Ибо в той части общества, которую не надо просвещать с партийной трибуны, роковая тема давно в ходу. Они возвращаются — те, кто выжили, не замерзнув где-то в поле возле Магадана. Оратор ощущает почву под ногами, потому как тот же евтушенковский герой несет эту почву в самом себе:

Пусть обида и лютая, пусть ему не везло,
верит он в Революцию убеждённо и зло.

Силовые линии слились, связь установлена, партия внимает основному. Можно рубить правду-матку с плеча:

«Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937—1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. *(Шум возмущения в зале.)*<...> Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно больше половины — 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется, **большинству** участников XVII съезда партии. *(Шум возмущения в зале.)*»

Зал возмущен. Но это — Колонный зал. Страна в общем и целом еще в неведении насчет этого самого культа личности и его последствий. Все только начинается. Пока в белоколонном зале кипят страсти, молодой поэт — будущий трибун и трубач — предается иным чувствам. По-настоящему молодым, почти детским.

Обидели. Беспомощно мне, стыдно.
Растерянность в душе моей, не злость.
Обидели усмешливо и сыто.
Задели за живое. Удалось.

Хочу на воздух!
Гардеробщик сонный
дает пальто,
собрания браня.
Ко мне подходит та,
с которой в ссоре.
Как долго мы не виделись —
три дня!

Смысло-звуковой акцент на «*бр*»: *собрания браня*.

Через год его выбросят из Литинститута (и заодно из комсомола, но — временно)

как раз после собрания, на котором он вступится за роман Дудинцева «Не хлебом единым». Да и с дисциплинкой неважно.

Между прочим, ему с самого ранья всей его жизни мнится некий соперник, объект тревоги и открытой опаски:

Не знаю я, чего он хочет,
но знаю — он невдалеке.
Он где-то рядом, рядом ходит
и держит яблоко в руке.

<...>
Но я робею перед мигом,
когда, поняв свои права,
он встанет, узнанный, над миром
и скажет новые слова.

По чести говоря, опасность миновала: на своем поле он остался тем, кем и был — первым. Более того. Евтушенко — может быть, единственный в многовековой мировой поэзии автор, чьи самые неумеренные чаяния обрели черты абсолютной достижимости.

Границы мне мешают...
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка.
Хочу шататься сколько надо Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
хочу проехать утренним Парижем!

Это в 56-то году? Чего захотел! А ведь получилось — и очень скоро. Он добился небывалого.

Так что «Пролог» — а это строчки из «Пролога» («Я разный...») — оказался пророческим. Выброс энергии — колоссальной внерамочности его упований и самой его фигуры — был тектоническим. Возможно, он мог бы остаться великолепным — вполне чистым — лириком без поползновений в сторону пастьбы народов. Нота исповедальности держит большинство его стихов этого года.

Он выхватывал из воздуха то, что волновало если не всех, то многих. Если не многих, то некоторых. Немногих. За год до «Пролога» Герман Плисецкий, ровесник, написал свой «Париж»:

Мне подарили старый план Парижа.
Я город этот знаю, как Москву.
Настанет время — я его увижу:
мне эта мысль приставлена к виску.

Но Евтушенко умел сказать так, что уже сказанное другими приобретало качество первозвучания.

Хрущёв саркастически юморил:

«Мы знаем, что в Грузии, как и в некоторых других республиках, в свое время были проявления местного буржуазного национализма. Возникает вопрос, может быть, действительно в период, когда принимались упомянутые выше решения, националистические тенденции разрослись до таких размеров, что была угроза выхода Грузии из состава Советского Союза и перехода ее в состав турецкого государства? *(Оживление в зале, смех.)*»

Им еще смешно, а ему покудова вообще не до того.

Я груши грыз,
шатался,
вольничал,
купался в море поутру,
в рубахе пёстрой,
в шляпе войлочной
пил на базаре хванчкару.

В мае раздался выстрел в Переделкине. Стрелок оставил письмо, где, помимо прочего, были и такие слова:

«Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.»

Французский еженедельник «Экспресс», автором которого в недалеком будущем станет Евтушенко, пишет:

«Сейчас официально сообщают, что Фадеев покончил с собой во время приступа алкоголизма. Через агентство ТАСС сверху добавлено, дабы все знали, что этот большой писатель был пьяницей... Александр Фадеев — первая жертва разоблачения культа личности.»

Казалось бы, еще вчера — в сентябре прошлого года — Фадеев сказал в «Литературной газете»:

«О целинных землях написано немало стихов. Среди них некоторые запоминаются, например, цикл стихотворений А. Яшина, свежие голоса молодых поэтов Евгения Евтушенко, Р. Рождественского...»

А новостей — с избытком.

Молодой писатель В. Солоухин в чудесном огоньковском очерке о рязанских женщинах приводит новую народную частушку:

В нашей области немало
Достижений трудовых.
Наша область отставала,
А теперь в передовых.

Писатели осваивают мир. А. Софронов в Голливуде, В. Кочетов в Париже.

Артист Н.Черкасов в парижском ресторане на улице Франклина Рузвельта сказал: «Наши фильмы никогда не призывали к убийству, гангстерству и разврату. Я, советский актер, за миллионы рублей не согласился бы играть убийцу, образ которого развращал бы молодежь».

Где-то рядом с шоссе Энтузиастов, за лесочком, заросла старая Владимирка. С прошлого года у Евтушенко насобирались стихи для новой книжки, она готовится к выходу в свет и будет называться «Шоссе Энтузиастов». Кандальный звон над старой Владимиркой вымещен гулом огромной стройки.

В прошлом, 55-м году в журнале «Октябрь» разыгрался скандал. Был напечатан очерк писателя с героическим партизанским прошлым Петра Вершигоры о партизанском движении на Украине, из которого можно было сделать вывод, что фашистам сопротивлялся сам народ, без руководящей роли партии. Аналогичный промах

когда-то допустил Александр Фадеев в первоначальном тексте «Молодой гвардии», и его принудили к мучительной переработке своего детища. На сей раз пострадал главный редактор «Октября» Федор Панфёров, во всем остальном абсолютно правильный проводник партийной линии. Его отстранили от должности. Правда, временно (получилось, на три года). В отсутствие железной панфёровской руки на страницы «Октября» хлынули новые имена. Слуцкий, Межиров, Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко. Заболоцкий, Мартынов и Смеляков тоже появились там, зазвучав наново. За стихи в журнале отвечал Евгений Винокуров. То есть результатом репрессивной меры по закону парадокса стал позитив обновления. Пахнуло и впрямь «оттепелью».

Поэтам показалось: жить можно. В секции поэзии Московского отделения ССП порешили устроить праздник, назвать его Днем поэзии — и у поэтов получилось: 11 сентября 1955 года в книжные магазины явились служители муз, мэтры и молодежь, принялись торговать своими и чужими сборниками, давать автографы, читать стихи. Восторженный читатель толпами повалил к прилавкам. Большего коммерческого успеха книжная торговля Москвы отродясь не знала. В тот день Евтушенко впервые обнаружил себя у книжного прилавка в образе продавца и вспомнил об этом опыте через много-много лет.

Успех закрепили и развили.

Помолодевшему после XX съезда, отошедшему от множества душевных травм Владимиру Луговскому пришла в голову идея: издать объемистый сборник московских поэтов, предъявить его читателю в следующий День поэзии, так и назвав — «День поэзии». Бюро секции поэзии приняло идею на ура. Началась подготовка торжества. Создав бригады, обошли книжные магазины на предмет поэзии. На полках было пусто, в складских подвалах пылились кое-какие книжки, торговля утверждала — поэзия «не идет». Виктор Боков, бригадир одной из таких групп, докладывал братьям-поэтам: директор магазина № 11 на улице Горького Д. Фраер, узнав о том, что в его подвале бесхозно валяется 45 поэтов, воскликнул:

— Вот что получается, когда сведущий человек спустится в недра!

Был возведен, наподобие высотного здания, нарядный фолиант в 25 печатных листов тиражом 50 тысяч. По обложке бежали автографы напечатанных участников оного библиодейства. 30 сентября 1956-го более 120 московских поэтов в два часа дня стали у книжных прилавков. Студенты Литинститута и члены всяческих литературных объединений, которых в Москве было не счесть, присоединились к ним. В Книжной лавке писателей 450 экземпляров этой книги были сметены с прилавка за один день. В книжном магазине № 12 на улице Бакунинской Евтушенко трудился вместе с М. Лукониным, П. Радимовым, Л. Озеровым и — Беллой Ахмадулиной. Народ требовал стихов:

— Читайте!

Читали.

Московскую инициативу поддержали ленинградцы, выпустив коллективный сборник «Стихи 1955 года». Именно в 55-м им написана вещь «На велосипеде», стоящая, быть может, всего этого сборника:

Я небрежно сажусь —
вы посадки такой не видали!
Из ворот выезжаю
навстречу воскресному дню.
Я качу по асфальту.
Я весело жму на педали.
Я бесстрашно гоню,
и звоню,
и звоню,
и звоню...

Вот хвастун! Звонарь нашелся.

В то время Евтушенко с Ахмадулиной не расставались ни на минуту еще и как авторы. В начале года они плечом к плечу напечатались в литинститутском сборнике «Первое слово». В паре, вдвоем их опубликовали «Новый мир» и «Октябрь».

Но чистой радости не бывает. В конце сентября на Секретариате Союза писателей состоялось обсуждение первого номера нового журнала «Молодая гвардия», выросшего из одноименного альманаха, — журнал стал органом ЦК ВЛКСМ и СП СССР. Председательствовал Константин Симонов. Все шло как по маслу, в голос хвалили молодых, особенно Евтушенко, пока не получил слова зав. отделом агитации и пропаганды комсомольского ЦК Н.Н. Месяцев. Он не согласился с общей оценкой евтушенковских стихов, прозвучавшей на обсуждении.

— Евтушенко приписывает культу личности большее значение, чем он имел в действительности.

Маститый Симонов защитил Евтушенко.

— Чтобы журнал пользовался большой популярностью у молодежи, чтобы она любила его, надо полным голосом говорить о трудностях, о том, как мы преодолеваем эти трудности.

Молодой функционер мог и удивиться: еще недавно Симонов потерял место главного редактора «Литературной газеты» за публикацию пламенной просталинской статьи. Нарастало размежевание.

Ахмадулина поместила в «Молодой гвардии» переводы: стихи студентов Лейпцигского литературного института. (Был такой вуз, аналог московского «лицея», основан в 1955-м, через три года получил имя И.Р. Бехера, теперь — с 1995-го — он в составе Лейпцигского университета.)

Литинститутское общежитие располагалось в Переделкине. Рядом небедно жили советские классики и некоторые литераторы-эмигранты. Студенты видели многих, ехидничали. Ходила эпиграмма:

Вот идет великий Бехер.
А читать нехер.

Что касается Н.Н. Месяцева, судьба не раз сведет его с Евтушенко, когда он на долгие годы возглавит Всесоюзное телерадиовещание. С этого стула он в итоге слетит, потом сгорит и на дипломатической службе в одной из стран Юго-Восточной Азии вплоть до изгона из партии по причине то ли изнасилования местной красотки, то ли замешанности в очередной властной интриге на Родине.

История продолжалась, и это была действительно другая история.

Основополагающей вещью стала поэма «Станция Зима», начатая еще в 1953-м, когда он посетил свою Зиму и съездил в Иркутск на предмет издания книжки под названием «Родной Сибири». С книжкой не получилось — еще не хватило имени, а поэма пошла своим ходом. Да, имени еще не хватило, но он уже — единственный из молодых — выступил в январе 53-го на дискуссии по Маяковскому.

В октябре журнал «Октябрь» выстрелил «Станцией Зима». Эхо было чрезвычайным, многих оглушило, и молодым энтузиастам страны восторженно подумалось: явился поэт-гражданин.

Жить не хотим мы так, как ветер дунет.
Мы разберёмся в наших «почему».
Великое зовёт.
Давайте думать.
Давайте будем равными ему!

Не забывай, брат, это ты написал стихи с такими названиями: «Партия нас к

победам ведет», «Шаг к коммунизму», «Весна коммунизма», «Маршруты коммунизма», «Наследнику Октября», «Славный путь Октября», «У Мавзолея». «Ленин» («Я родился в тридцатых в Советской стране...»), например, напечатан в №8/1952 журнала «Смена», за полшага до перрона «Станции Зима».

Но подзаголовок прошлогодней книги «Третий снег» таков: *Книга лирики.*

Глухой гул шел из Венгрии. Москвичи этого не видели, но в Будапеште на трамвайной линии позднеосенней площади Луизы Блаха стояла крупногабаритная чугунная голова Сталина, оторванная от разрушенного туловища, как будто Сталин потерял голову, попав под трамвай. Мятеж венгров раздавили советские танки. Писатель Говард Фаст вышел из компартии США.

4 декабря московские поэты предложили выдвинуть на Ленинскую премию Леонида Мартынова и Ярослава Смелякова. Видимо, в спорах на бюро поэтической секции или решением правления московской писательской организации кандидатура Мартынова отпала, остался Смеляков, вчерашний зэк, с его книгой «Строгая любовь». Одновременно решено было обратиться в Комитет по Ленинским премиям с предложением удостоить звания лауреата Мусу Джалиля, погибшего в фашистском плену (1943).

В том ристалище двух узников победил Муса Джалиль.

1956-й. Пришли иные времена. Лирик Евтушенко еще не знал своей судьбы.

Псевдоним: откуда ноги растут

Ему пеняют на самопиар сих строк:

Моя фамилия — Россия,
а Евтушенко — псевдоним.

А между тем мы имеем дело со вторым пластом смысла, не явленного миру, поскольку автор и сам не догадывался о таковом. Надо верить поэту: фактически «Евтушенко» — псевдоним. Почти. У сибирско-московского мальчика Жени исходно было другое родовое имя.

«Во время войны, как множество других советских детей, я, конечно же, ненавидел немцев, однако моя не совсем благозвучная фамилия “Гангнус” порождала не только шутки, но и немало недобрых подозрений — не немец ли я сам.

Эту фамилию я считал латышской, поскольку дедушка родился в Латвии. После того как учительница физкультуры на станции Зима посоветовала другим детям не дружить со мной, потому что я немец, моя бабушка Мария Иосифовна переменила мне отцовскую фамилию на материнскую, заодно изменив мне год рождения с 1932 на 1933, чтобы в сорок четвертом я мог вернуться из эвакуации в Москву без пропуска.

Ни за границей, ни в СССР я ни разу не встречал фамилии “Гангнус”. Кроме отца, ее носили только мои братья по отцу — Саша и Володя.

Однако в 1985 году, в Дюссельдорфе, после моего поэтического вечера ко мне подошел человек с рулоном плотной бумаги и, ошарашив меня, с улыбкой сказал:

— Я прочел вашу поэму “Мама и нейтронная бомба”... Вы знаете, учительница физкультуры на станции Зима была недалека от истины. Разрешите представиться — преподаватель географии и латыни дортмундской гимназии, ваш родственник — Густав Гангнус.

Затем он деловито раскатал рулон и показал мне мое генеалогическое древо по отцовской линии.

Самым дальним моим найденным пращуром оказался уроженец Хагенау (около

Страсбурга) Ханс Якоб Гангнус — во время Тридцатилетней войны ротмистр императорской армии, женившийся в 1640 году в Зинцхейме на крестьянке Анне из Вимпфенталя. Его дети, внуки и правнуки были пастухами, земледельцами, скитались из города в город, из страны в страну, и, судя по всему, им не очень-то везло.

В 1767 году правнук Ханса Якоба — бедствовавший многодетный немецкий крестьянин Георг Гангнус, до этого безуспешно искавший счастья в Дании и разочарованно вернувшийся оттуда, решил податься на заработки в Россию вместе с семьей — авось повезет. В Германии в этот год была эпидемия какой-то странной болезни, и Георг, ожидая корабля, скончался в Любеке, оставив жену Анну Маргарету с восемью детьми — мал мала меньше. Но она была женщина сильной воли и, похоронив мужа, отплыла с детьми в Кронштадт, куда не добрался он сам, потом оказалась в лифляндском селе Хиршенхофе (ныне Ирши). <...> ...внук Анны Маргареты — мой прадед Вильгельм — стал знаменитым стеклодувом на стекольном заводе Мордангена и женился на вдове своего старшего брата — Каролине Луизе Каннберг. В 1883 году у них родился сын Рудольф — будущий отец моего отца. <...> Однако Рудольф не захотел стать стеклодувом, как его отец, и в девятнадцатилетнем возрасте, блистательно сдав экзамены, поступил на математический факультет Московского университета. Он сам начал зарабатывать на жизнь уроками алгебры и геометрии. <...> Рудольф Вильгельмович прекрасно говорил по-русски, по-немецки и по-латышски, но, конечно же, был немцем».

Мальчик Женя не мог знать — и не думал о том, что носители таких фамилий, как Фет или Блок, тоже претерпели некоторые, мягко говоря, неудобства в этой связи. Блок мог бы стать, например, Бекетовым, но он сам высказался в свое время на сей счет: «Под псевдонимом я никогда не печатался, изредка подписывался только инициалами» («Автобиография»). Хотя о его немецкости — и в человеческом, и в творческом плане — не без оснований судачили всю его жизнь. Русская судьба и русское слово определяют русского поэта.

Рудольф Вильгельмович Гангнус, дед поэта по отцу, учитель московской средней школы, был автором широко известных пособий и учебников по математике, вышедших в 1930-е годы. В январе 38-го посажен «за шпионаж в пользу буржуазной Латвии». Освобожден в 43-м и выслан в Муром, где жил под надзором до 48-го. Восстановлен в правах и получил разрешение вернуться в Москву, где вскоре умер.

Дед поэта по матери, Ермолай Наумович Евтушенко, участник Первой мировой и Гражданской войн, служил в Приуральском военном округе, командовал артиллерией в Приволжском (Самара) и Московском военных округах, был заместителем начальника артиллерии РСФСР, инспектором Артиллерийского управления РККА. Имел воинское звание бригадинтенданта. В конце 30-х по службе был связан с репертуаром столичных театров, ставящих пьесы, близкие оборонной теме. Расстрелян в августе 38-го — по обвинению в участии в террористической организации.

Все это пребывало до поры в глубокой тайне — и от Жени, и от всех на свете. Понадобилось время, оно прошло, и пришло другое: свою родословную Евтушенко открывал не урывками, а рывками, не от него зависящими. Когда писалась «Мама и нейтронная бомба» (1982), он полагал, что он знает все об истории семьи и крайне подробно, балансируя над полем прозы, отбросив рифму и стройный размер, развернул пространное полотно повествования. На сей раз он оказался недостаточно глубок не по своей вине.

Лишь через восемь лет, уезжая в Харьков на предвыборную гонку за место в Союзном парламенте, он внезапно узнает от матери, что в Харькове, возможно, еще существует четырехэтажный особняк, хозяйкой которого была в оны времена его двоюродная прабабка. Она когда-то жила там совсем одна с двумя сотнями кошек...

«— Постой, мама... Ты же сама рассказывала, что твои предки в конце девятнадцатого века были сосланы из Житомирской губернии в Сибирь, на станцию Зима, за

крестьянский бунт... Откуда же у простой крестьянки четырехэтажный особняк, да еще и две сотни кошек? Зачем же ты мне сказки сказывала и про “красного петуха”, подпущенного помещику, и про то, как до станции Зима наши предки добирались пешком в кандалах? — растерянно, оторопело бормотал я.

— Все правда — и “красный петух”, и кандалы... — частично успокоила меня мама. — Только прапрадед твой, Иосиф Байковский, никакой не крестьянин. Он был польский шляхтич, управляющий помещичьим имением, но возглавил крестьянский бунт. Голубая кровь ему не помогала — кандалы на всех были одинаковые».

Жена пана Иосифа была украинка. Их дочери — ласковая Ядвига и крутая Мария — воспитывали внука в соответствии со своим внутренним устройством.

«Ядвига Иосифовна, вышедшая замуж за русского сибиряка слесаря Ивана Дубинина, была небольшого роста, с почти неслышной походкой и всегда защищала меня в детстве от справедливой, но безжалостной палки своей суровой могучей сестры, от которой я спасался, забираясь на самую верхушку столба ворот нашего дома.

Высокая, прямая, неулыбчивая Мария Иосифовна — будущая мать моей матери — стала женой белоруса Ермолая Наумовича Евтушенко, сначала дважды Георгиевского кавалера, затем красного командира с двумя ромбами, затем “врага народа”».

Родители Жени расстались по причине, ему неведомой. Есть нехорошая версия, что отец ушел от матери из-за ареста тестя, дабы не попортить свою карьеру. Но мы ее отметем. Правдоподобней другая: «Она нашла в его портфеле дамские чулки, но не ее размера».

Евтушенковское детство проходило попеременно то в Сибири, то в Москве. Запечатленного на фотографии четырехлетнего малыша с белым бантиком, в коротких штанишках и скрипочкой в руках, скажем прямо, трудно счесть первородным таежником. Некоторая межеумочность имела место, и она тайно отложилась на дальнейшем творческом существовании. «Я сибирской породы», между тем, он утверждал с полным правом.

Мать не препятствовала общению отца с сыном. Который любил, по его признанию, своего прекрасного отца со всеми его другими женщинами в придачу — и женами, и не-женами. Мать ревновала, но что было ей делать с таким щедрым на сердце сыном? «Вылитый отец!» — говорила она в сердцах. Отец разводил руками в свою очередь: «Вылитый мама!»

Поэтому,
если я окажусь гениальным,
не надо меня отливать из бронзы,
а пусть отольют
моих папу и маму —
и это буду
вылитый я...

Родители были ровесниками, им было по двадцать два, когда у них появился сын. Они были геологами, работали как раз в тех местах, где потом произросла Братская ГЭС. Рождался он тоже не рядовым образом. Об этом есть проза «Почему я не играю в карты. Рассказ по рассказу моего отца». В карты играл его будущий отец — накануне рождения сына — на Нижнеудинской железнодорожной станции, с начальником этой станции. Окно начальникова кабинета смотрело на роддом, где лежала Зина Евтушенко. Молодому Александру Рудольфовичу жутко, беззастенчиво везло, его партнер продулся вчистую, спустив и казенные деньги. Он был бывшим белым офицером, ничего хорошего не ждал, но остатки чести в нем еще теплились, и в тот момент, когда молодые родители повезли свое новоявленное сокровище домой, в затхлом кабинете раздался выстрел. «Смитвессон», припрятанный бывшим «контриком», оборвал эту проигранную жизнь.

Отдает фантасмагорией. Но это — правда. Надо верить поэту.

Веет и Гумилевым. Александр Гангнус писал стихи.

Теперь, позабыв про весну и про смелость,
Про трусость, про душные сумерки трюма,
Вы стали другими, вы переоделись,
Вы носите из коверкота костюмы.

Похоже на Багрицкого, на «Контрабандистов», и даже на светловскую «Гренаду», что совершенно естественно для юноши, полюбившего стихи в 20-х и тогда же начавшего писать, но в истоке-то того и другого — он, Гумилев, его «Капитаны», его повадка, его романтический раскат, шкиперский жест и штормовая ритмика, ностальгия по героике и обличение тех, кто переоделся в коверкот, потеряв розоватые брабантские манжеты.

Удивительно ли, что сын Александра Рудольфовича сочинит в пятилетнем возрасте восхитительный стишок:

Я проснулся рано-рано
и подумал, кем мне быть.
Захотел я стать пиратом,
грабить корабли.

На дворе 37-й год, папа ходит по Сибири с геологическим молотком, сын воспаряет в иные пределы, и парение не кончается, причем все в том же направлении, вплоть до 48-го года, когда шестнадцатилетний подросток уточнит свою отправную точку:

Когда-нибудь по-гумилёвски
сын поплывет в простор морской
и с пристани, где сгнили доски,
отец махнёт ему рукой.

Через десять лет (в 1958-м) он что-то поправит в этой вещи, но такая подробность, как сгнившие доски пристани, — это уже вполне Евтушенко, его деталь, как оказалось, фамильная.

У отца-воспитателя в свой час — Жене шестнадцать лет — появился соперник, впрочем, не оппонирующий первому. Обожатель футбола и сам футболист марьинорощинских пустырей, в выцветшей майке, в спортивных шароварах и рваных тапочках, Женя стал бегать со стихами и заметками в газету «Советский спорт», размещавшуюся в доме аккурат напротив грозно-грандиозного здания на Лубянке. Ровно на том месте сейчас стоит соловецкий валун. Этот памятник открывал Евтушенко намного позже (1993). В какой-то мере он открывал памятник началу своего творческого пути.

В нагусто прокуренном пространстве спортивного издания, умещавшегося в одной большой комнате, под стрекот пишмашинок и скрип авторучек, обретался «черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами», с олимпийским спокойствием занимавшийся суетной спортивной журналистикой.

Николай Тарасов писал стихи, далекие от редакционной повседневности, от перенапряга строчкогонства и вообще всяческого пота, в том числе спортивного, уклоняясь в сторону, допустим, Древнего Египта (стихотворение «Тия — соперница Нефертити»), по гумилевскому следу и звуку:

Горит закат сквозяще и обманно,
никто другой не помнит и не ждёт,
но по тяжёлым плитам Эльаварна
она в одеждах каменных идёт.

2 июня 1949 года Тарасов напечатал у себя в газете «очень смешное, разоблачавшее “их нравы”», стихотворение, подписанное *Евг. Евтушенко.*

Первая публикация. Автор попросил машинистку Т.С. Малиновскую поставить «Евг», и это осталось навсегда. Что это означало? Боязнь слипшегося «ЕЕ»? Или в этом «Ев*г*» было подсознательно закодировано родовое имя *Г*ангнус? Так или иначе, мы имеем дело с практически новым парапсевдонимом.

Евг. Евтушенко существует в русской поэзии 65-й год.

Поезд «Зима — Марьина роща»

Евтушенко — Почетный гражданин городов Атланта, Варна, Зима, Нью-Орлеан, Оклахома, Петрозаводск, Талса. Нас интересует Зима.

Журчали голуби на балках.
У отворённого окна
лоснилась дробь в стеклянных банках,
как бы зернистая икра.

Купались девочки нагие.
Дышали сено и смола,
а в доме бабочка на гире
цветастых ходиков спала.

Я помню маленький мой город
в тот год усталым от всего
и амнистированный гогот
в буфете станции его.

Глядели хмуро горожане
на бритых наголо кутил,
кому убийства с грабежами
святой Лаврентий отпустил.

И не могли принять на веру
ещё ни я и ни страна,
что мы вошли в другую эру
без Сталина, без Сталин*а*...

Ранней осенью 41-го он оказывается в Зиме. Зиминских картин у Евтушенко в стихах, не говоря о прозе, — не счесть, его Зима на редкость достоверна и подробна. Так может видеть только детский глаз, но поразительней всего — долгосрочная памятливость его зрения.

«Амнистированный гогот», «святой Лаврентий» — точное указание на время действия: бериевская амнистия, 53-й год, Евгению двадцать-двадцать один. Все остальные детали — вплоть до бабочки на гире ходиков — из предыдущей жизни, из самого раннего детства. В некотором смысле он и сам — такая бабочка. Знак времени. А в музыкальной ткани стиха — отдаленный призвук народно-каторжной песни с рефреном «Бежал бродяга с Сахалина». Навзрыдные ноты его стихов имеют определенное происхождение. Острожных песен без слезы не бывает.

Поселение Зима появилось в первой половине XVIII века. На Большой Московской дороге, по которой в середине XVIII века гнали заключенных, возникла «станца» Зима. Название Зима — от бурятского «зэмэ», то есть «вина» или «проступок». Не надо приуменьшать значение таких — скрытых — вещей. Вина, проступок — постоянные, если не сказать врожденные мотивы евтушенковского творчества.

Родители Жени здесь оказались неслучайно: Зинаида Ермолаевна — уроженка сих мест. Летом 32-го студентка 4-го курса Московского геологоразведочного института Зинаида Евтушенко, работавшая в экспедициях в бассейне Ангары, приехала к своей матери, Марии Иосифовне, проживавшей тогда в Нижнеудинске, и родила первенца. Вскоре Зинаида с ребенком перебралась в Зиму, в дом родни — Дубининых. Муж вернулся из экспедиции, забрал жену с младенцем и привез в московский дом своего отца на Четвертой Мещанской улице.

Еще учась на последнем курсе, она выигрывает на конкурсе самодеятельного творчества столичных вузов первую премию и поступает в музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова, в 39-м кончает его, уже работая солисткой Московского театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (1938–1941). Грянула война, с начала которой по декабрь 43-го Зинаида Евтушенко выступает на фронтах в составе концертных бригад, состоявших из артистов и писателей, — бывало, что и вместе с литературными знаменитостями: Симоновым, Фадеевым, Алигер.

Удалось выехать на гастроли в тыл, в Читинскую область, ей дружно аплодировали хлеборобы, пока она не слегла с тифом на несколько месяцев в читинской больнице. По выздоровлении, поначалу с обритой головой — заведование зиминским Домом культуры железнодорожников, где начинала в детском секторе, с трудными подростками. Но характера у ней было не занимать стать, она была дочерью своей непреклонной матери, ее прямоту Женя познал вполне с течением жизни.

В июле 44-го с сыном вернулась в Москву. Вызвав в столицу свою мать, опять — на фронт, с поездками в концертной бригаде своего театра, почти до самой победы, до апреля сорок пятого. Голос был потерян, сын обретен. И не только сын: через 3 месяца у Жени появилась единоутробная сестра — Елена.

Никто не гнал Зинаиду Ермолаевну на фронт с концертами. Как скажет потом сестра Лёля, Женя — в мать: перпетуум-мобиле.

Ему лишь слегка понадобился его артистический дар, когда он спервоначалу лепил образ автогероя — сибирского мальчишки, выросшего в тайге. Так оно и было. Он прекрасно знал «родной сибирский говорок» с этими «чо» вместо «что» и множеством пряных словечек, бытующих только в родных местах. Жил в семье дяди Андрея Ивановича Дубинина, учился у Сусанны Иосифовны Коношенко. Детство было как детство, с проделками и неприятностями (однажды шайка шпаны ограбила его в центре Зимы), он носился по улице Карла Маркса, стоял в нудных очередях за хлебом, выступал в госпиталях перед ранеными с песнями и стихами, трудился на овощных базах и в полях; в клубе он смотрел кино, где пел Марк Бернес про темную ночь и детскую кроватку точно так же, как после — о том, хотят ли русские войны, но отсутствие родителей компенсировалось вольностями ненавязчивого воспитания и роскошью природы, заглушая тоску по родителям.

В 44-м, став окончательно столичным горожанином, одной ногой он был еще в таежной чаще, другой — в Марьиной Роще, тоже по существу местом поселковым, переходным, как его возраст. Он шатался в толкучке столичной, как провинциальный пацан с вокзала, с незримым огромным чемоданом, набитым колоссальными впечатлениями детства.

Наделили меня богатством.
Не сказали, что делать с ним.

Он сам распорядился своим багажом. Станция Зима, слава Богу, не была транзитной точкой его биографии. Распахивая чемодан, он жадно вдыхал запах тайги, перебирал цветы и ягоды, всматривался в лица сибирской родни, глядящие из зеркал таежных родников.

Откуда родом я? Я с некой
сибирской станции Зима.

Это правда, он оттуда. Экзотические наряды его будущего непрерывного костюмированного бала, фестивальная фейерверочность, игра в заморского гуся, драгметаллы и камни браслетов, перстней и колец — плод тех вкусов, что образовались на железнодорожной платформе, где стоял в черной телогрейке зиминский полусирота при живых родителях, глядя с тоской на проходящие куда-то вдаль поезда.

Кроме того, на том же вокзале он изображал в видах милостыни — полного сироту, распевая что-нибудь жалостное. Успешно. В вокзальном буфете розовый, как пупс, недоросток милиционер тащил на себе опухшего инвалида, деревянная нога которого задевала стулья.

Крупнозернистая икра дроби в стеклянных банках, бабочка на гире цветастых ходиков. Это на всю жизнь.

А дальнейшее детство было — такое: «Я рос в деревянной Москве — в маленьком двухэтажном домике, спрятанном в деревьях. Отапливался он дровами. Ни ванны, ни душа у нас не было, и, как большинство тогдашних москвичей, мы по субботам торжественно ходили в баню, совершая старинный обряд хлестания друг друга по бокам и спине березовыми вениками. <...> Мама, бывшая певица, потерявшая голос на фронте, бабушка, моя сестренка и я жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В сатирических произведениях тех лет весьма ядовито описаны эти коммунальные кухни, где разъяренные соседки плюют друг другу в борщи и жильцы устраивают общественную порку тому, кто не гасит свет в туалете. Однако в нашей коммунальной квартире такого не было и в помине. Наоборот, общая кухня была чем-то вроде маленького парламента, где обсуждались все дела — и семейные, и политические, а большим залом этого парламента был весь двор, где на деревянных скамеечках в тени деревьев шли долгие заседания всех жильцов и равными в спорах были и водопроводчик, и профессор, и писатель».

В каждом городе, особенно крупном, не говоря уж о столице, обязательно есть район наиболее криминальный. Долгое время, начиная с позапозапрошлого века, Марьина Роща славилась наиболее выдающимися достижениями в этой области, и самое имя ее внушало трепет. Может быть, продуктом бандитской славы была такая версия происхождения имени: в незапамятные времена в сих дикорастущих местах лютовала страшная шайка, и возглавляла ее лихая атаманша Марья. Русские люди верят в страшные сказки, тем более что прецеденты были не только в фольклоре, но и в анналах истории, а один из прекрасных поэтов, высоко ценимых Евтушенко, Дмитрий Кедрин написал «Песню про Алену-старицу» как раз на эту тему. Это были, как правило, робингуды в юбке. «И вождь наш — женщина!», как будет сказано потом в «Женщине и море».

Когда Женю Евтушенко вышибли из одиозной (для «неисправимых») 607-й школы, ему грозил преступный жребий многих сверстников и соседей. Участь сия миновала его, а в школу эту он перелетел из другой — 254-й. Паренек был озорной, кроме того — беззаветно любил футбол и безнаказанно прогуливал уроки. Однокашники однажды ухохотались, когда бабушка Мария Иосифовна привела его в школу на веревке, как теленка. Школьное начальство терпело мелкие прегрешения, но случилось худшее.

В школу пришел инструктор из комсомольского райкома разъяснять доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Женя вооружился томом «Литературной энциклопедии» тридцатых годов и на глазах у всех предложил инструктору сличить тексты энциклопедии и ждановской брошюрки. Оказалось — плагиат. Секретарь ЦК ВКП(б) — литературный вор?..

Его отправили в «школу неисправимых», 607-ю. Там произошло следующее: кто-то похитил из учительской все классные журналы, сжег их, и обгоревшие остатки были

найдены на свалке. Директор школы, в общем-то человек хороший, наугад выбрал виновника ЧП и наказал — его, Евтушенко, никак не виноватого, выгнав из школы и выписав ему «волчий паспорт», то есть отрицательную характеристику, с которой у человека не остается ни малейшей перспективы.

Жизнь Жени состояла из всяческих околошкольных недоразумений, дворово-уличных приключений, прогулов-прогулок по Москве и усиленного, безостановочного стихописания. На письменном столе перед собой он раскладывал школьные тетрадки — для мамы, на самом деле вдохновенно гоня строчки в рифму. «Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала». Выходило по десять—двенадцать штук стихотворений в день. Он тогда решил зарифмовать весь «Словарь» Ожегова и обязательно новыми, небывалыми рифмами, и пытался составить, помимо прочего, словарь рифм, которых еще не бывало, таких нашлось до 10 000, — увы, утерян.

В одном размашистом тексте он сообщил: «Моя мать рвала тетради моих стихов в мелкие клочья», — поскольку она якобы страшилась традиционно трагической судьбы русского поэта. Может, так и случалось, однако в действительности Зинаида Ермолаевна до глубокой старости хранила его потайные тетрадки и листки.

У него появился герой — Мартин Иден. Уж если говорить об «американизме» Евтушенко, то надо начинать именно с него, с Мартина Идена.

Было на кого равняться — стихи летели во все редакции всех изданий, какие ни есть в Москве, в ответ — неизбежные отказы. Собрав стихи в большую тетрадь, он отправил ее в издательство «Молодая гвардия». Через какое-то время он был зван туда письмом, встретил его сухощавый человек, похожий на пирата — с повязкой на глазу. Андрей Досталь, редактор издательства и поэт, написавший много песен.

— Вы к кому, мальчик?

Женя показал письмо.

— А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти?

— Это я написал, а не мой папа.

Досталь недоуменно посмотрел на долговязого паренька со школьным портфелем в руке. Потом расхохотался.

— Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убеленного сединами мужчину, прошедшего огонь, воду и медные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания. И любовные трагедии...

Присутствующие, как показалось визитеру, потешались над ним, ибо странно улыбались.

Досталь вел в «Молодой гвардии» литконсультацию, куда Женя ходил более трех лет. Параллельно он занимался в поэтической студии Дворца пионеров Дзержинского района, туда иногда приходили взрослые гости, и однажды пожаловали входящие в известность поэты, литинститутские студенты-фронтовики — сбитый, аккуратненький в лейтенантском кительке Винокуров, буйно-кудрявый рыжеватый Ваншенкин, былинно могучий блондин Солоухин.

Занятия студии проходили в уютном «Уголке Дурова», что располагался на улице Дурова, неподалеку от евтушенковского дома. Учила студийцев поэтскому уму-разуму молоденькая руководительница Люся Попова, с хрупким изяществом сочетавшая неколебимую верность Пастернаку и вообще поэзии первой четверти века (Ахматова, Хлебников, потихонечку Мандельштам), среди технических средств которой не последнее место занимала такая важная вещь как непростая рифма.

Фронтовики почитали свое, и оно больше чем понравилось, ибо было о войне и не пахло казенщиной. Женя с дружком ответили своими стишатами, которые для этого отобрала Люся. Женина рифма «в апреле стих — прелести» произвела определенное впечатление, хотя она была явно содрана с оригинала: «прелесть — апрель есть» Маяковского.

Винокуров спросил почему-то:

— Багрицкого любишь?

— Люблю.

— А что именно?

— «Мы — ржавые листья на ржавых дубах...»

Левая бровь Винокурова удивленно поползла вверх: не рано ли?..

А как было не любить и не знать Багрицкого, когда он с детства был накачан им: отец — верный приверженец той школы стиха.

Завязалась дружба пятнадцатилетнего бойкого рифмача с людьми, познавшими окопы и пороховую гарь. Так, по цепочке фронтовой близости старших, появились в его судьбе Луконин и Межиров.

Круг общения стремительно расширялся. Женя хотел объять необъятное. Он и в «Новый мир» носился — там в отделе поэзии работала красавица Ольга Ивинская, Люсина подруга. Она кутала круглые плечи в белый пуховый платок, кружа головы поэтам всех возрастов.

Твардовский был в курсе всех дел своей редакции, стихи Жени ему были знакомы, и одно из стихотворений он даже подписал в набор, но передумал и задробил — может быть, потому, что слишком уж ловко и быстро строчил этот непоседа, печатаясь во всех праздничных номерах московских газет.

А живых классиков он уже видел задолго до того. В библиотеке имени Тургенева он — пионер — попал на читательскую конференцию по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия». Красивый белоголовый автор напряженно слушал мальчиков и девочек. Они проявляли готовность повторить подвиг молодогвардейцев. Женя встал и сказал:

— Ребята, как я завидую вам, потому что вы так уверены в себе. А вот у меня есть серьезный недостаток. Я не выношу физической боли. Я боюсь шприцев, прививочных игл и бормашин. Недавно, когда мне выдирали полипы из носа, я страшно орал и даже укусил врача за руку. Поэтому я не знаю, как бы я вел себя во время гестаповских пыток. Я торжественно обещаю всему собранию и вам, товарищ Фадеев, по-пионерски бороться с этим своим недостатком.

Последовало коллективное возмущение. Женю спас Фадеев.

— А вы знаете, мне понравилось выступление Жени. Очень легко — бить себя в грудь и заявлять, что выдержишь все пытки. А вот Женя искренне признался, что боится шприцев. Я, например, тоже боюсь...

Когда выяснилось (для мамы), что Женя изгнан из школы, после многих сложных разговоров с ней о необходимости восстановления и связанных с этим хождений по разному начальству, он уехал в Казахстан: там отец возглавлял геологическую партию.

— Никому не говори, что ты мой сын.

И новый рабочий стал вкалывать как все. Орудовать киркой и молотком, разводить костер во время дождя, расщеплять ножом лучину на три части и прочее. Деньги, привезенные из Средней Азии, мама предложила употребить на ремонт жилья.

— Нет, мама, — сказал он твердо. — На эти деньги я куплю себе пишущую машинку.

— Какой ты стал жадный.

— Подожди немного, мама. Эта машинка отремонтирует нам квартиру.

Начались самые первые литературные знакомства.

Николай Тарасов в 49-м году свел его с Владимиром Барласом, своим школьным другом.

Физик Барлас глубоко знал поэзию, умел о ней говорить. Он потом уйдет в литературу, станет критиком и напишет лучшую статью о раннем Евтушенко, которого, собственно, вырастил совместно с Тарасовым и Леонидом Филатовым,

спортивным обозревателем, бывшим футболистом и тоже ценителем поэзии. Евтушенко позже удивлялся: как им было не лень возиться с этим подростком, достаточно трудным?

И не ходить в хороших
ученичках любимых
тем, кто из Марьиной Рощи —
школы неисправимых.

По евтушенковской прозе — романной, мемуарной, эссеистической и прочей — рассыпано бессчетное количество сюжетов из собственной жизни — в лаконичном новеллистическом исполнении.

Вот новелла о томлении плоти. «В свои тринадцать лет я был готов для любви. К ровесницам-девочкам меня не тянуло: они казались мне скучными. Меня притягивали жрицы любви, утешительницы отпускных офицеров — с ярко намазанными губами, с лакированными ридикюлями, с прическами под модную тогда у нас американскую кинозвезду Дину Дурбин, стоявшие кучками у гостиницы "Метрополь" и у Большого театра. Одна из них жила как раз в нашем районе, около тогдашнего крошечного стадиона "Буревестник" — нынешнего грандиозного олимпийского стадиона. Если в этот район и заходили милиционеры, то всегда с пустыми кобурами — чтобы безотцовные мальчишки не отняли у них револьверов. Здесь были свои особые законы, где правили несколько враждовавших друг с другом подростковых мафий. Вышеупомянутой жрице было тогда лет восемнадцать, и она казалась мне зрелой таинственной женщиной. Продав в букинистический магазин "Историю XIX века" Лависса и Рамбо, я выждал ее однажды у пропахшего кошками и портвейном подъезда, когда она возвращалась поздно вечером, пошатываясь от клиентов и алкоголя, и плакала, размазывая кулаками черную ресничную тушь по лицу. Ни слова не говоря, я протянул ей сжатую в моей ладони потную красную тридцатку... Она отняла кулак от лица, и я увидел под ее глазом огромный синяк, что сделало ее еще таинственней и притягательней в моих глазах.

— Ты же еще маленький, — со вздохом сказала она. — За это в тюрьму сажают...

— Мне уже шестнадцать, — выпалил я, прибавляя себе три года.

— Зачем я тебе такая? — покачала она головой.

— Мне только поцеловаться... — торопливо пояснил я.

— Поцеловаться? Таких, как я, не целуют, дурень... — усмехнулась она и еще сильнее заплакала. — Да я сама не умею целоваться... — Потом неожиданно сказала: — Ладно... Подожди меня... — и исчезла в провале подъезда. Ждал я ее не меньше получаса и уже думал, что она не придет. Но она вышла — совсем другая — без драной лисы на шее, без лакированного ридикюльчика, без следов краски на лице, прическа под Дину Дурбин была накрыта белым пуховым платком, а на плечах был зеленый солдатский ватник — только синяк напоминал про нее другую.

— Ну, куда пойдем? — спросила она трезвым, решительным голосом».

Много чего было в Марьиной Роще.

Ну а история про классные журналы кончилась вот именно классно. Через много лет на встрече однокашников в содеянном зле признался некогда безупречный мальчик-отличник, который накануне того злополучного дня получил 5 с минусом, но к минусам он не привык, обиделся.

А предпоследний катрен своего стихотворения «Марьина Роща»:

Поняли мы в твоей школе
цену и хлеба и соли
и научились у голи
гордости вольной воли —

Евтушенко случайно обнаружил, блуждая по Ваганьковскому кладбищу, высеченным на могильном камне Исаака Борисовича Пирятинского — того самого директора школы № 607.

Это рядом с могилой отца.

Середина века

Обыкновенное сочетание слов *середина века* стало поэтической формулой благодаря Владимиру Луговскому. «Передо мною середина века», — начал он свой свод двадцати пяти поэм, так и названный — «Середина века». Как всегда в поэзии, формула становится метафорой и не совсем соответствует исходному понятию, в данном случае — календарному времени. В принципе, это 50-е годы. По слову Слуцкого:

В пятидесятых годах столетья,
Самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
Головы подняли отчасти.

Стишок про мечту стать пиратом (1937) — вот уж поистине начало большого пути. Мальчик Женя — мальчик старательный, когда пишет стихи, а пишет он много и упорно. Он живет в первозданной природе, где приусадебный огород смотрит на синюю стену тайги и где-то там вдалеке просматривается дымчатый Хинган.

Но война войной, а наступает переломный возраст, самый натуральный пубертат. Рост гортани, ломка голоса, головокружительный полет фантазии до изнеможения, воображаемый донжуанский список, равный списку кораблей на реке Ока, — в Сибири есть такая река, и на месте впадения в нее речки Зима стоит город Зима.

Нож забыл я перочинный —
финка стала мне под стать.
Лет в четырнадцать мужчиной
суждено мне было стать.

Хорошо любить на свете,
на траве и на песке,
и в сарае в Джеламбете,
и в кладовке в Степняке.

Хорошо грешить прилежно!
Пишет лучше та рука,
что дремала ночью нежно
на пупырышках соска.

В строчках про то, что хорошо грешить прилежно, непросто распознать, так сказать, идею произведения: оно называется «Казахстан», там промелькнут геологи, но дело сводится к ощущению свободы на степном ветру любви. «У стен Малапаги» (1951) — это новый этап: под эгидой Маяковского. Резко меняется поэтика, пошел ударник, ужесточается ритмика, стих набирает скорость.

«Мне показалось, что я продолжаю Маяковского. Но это мне только казалось. На самом деле я учился не у Маяковского, а у Семена Кирсанова, удивительно талантливого поэта-экспериментатора, у которого были и настоящие вещи, но который тогда печатал в газетах массу эффектных, хотя и пустоватых стихов...

— Женя, вы уже научились тому, как писать, — сказал мне как-то Тарасов, — теперь нужно думать о том, что писать.

Барлас неодобрительно покачивал головой:

— Женя, хватит баловаться...

Тогда я решил пойти к моему тогдашнему кумиру — Кирсанову, надеясь получить у него внутреннюю поддержку.

Уже седеющий поэт грустно посмотрел на меня:

— Вы думали, наверно, что мне понравятся ваши стихи, потому что они похожи на мои? — спросил он. — Но именно поэтому они мне и не нравятся. Я, старый формалист, говорю вам: бросьте формализм. У поэта должно быть одно непременное качество: он может быть простой или усложненный, но он должен быть необходим людям... Настоящая поэзия — это не бессмысленно мчащийся по замкнутому кругу автомобиль, а автомобиль "скорой помощи", который несется, чтобы кого-то спасти...»

Заметим попутно: «уже седеющий поэт» — цитата: Гумилев об Иннокентии Анненском («Слегка седеющий поэт»).

Он уже сознательно соревновался с Кирсановым. В каком-то году Кирсанов в гонке на «датские» (то есть к датам) стихи, помещенные в газетах без разбора, проиграл ему со счетом 4/5. Однажды, уже сам по себе, он тиснул 7 «датских» штук.

Уже седеющим поэтом, блестящим человеком, воином, героем советско-советских и народных пересудов был Константин Симонов. У Евтушенко был свой, «домашний» Симонов: «Я научился читать в четыре года. До войны я прочел уже всю западную классику. Мои любимые писатели были французы. Анатоль Франс, "Боги жаждут", — я обожал эту книгу! "Милый друг" Мопассана... Это все были книги из шкафчика, который мама, уезжая на фронт, закрыла на ключик. Сказала: "Тут для взрослых". Естественно, я вооружился волнистым ножом, открыл шкафчик... Потом мама вернулась с фронта, пришла домой с Костей Симоновым — он тогда был в расцвете, только что написал "Жди меня". И вот сидел Константин Михайлович в очень красивой военной форме... И я спросил: "Мама, скажи, пожалуйста, а почему, когда Жорж Дюруа и госпожа де Марель вошли в меблированную комнату, вышли через полтора часа? Что они там делали?" Мама заплакала: "Вот до чего нельзя оставлять детей одних!"»

Что-то тут не сходится. В том своем возрасте Женя, дитя улицы, уже прекрасно понимал, чт*о* делали Жорж Дюруа и госпожа де Марель в меблированной комнате. Наверное, подросток захотел — может быть, из ревности — эпатировать красивого знаменитого гостя, да и маме показать, кто в доме хозяин.

Вероятно, Евтушенко было лестно в скором будущем ознакомиться с параллелью, проведенной В. Друзиным в статье «О современной молодой поэзии» («Нева», №5 /1961): «Еще удивительней и непонятней возникновение время от времени модных поэтических фигур, неожиданно концентрирующих на себе всеобщее внимание. В конце двадцатых годов таким поэтом, "любимцем публики", оказался Иосиф Уткин. <...> Лет пятнадцать назад история повторилась. На этот раз "модным" стал Константин Симонов... <...> Была "мода" на поэзию Симонова. Была она, как всякая мода, шумна и распространенна, и — как всякая мода — прошла. Наступила пора строгой и точной оценки.

Но вот на наших глазах, на рубеже двух очередных десятилетий XX века, на горизонте советской поэзии внезапно заблистало новое модное имя: Евгений Евтушенко. И опять — знакомая картина: шумиха, эстрадные успехи, лихорадочно раскупаемые сборники стихов...»

Евтушенко потом включит Симонова в число великих русских поэтов за одно-единственное стихотворение — «Жди меня». О величии судить не будем, но не менее значительна симоновская вещь «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...».

Симонов повлиял на стихотворство фронтового и послевоенного поколений сильно. А тема русской женской жалостливости — это было уже настолько свое, евтушенковское.

Между тем чуть не лучшей, подкупающе обаятельной вещью ранней поры — до первой книжки — представляется все-таки стихотворение о любви, верней — о ее жажде, с большой дозой самолюбования, как водится:

Мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи и дня.
Меня ненасытность вскормила
и жажда вспоила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,
и всюду — опять и опять
хочу я всем девушкам сниться,
всех женщин хочу целовать!

Эти строки остались от более длинного стихотворения 51-го года, подвергнутого позднейшему сокращению. О. Ивинская спустя многие годы свидетельствовала: Пастернак помнил эти стихи наизусть и на случайной встрече в Московской консерватории (1960) первый катрен прочел изумленному автору.

Похоже, Евтушенко уже читал Цветаеву («Ненасытностью своею перекармливаю всех»), не исключено, что и в Бальмонта заглянул («Хочу быть дерзким, хочу быть смелым»), и в сочетании с некрасовско-смеляковским амфибрахием у Евтушенко получился свежий выдох, достойный нового поэта невиданной для 1951 года искренности.

У Василия Андреевича Жуковского есть повесть «Марьина Роща». Там действует герой — певец Услад. С ним происходят разные вещи, но главное: он — Услад. Как сказано в стихах Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Ни о чем подобном Евг. Евтушенко и не помышляет. Он видит реальную цель, ставит задачи и решает их. Жуковский свой альманах назвал «Для немногих». Вектор Евтушенко диаметрально противоположен: он — для всех.

Не Жуковский, а Маяковский. Передача лиры виртуально состоялась. Она, как известно, отдается атакующему классу. В его мозгу гнездится весь социум, со всеми слоями, прослойками, этажами, подвалами и чердаками. Маяковский читал стихи в Политехническом — кому? В основном — учащейся молодежи. Народ получал стихи, прошедшие экспертизу по преимуществу студенческую. Повторялась история, начатая Некрасовым и Надсоном.

Он уже видит аудиторию, ее ожидания и вкусы. Она любит что-нибудь со слезой. «Письмо в Черновцы», повесть о неверной жене и о себе, ее мгновенном единственном любовнике, — это оно, то самое. Даже «Мать Маяковского» — чувствительная история об одинокой старушке и ее несчастливом сыне:

...ей в колени упав головою остриженной,
он дышал тяжело
со стиснутым ртом.

Фантастическая судьба талантливого паренька из Марьиной Рощи сложилась так, что кто-то незримый с самого начала вышиб ногой дверь перед ним (или это был он сам?), и он влетел в жизнь победителем, пробивая насквозь все преграды, всюду подстерегающие его. Ему неимоверно везло. Стихи били фонтаном. Печаталось почти все, что считалось по своему счету готовым. Книги выходили одна за другой. Москву он обчитывал стихами, она узнавала его в лицо. Рослый и голосистый, он был рожден для сцены, он взаимно любил ее. Выступление становилось концертом. Старшие поэты приняли, обласкали, благословили. Жизнь удалась, едва начавшись.

Первое упоминание его имени в печати — 9 октября 1949 года, «Московский комсомолец», в обзоре стихов, присланных в редакцию. «Евгений Евтушенко тепло рассказывает о комсомольце-агитаторе (цитату опустим. — *И.Ф.*)».

13 августа 1950 года в «Комсомолке» в статье об альманахе «Молодая гвардия», который до войны был журналом и скоро станет им опять, идет похвала того же ряда: «Студент Евгений Евтушенко пишет о пафосе труда, о том, что города “строятся из камня и мечты”».

Кстати, откуда — «студент»? В пятидесятом он еще никто, ни то ни се, внештатный сотрудник спортивной газеты.

Он быстро становится медийной фигурой, попадает в газетные отчеты и репортажи, поскольку участвует практически во всех литературных мероприятиях. На полосе «Литературной газеты» появляется парный снимок самого старого члена Союза писателей Н.Телешова и самого молодого — Е.Евтушенко.

У него белокурая копна волос, зачесанная назад, он самый рослый на групповых фотографиях, в строгом костюме, а однажды даже — в эффектной длинной шубе, среди молодых поэтов из братских республик, на фоне высотного здания МГУ, чуть не равный этому зданию-гиганту, оный новый Маяковский. Через несколько лет и это обстоятельство ему поставит в минус народный поэт Чувашии П. Хузангай:

«...на заре своей юности Евгений Евтушенко подарил мне свою книжку “Третий снег”. Был короткий, но веселый и непринужденный разговор. Поэт меня уверял, что он ростом только на один сантиметр ниже Маяковского. Оказывается, об этом ему сказал портной Маяковского, которому (портному) и он заказал костюм...»

В четверг 1 апреля 1954 года на Новодевичьем кладбище, рядом с сыном, похоронили мать Маяковского — Александру Алексеевну. Панихида прошла в Центральном доме литераторов. Вел ее почему-то Софронов, совершенно чуждый Маяковскому и всему, что с ним связано. Евтушенко прочел стихотворение, написанное год назад, — «Мать Маяковского», оказавшееся стихами ее памяти. Выступил на панихиде и директор музея Маяковского на родине поэта, в Багдади, Н. Патаридзе, и похоже, что этот факт — существование музея поэта на его малой родине — отложился в его сознании на будущее, став некоторым образцом.

Несколько позже критика, вспоминая вторую половину пятидесятых, заговорит об эпохе par excellence[1] вечного юноши, юношеского стиля, а ля автогерой К. Батюшкова или, того больше, Н. Языкова.

Лев Аннинский («Молодая гвардия», №2/1964) в этой связи вспомнит старого советского критика И. Лежнева, толковавшего в этом плане о поэте Иосифе Уткине. Которого еще раньше назовет В. Друзин, друг Уткина в молодости. Но, честно говоря, почти ничего общего, кроме касательства к еврейской теме (уткинская «Повесть о рыжем Мотэле»), у поэта Евтушенко с поэтом Уткиным нет. Более того. Кудрявый обаяшка Уткин — антипод неприкаянного, мечущегося Евтушенко.

Уткинская репутация «любимца публики» далеко не исчерпывает образ этого человека. Он воевал с сорок первого года, ему оторвало четыре пальца правой руки, он добился новой отправки на фронт и погиб в авиакатастрофе, возвращаясь из партизанского отряда. Когда тело его нашли, в руках у него оказался томик Лермонтова, вечного юноши.

Фигура вечного юноши — архетип старого, как мир, романтизма. Блок назвал Тютчева «неисправимым романтиком». Независимо от возраста.

Так что, была ли эпоха юношеского стиля — бабушка надвое сказала, а вот юность у поэта Евтушенко — была, и он говорил в соответствии с таковой. Возможно, она подзатянулась.

---

[1] По преимуществу (*франц.*).

Ему внимали в основном сверстники. Чуть позже он напишет (посвящено Вл. Барласу):

Не важно —
есть ли у тебя преследователи,
а важно —
есть ли у тебя последователи.

Таковые находились. Вот «Родина» («Была ты — сказка о Садко...»), где говорится о многом, а разговор о женщинах на рынке заканчивается так:

...где перед гомоном людским
у старого точила
морская свинка
судьбы им
в пакетиках тащила.
И я
на взмыленном горбу
картошку пёр,
ликуя,
что предсказали мне судьбу, —
я не скажу —
какую.

Это написано в 54-м, а через много лет — где-то в 60-х скорей всего, не датировано, — Евгений Рейн вторит ему, может быть, и не помня первоначального поэтического толчка:

Помню я, что навсегда приметил
Эту свинку и её совет.
Никогда никто мне не ответил,
Угадала свинка или нет.

Впрочем, предшественник был и пораньше — Валерий Брюсов:

Всё в той же клетке морская свинка...

Кстати, в те годы, которыми датирована эта строка: 1921—1922, Брюсов в поисках нового стихового языка и рифмует, можно сказать, вполне по-евтушенковски: «шаре — Плюшаре», «Пири ли — окрапивили», «свинка — Сфинкса».

Мог ли знать молодой Евтушенко, что когда-нибудь его немолодое одиночество чем-то напомнит участь послереволюционного Брюсова, бывшего властителя дум, отвергаемого новым поколением стихотворцев? Поэт всю жизнь пишет одно и то же стихотворение — «Одиночество».

Вот «На велосипеде», чудная вещь: молодая, скоростная, с перспективой на будущее, но и с оглядкой, может быть неосознанной, на животворные образцы — евтушенковское «Я бужу на заре / своего двухколёсного друга» похоже на смеляковское «Если я заболею, / к врачам обращаться не стану», в свою очередь идущее от Пастернака: «Мне четырнадцать лет. / ВХУТЕМАС / Еще школа ваянья» («Девятьсот пятый год»). Неплохая почва для судьбоносного велопробега. Важно и то, что впервые в поэзии Евтушенко возникают эти имена: «До свидания, *Галя* и *Миша*... (курсив мой. — *И.Ф.*)» Обладатели этих имен глубоко и надолго войдут в его жизнь.

«Свадьбы» Евтушенко посвятит Александру Межирову.

О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,

слова неоткровенные
о том, что не убьют...

Надо запомнить эту дату: 2 октября 1955 года. В России было написано эпохально этапное стихотворение. Веха поколения. Небезынтересно, что к нему остался равнодушным Пастернак, когда Евтушенко их очное знакомство начал с чтения этой вещи. Возможно, мэтр седьмым чувством уловил в «Свадьбах» возможность эстрадного успеха, чего он не приветствовал.

В залах, где Евтушенко читал стихи, из рядов зрителей громко требовали:

— «На велосипеде»!

— «Свадьбы»!

По-другому отнесся к «Свадьбам» другой опальный литератор. Вспоминал Вл. Лифшиц: «... у нас он (Зощенко. — *И.Ф.*) впервые прочитал стихи молодого Евтушенко. Они его очень заинтересовали, хотя вообще-то над стихами Зощенко любил чуть подтрунивать. Когда-то не пощадил даже Есенина, в одном из рассказов вставив в есенинскую строку, на первый взгляд, невинное "говорит": "Жизнь моя, говорит, иль ты приснилась мне?.." Прочитав сборник Евтушенко, он то и дело повторял строки из стихотворения "Военные свадьбы": "Походочкой расслабленной, / с чёлочкой на лбу, / вхожу — плясун прославленный — / в гудящую избу..."

— Этот мальчик далеко пойдет! Обратили внимание, какую он цезурочку подпустил?..»

Не исключено, что при этом разговоре присутствовал будущий Лев Лосев — сын Вл. Лифшица, поэта печально недооцененного.

Накануне

Исподволь назревала эпоха реабилитанса по всем направлениям. Из полуподвала переводчества и непечатаемости вернулся оригинальный Леонид Мартынов, молодежь потянулась к нему, Евтушенко — тем более: свой брат сибиряк.

«Опубликованная после длительного перерыва книга Мартынова ("Стихи", 1955. — *И.Ф.*) была, если разобраться, флейтой. Но молодежь услышала в ее звуках голос боевой трубы, ибо страстно хотела это слышать. Усложненные гиперболы и метафоры Мартынова давали возможность предполагать в них, может быть, гораздо большее, чем в них содержалось. И неожиданно для самого себя лирик Мартынов прозвучал как гражданский поэт, поднятый на волнах вспененного времени. По его собственным словам, "Удивительно мощное эхо — очевидно, такая эпоха!"»

Почему — флейта? Это — из гениального мартыновского «Прохожего» («Замечали, по городу ходит прохожий...»):

— Погодите — в соседях играют на флейте!
Флейта, флейта!
Охотно я брал тебя в руки.
Дети, севши у ног моих, делали луки,
Но, нахмурившись, их отбирали мамаши:
— Ваши сказки, а дети-то всё-таки наши!
Вот сначала своих воспитать вы сумейте,
А потом в Лукоморье зовите на флейте!

Стихотворение «Окно выходит в белые деревья» (1955) посвящено Мартынову. Наверное, это была первая вершина молодого Евтушенко в пятидесятых годах, точнее — в середине века. Более строгого, собранного, законченного стихотворения у него и не было на ту пору:

Окно выходит в белые деревья.
Профессор долго смотрит на деревья.
Он очень долго смотрит на деревья
и очень долго мел крошит в руке.
Ведь это просто —
правила деленья!
А он забыл их —
правила деленья!
Забыл —
подумать —
правила деленья!
Ошибка!
Да!
Ошибка на доске!
Мы все сидим сегодня по-другому,
и слушаем и смотрим по-другому,
да и нельзя сейчас не по-другому,
и нам подсказка в этом не нужна.
Ушла жена профессора из дому.
Не знаем мы,
куда ушла из дому,
не знаем,
отчего ушла из дому,
а знаем только, что ушла она.

Мелодрама, и плакать хочется, однако — вот тот случай, когда артист сыграл без наигрыша и пережима.

Постепенно он создает обобщенного автогероя, полномочного представителя, певца и, может быть, лидера своей генерации. Начав 55-й год с элегического «Окно выходит в белые деревья...», через пару лет он воззовет:

Лучшие из поколения,
возьмите меня трубачом!

Однако этот персонаж жизнью своей глубоко недоволен, доверительно сетует на то, что мечтает он растрепанно, живет рассыпанно, что наделили его богатством, не сказали, что делать с ним, но ему хочется удивляться, хочется удивлять, и он обязательно будет сильным.

Евтушенко рассказывает истории про себя. Из детства. И про то, как он был талантливым завхозом геологической партии («Продукты»), и про то, как у него в поезде украли сапоги и ему самому стало жалко вора, плачущего и босого («Сапоги»»), и про то, что он был страшно неправ, когда мать усаживала его за рояль, он упирался, играть не научился, и теперь всем от этого плохо («Рояль»), и про то, как ему, мальчишке одиннадцати лет, дали книжку Хлебникова, и он, проталкиваясь сквозь магазин, базар и вокзал, эту книжку к сердцу прижимал («Ошеломив меня, мальчишку...»), и про то, как нехорошо вел себя напивающийся фронтовик, приехавший на побывку в родную Зиму («Фронтовик»), — все эти вещи он привез из осенней поездки 55-го года на родину, в город Зима.

Литинститут...

Казалось бы, он там только числился, играл в футбол, баскетбол и волейбол, витийствовал в коридорах, держал речи на собраниях, прогуливал занятия и заваливал экзамены, задирал нос.

Приведем пару документов внутренней литинститутской жизни, довольно бурной. Первый из них — свидетельство нелицеприятной демократии в среде будущих столпов соцреализма. Это — стенгазета вуза, сентябрьский номер 1955 года.

«ГОРЕ, НО НЕ ОТ УМА

Студент Евтушенко зазнался до такого невежества (так! — *И.Ф.*), что три раза пересдавал профессору Г.Н. Поспелову "Горе от ума". Последний раз он не смог назвать дату образования общества карбонариев, а ведь это очень важно для понимания образа Чацкого, которого столпы самодержавия издевательски называли именно "карбонарием". Стыдно советскому комсомольцу не знать истории международных революционных движений. Евтушенко полностью игнорирует замечания по своим стихам руководителя творческого семинара В. Захарченко, во время семинарского занятия пренебрежительно назвал поэзию А. Суркова "сурковой массой". Вместо того, чтобы повышать свой политический и художественный уровень, Евтушенко не только ходит сам, но и затягивает всех морально неустойчивых студентов в пресловутый коктейль-холл — гнездо стиляг. Евтушенко сочинил бестактную эпиграмму на своего сокурсника, бакинца: “Стихи Мамедова Рамиса напоминают плов без риса”, что показывает его несерьезное отношение к ленинской национальной политике. Может ли стать большим поэтом такой горе-студент, как Евтушенко? Ему надо посмотреть на себя со стороны, если, конечно, он на это способен.»

Подпись: *Немолчалин.*

Предыстория второго документа (сохраняем его первичную пунктуацию и замечательную стилистику) такова. В марте 57-го в ЦДЛ прошла дискуссия о романе В. Дудинцева «Не хлебом единым», вызвавшего шумный спор в советском обществе и в писательской корпорации. Вел разговор К. Симонов, соответствующим образом подготовленный сверху. Дисциплинированный, убежденный коммунист не врал — он так думал. Евтушенко бросил гранату — взял роман под защиту. Об этом есть свидетельство современницы, Любови Кабо:

«Напоминаю, что все это происходило в марте 1957 года <...> И тут вдруг, вслед за товарищем из знойной республики, слово взял Евтушенко, — именно так звали молодого поэта, — и говорить начал так яростно, так воинственно, что все невольно приподняли головы. Откинув все, что было заготовлено раньше, — очевидно, так, — отважно импровизируя на ходу, он наскакивал на высочайше инструктированного Симонова разъяренным щенком, гневно вцеплялся в каждое его заключение, не упускал ни одного только что отзвучавшего слова.

Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьёт по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолёт, перелёт, недолёт,—
По своим артиллерия бьёт...

Ах, как они прозвучали кстати, эти стихи Александра Межирова, — словно для подобного случая и были написаны.»

Заметим, Евтушенко тогда сказал, что эти стихи написаны неизвестным солдатом, погибшим на войне. Москва шумела, администрация Союза писателей пришла в замешательство. С Евтушенко надо было что-то делать.

«СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
им. А.М.ГОРЬКОГО
Москва, Тверской бульвар, 25 Тел.: Б 8-61-80, Б 8-51-79, К 5-30-85

9 апреля 1957 г.
№ 443

Товарищ ЕВТУШЕНКО!

Странно, что до сих пор Вы делаете вид будто Вас отчислили из института "за неуспеваемость". В приказе, который Вам известен, сказано: “За систематическое

непосещение занятий, неявку на зимнюю экзаменационную сессию и несдачу экзаменов в дополнительно установленный срок", т.е. за систематические нарушения учебной дисциплины. В нежелании считаться с элементарными обязательными для всех нормами дисциплины Вас обвиняли давно и в многочисленных приказах дирекции института и в постановлениях студенческих собраний и в постановлении Секретариата Союза писателей от 27 апреля 1956 г., но Вы не сделали для себя необходимых выводов и продолжали нарушать учебную дисциплину. Вы стали одиозной фигурой в студенческом коллективе и сами себя поставили вне его, а приказ только оформил созданное Вами самим положение. Если Вы этого не понимаете, то обижайтесь на себя.

В своем письме (на имя ректора В. Озерова. — *И.Ф.*) Вы признаете, что не выполнили даже своего последнего обязательства /а их было много/ погасить задолженность за 4 курс. Кстати говоря, Вы не сдали еще два экзамена и два зачета /а не "один лишь предмет"/ и чистейшим вымыслом является утверждение будто бы в прошлом году не было зачета по русской литературе. Но Вы до сих пор не выполнили и еще одного своего обязательства — сдать экзамены за аттестат зрелости и представить аттестат зрелости, ибо без него Вы не имеете права учиться в вузе. Вас приняли в институт с условием представить в течение года аттестат зрелости, но прошло четыре года и несмотря на устные и письменные напоминания, Вы до сих пор не представили. Чего же Вы хотите? Люди верили Вам, а Вы сами подорвали в них веру в себя и требуете, чтобы Вам снова поверили на слово. Нет уж, извините, нема дурных!

По поручению тов. Озерова отвечаю Вам, что о восстановлении Вас в числе студентов сейчас не может быть и речи.

Зам. директора
по научно-учебной работе

/И.СЕРЕГИН/»

«Нема дурных!» Изысканно сказано. В официальной бумаге. Пахнет высоким творчеством, а не бюрократизмом. Правда, инцидент с евтушенковским поступком на мартовской дискуссии о дудинцевском романе не упомянут и замят, а дело-то было как раз в этом. Хотя и того, что перечисляет Серегин, достаточно для отчисления, скажем прямо.

Почти тотчас, 9 мая, за Евтушенко строго, но справедливо вступается в «Литературной газете» Владимир Луговской (статья «Поэзия — душа народа»):

«Наш "нигилизм" в поэзии — это мода, естественно, преходящая, но мода. Когда талантливый и страстный поэт Е. Евтушенко в своей небольшой поэме "Станция Зима" подвергает все и вся критическому подозрению, — это все очень по-юношески. Если из него получится мужчина-поэт, он будет писать по-другому.»

На Москву надвинулся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва преобразилась. Столько *другого* она давно не видела. Давно, а может быть, и никогда. «...в один день в Москве оказалось столько иностранцев, сколько не было примерно за двадцать пять предшествующих лет. Однако осколки железного занавеса крепко застряли в глазах некоторых людей». Евтушенко со товарищи читает стихи охмелевшей от всемирного восторга всемирной молодежи. Фестиваль прогремел и схлынул, наступило похмелье, произошли неизлечимые перемены в сознании советской молодежи, и за нее взялись по новой.

Как бы то ни было, Евтушенко не скупится на теплые воспоминания: «Литинститут сбил с меня мое мальчишеское зазнайство. Эпоха была скверная, а вот среда была талантливая. Лекции читали Шкловский, Асмус, Светлов, Металлов, Былинский — люди, преподававшие нам совсем не то, что было написано в официальных учебниках. Ни от одного из них я не слышал ни одного подхалимского слова о Сталине, ни одного восторженного слова о докладе Жданова, посвященном журналам "Звезда" и "Ленинград"». К тому же среди тех студентов были фронтовики, просто старшие, хлебнувшие свое. Разговоры, учеба вживую, дружбы и любови.

Он адекватно отреагировал на «апрельские тезисы» институтского (читай — союзписательского) руководства: мощным потоком стихов. Похоже, порка была ему

полезна. 1957 год — чуть не ежедневное возникновение вещей, тут же становящихся классикой момента. Это относится не только к заведомо программным стихам-декларациям типа «Безденежные мастера» — посвящено Юрию Васильеву и Эрнсту Неизвестному — или «Будем великими!» — посвящено Эрнсту Неизвестному, или «Карьера», посвященная опять-таки Васильеву.

Он обзавелся дружбами художников, с некоторыми — на всю жизнь. С Юрием Васильевым он и Белла познакомились во время московского фестиваля. Васильев написал их портреты.

— Я познакомился с новым Есениным!

Евтушенко влюбился в васильевскую мастерскую, практически жилье. Подушка лежака упиралась в токарный станок, над которым висело множество разных инструментов и белые слепки рук друзей. Красный бочонок, запорошенный гипсом, при надобности превращался в стол — на этот бочонок ставился маленький овал. Был там еще и гончарный круг, на котором катались ребятишки художника.

У Эрнста Неизвестного мастерская была полем холостячества. Толпы народа проходили под ее подвальными сводами, подпираемыми могучими фигурами из камня и гипса. Евтушенко приходил туда в любое время суток, ибо там так было принято. Бывало, мастер давал ему ключ от мастерской, точней — показал то место, где лежал тот ключ. В один из таких визитов на поэта с его временной музой рухнуло одно из изделий скульптора, не нанеся, слава те господи, особых повреждений. Вероятно, после этого случая родились строчки с не совсем понятной гендерной самоидентификацией:

Мы с вами из ребра Гомерова,
мы — из Рембрандтова ребра.

Библейская аллюзия на происхождение Евы, пожалуй, слишком смела. Но это не так уж и существенно, поскольку сам процесс стихотворства набрал скорость невиданную, не говоря о внестиховой жизнедеятельности.

Борис Слуцкий, друг и опекун левых московских художников, в основном молодых, сводит Евтушенко с Олегом Целковым — оказалось, на всю жизнь.

Круг его общений выходит на международную орбиту. Ему звонит Семен Кирсанов: «Приехал Неруда... Устраиваю в его честь ужин... Раздобыл по этому случаю седло горного барана... А Неруда обещал сделать какой-то замечательный коктейль...» С великолепным Пабло Нерудой — этим «великим плохим поэтом» — он задружится надолго, они будут встречаться в Латинской Америке, разговаривать, вместе выступать.

На этих скоростях Евтушенко умел совмещать разные темпы стиха, разную тематику, отнюдь не всегда нуждающуюся в динамизме. Еще январское стихотворение 57-го года «Дорога в дождь — она не сладость...» задало тон элегии и впервые напрямую посвящено *Гале*. Пишутся «Патриаршие пруды» и — прямое их продолжение:

Сквер величаво листья осыпал.
Светало. Было холодно и трезво.
У двери с чёрной вывескою треста,
нахохлившись, на стуле сторож спал.
Шла, распушивши белые усы,
пузатая машина поливная.
Я вышел, смутно мир воспринимая,
и, воротник устало поднимая,
рукою вспомнил, что забыл часы.

Возвращение за часами, разговор с женщиной в халатике японском, артистическая обстановка ее жилья, сознание неприкаянности и необязательности этой связи,

расставание и короткая встреча с похожим на себя попутчиком — весь сюжет о том, что «немолодость угрюмо наступает, и молодость не хочет отступать». Это понятно многим, сотням тысяч, и как раз тем, кто умеет читать или слушать стихи.

Мы помним его «Казахстан» с упоминанием топонима Джеламбет. Вот как теперь звучит это слово и то, что за ним стоит, в новом стихотворении:

Заснул поселок Джеламбет,
в степи темнеющей затерянный,
и раздаётся лай затейливый,
неясно на какой предмет.
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу,
строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к гранёному карандашу.
Огни далекие дрожат...
Под закопчёнными овчинами
в обнимку с дюжими дивчинами
чернорабочие лежат.
Застыли тени рябоватые,
и, прислоненные к стене,
лопаты,
чуть голубоватые,
устало дремлют в тишине.
О лампу бабочка колотится.
В окно глядит журавль колодезный,
и петухов я слышу пение
и выбегаю на крыльцо,
и, прыгая,
собака пегая
мне носом тычется в лицо.
И голоса,
и ночи таянье,
и звоны вёдер,
и заря,
и вера сладкая и тайная,
что это всё со мной не зря.

Все, совершенно все, названное поэтом, освещено лучом поразительной точности, а само ощущение переходности, некоторой грани, возрастной и душевной, передано на изумление тонко. Может быть, это было состязанием с пастернаковским: «Мне четырнадцать лет...». Кстати говоря, это стихотворение написано тотчас следом за более чем известным «Со мною вот что происходит...». Возможно, в воспоминании о Джеламбете поэт попытался найти некую точку опоры в дни сердечного раздрая.

Ничего странного не было в том, что несколько позже, в Париже, Георгий Адамович восхитился абсолютной новизной этой речи:

Играла девка на гармошке.
Она была пьяна слегка,
и корка чёрная горбушки
лоснилась вся от чеснока.

И безо всяческой героики,
в избе устроив пир горой,
мои товарищи-геологи,
обнявшись, пели под гармонь.

<...>
Играла девка, пела девка,
и потихоньку до утра
по-бабьи плакала студентка —
её ученая сестра.

Такого действительно еще не было в русской поэзии. Ни символисты, ни футуристы, ни акмеисты, ни постакмеисты, к которым относился Адамович, ни советские поэты, хорошо известные ему, в частности Багрицкий, *так* не говорили.

Не было ни этих рифм, ни этих героев, ни такого автора — плоть от плоти своих героев, умеющего, между тем, быть незаметно изощренным, вполне искусным.

Диаспора лелеяла традицию. Ходасевич, Георгий Иванов, сам Адамович — хранители золотого запаса русского стиха, отнюдь не чахнущие над сокровищем, как тот Кощей. Новации вполне допускались, но умеренные. Адамович, по-видимому, непредубежденными глазами обнаружил в Евтушенко известную меру *консерватизма*, то его свойство, о котором не догадывались многие, особливо заведомые ругатели.

Сверхнасыщенное лето 57-го года пролетело. Стремительный, изгнанный из вуза Евтушенко пишет «О, нашей молодости споры...» ровно 1 сентября 57-го — школьники и студенты празднуют начало учебного года. В литинститутских коридорах — гвалт: те самые споры.

У Евтушенко вышла в том же 57-м книжка «Обещание», ее восприняли поразному, но в основном так, как написал в «Литературной газете» от 8 апреля 1958 года Владимир Солоухин в статье «Без четких позиций». Солоухин цитирует «Всё на свете я смею, / усмехаюсь врагу...», комментируя от себя (ничего подобного в стихотворении Евтушенко нет):

«Подумаешь, подвиг, усмехнуться в лицо сидящему против тебя в писательском ресторане человеку, ругающему твои стихи и по одному тому причисленному к стану врагов! <...> А какое до этого дело забойщику из Донбасса, строителю Куйбышевской ГЭС, создателям спутника Земли и крестьянину Кузьме Бакланихину из нашей деревни?»

Цитируя «Пролог», Солоухин настаивает на необходимости четких коммунистических позиций в духе Маяковского (о заграничных вояжах, пока еще розовых мечтах «разного» поэта). На свой лад проницательно: скоро вояжи начнутся.

А покуда он разъезжает по стране. От Дальнего Востока до Грузии. 2 июля он пишет из Владивостока — в Тбилиси, художнику Ладо Гудиашвили: «Живу сейчас на берегу Тихого океана — брожу тайгой, обросший бородою, плаваю на краболовных судах... У меня сейчас такое же чистое и хорошее настроение, прозрачное настроение, как на Вашей картине “Всевидящее око”. Чувствую, что могу сделать что-то очень большое, особенно здесь, у Океана, на берегу которого я живу <...> мы еще побродим по Грузии, как Тили Уленшпигели, и еще попьем вина из фонтанчиков на выставках. Мы ведь с Вами ровесники...»

Ладо было 62. В прошлом году, вдвоем гуляя по сельхозвыставке в Сигнахи, они так наугощались белым вином из фонтанчиков, что их нашли спящими в клетке с волкодавами на сене. Волкодавы испуганно забились в угол.

Он обожал грузинскую живопись. Не только Ладо. Было дело, однажды в мастерскую своего друга Васильева Евтушенко принес холст Пиросмани «Олень», завернутый в связанную большим узлом скатерть. Там же были осыпавшиеся при случайном падении картины куски краски и грунта. Васильев все восстановил.

В Приморье, побывав на тигриной охоте, на холодном ветру с моря, он несколько приболел, трудно осилил недуг в горах Сихотэ-Алиня, стихов Владивостоку не оставил, но с лихвой компенсировал в пути по Японскому морю на Камчатку: один только «Вальс на палубе» чего стоит:

Курилы за бортом плывут...
В их складках
снег
вечный.
А там, в Москве, — зеленый парк,
пруд,
лодка.
С тобой катается мой друг,
друг
верный.
Он грустно и красиво врёт,
врёт
ловко.
Он заикается умело.
Он
молит.
Он так богато врёт тебе
и так
бедно!
И ты не знаешь, что вдали,
там,
в море,
с тобой танцую я сейчас
вальс,
Белла.

Тут легко разглядеть «друга верного» Межирова, и почва для ревности есть, и вера в дружбу и любовь звучит двояко, с преобладанием надежды на все хорошее — комок чувств, на волне музыкального размера 3/4 поднятый до звука чистого и молодого.

Тогда же он начал (дописал в 96-м) «О, сколько стран у нас в стране!..», с такой концовкой:

Нельзя быть крошечным поэтом
в такой громадине-стране!

Он привозит стихи отовсюду, где бывает. Многописание — вторая натура, он просто не может не писать. Это тот художнический организм, которому необходима подпитка извне. Еще были живы Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани — «классики не только поэзии, но классики грузинского характера».

И в снах твоих медленных, Грузия,
сплошной вереницей даров
плывут виноградные гроздья,
как связки воздушных шаров...

О том же — его спутница и муза Белла:

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.

«О, институт, спасибо, друг, тебе»... — стихотворение благодарности своей alma mater, но не только: там появляется ценнейший плод — яблоко, которое значит больше, чем фрукт, оно — эмблема слова в другом его стихотворении: «Не важно — есть ли у тебя преследователи...»:

Да будет слово явлено,
простое и великое,
как яблоко
с началом яблонь будущих внутри!

Это будет написано позже, в 59-м, и тогда же ему ответит гипотетическая героиня того институтского стихотворения:

Так и сижу — царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат...

Растите и развивайтесь

Евгений Винокуров в 53-м пришел в Литинститут с пустым ведром, грохоча по нему кулаком с криком: «Умер тиран!» В 56-м на волю выпустили мученика Даниила Андреева, и через 23 месяца он умер в только что полученной квартирке. Наум Коржавин («Эмка» Мандель) пришел издалека в непотребной шинелке, его гнали из приличных компаний за дух, источаемый одежкой. Аркадий Белинков пришел оттуда же, его устроили в Литинститут читать лекции, но быстро уволили — по доносу студентов.

По Арбату ходил ушастый юрод богатырского телосложения Николай Глазков.

Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия...

В 58-м бдительное издание «На рубеже» пишет:

«Кто же позволил поэту проповедовать столь безысходный пессимизм, кто дал право клеветать на нашу действительность? ...сборник Евтушенко “Шоссе Энтузиастов”... это поклеп на наших замечательных советских юношей и девушек, воспитанных нашей партией и комсомолом и идущих в первых рядах строителей коммунизма».

В 58-м на бывшей Триумфальной площади воздвигли бронзовое многопудье Маяковского. Почти одновременно вспыхнул нобелевский скандал Пастернака. Можно сказать, оба дождались своего часа. Государство сталкивало их лбами. В долговременной перспективе живой лоб оказался целей медно-оловянного.

31 октября в Доме кино на улице Воровского собрались писатели. Кто чего говорил на том толковище — практически все равно, потому как почти все говорили одно и то же. Выделялись — поэты, потому что это были выдающиеся поэты — Слуцкий и Мартынов. В дурном спектакле акцент пришелся на поэтический цех, надписательские структуры перевели стрелку инициативы на стихотворцев — со стороны дело выглядело так, что это именно они затеяли акцию осуждения члена секции поэзии, намахавшего посредственный роман, и первым после вводного слова С.С. Смирнова, главы московской писательской организации, выступил Л. Ошанин, председатель бюро поэтической секции, — должность техническая, но Ошанин старался. Поэтам поручили это дело, по-видимому, потому, что свое решение Нобелевский комитет сформулировал так: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».

Потом пошел поток заурядных (не считая К. Федина) прозаиков, критиков, журналюг (А. Софронов, якобы поэт) с речами бесцветными и полуграмотными,

талантливый Солоухин (а ведь тоже поэт) привел три цитаты из пастернаковских стихов и во всех трех грубо ошибся, только два больших поэта-эрудита поддержали марку, подняв говорильню на относительно приемлемый интеллектуальный уровень. Увы.

Евтушенко не голосовал. Его, комсорга московской писательской организации, еще до собрания вызвали в райком, обязывая выступить, — уклонился. Когда в зале поднялся лес рук, его там не было.

Есть и еще одна сторона сей поэтической тяжбы. Мы, ныне живущие, попросту не знаем, поскольку мало что помним, той конъюнктуры, той иерархии поэтов, которая исподволь выстраивалась еще на рубеже 40—50-х. Первым поэтом — во мнении самих поэтов, тогда относительно молодых, или нестарых, — считался Мартынов. Слуцкий называл себя вторым. Пастернак, как бы уйдя в предание, сидел на даче, в тиши, в тени, над переводами, во всеуслышание отрицая сам себя. Его новое появление — со стихами и романом — путало карты, портило картину, меняло ландшафт. Конфликт назревал со всех сторон.

В мемуарной книге Вяч.Вс. Иванова «Голубой зверь» автор вкратце рассказал о том, как в новогоднюю ночь 60-го года Д. Самойлов, находясь у него на даче, надерзил Пастернаку: вас, дескать, не поймешь, за красных вы или за белых. Слуцкий, когда Пастернак предложил выпить его здоровье, сказал:

— Я уже здоров.

Так начинались 60-е.

Евтушенко не бегал к Пастернаку на переделкинскую дачу, как это делали литинститутские однокорытники Ю. Панкратов и И. Харабаров. В пору погрома 58-го года эти ребятки предали учителя с потрохами.

Они рассказывали о своем закадычном приятельстве с Пастернаком, именуя его Борисом, даже Борей, и говорили той же Белле Ахмадулиной, что Боря зовет ее и Женю к себе. Она же терпеть не могла амикошонства, а на Пастернака смотрела настолько издали, что однажды, заметив его на общей для них обоих лесной тропе, стушевалась и прошла мимо потупив очи.

Бывали на той даче юные Вознесенский, Айги, но не Евтушенко с Ахмадулиной.

Впервые Евтушенко, начинающий автор семнадцати лет, увидел близко Пастернака, когда Пастернак пришел читать перевод «Фауста» в ЦДЛ, и в вестибюле был ошеломлен его простецкой одеждой (так себе пальто, общемосковская кепка) и вопросом, нараспев обращенным к потерявшему дар речи юнцу:

— Скажите, пожалуйста, где тут состоится вечер Пастернака? Я, кажется, опоздал...

Читал он без актерства, быстро устал и сказал наподобие хлебниковского «и так далее»:

— Извините, ради Бога, я совсем не могу читать. Все это глупость какая-то...

В зале, кутая плечи в белый пуховый платок, сидела Ольга Ивинская. Но о той любви Женя узнал гораздо позднее.

Прошли годы, состоялось настоящее первое знакомство. Во всю первую страницу книги «Сестра моя — жизнь» Пастернак написал (художнический почерк, по-пушкински летящие линии с несоразмерными удлинениями, берущими начало полутора веками раньше): «Дорогой Женя, Евгений Александрович, Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательством своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем.

Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных исчерпывающих формах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б. Пастернак

Переделкино 3 мая 1959 г.»

Здесь Пастернак многозначительно перефразировал самого себя — стихотворение «После грозы», написанное в июле минувшего 58-го года:

Не подавая виду, без протеста,
Как бы совсем не трогая основ,
В столетии освободилось место
Для новых дел, для новых чувств и слов.

А само знакомство было забавным. Евтушенко обязали в Иностранной комиссии Союза писателей сопроводить на дачу Пастернака итальянского профессора Анжело Мария Риппелино. Пастернак встретил их в саду, смуглый, седой, в белом холщовом пиджаке, был чрезвычайно прост и открыт, волнующемуся Евтушенко с ходу сказал, что он его знает, а итальянца принял за грузина, но итальянцы тоже молодцы, и все прошли в дом, там были уже люди, и был разговор, ели цыпленка и пили вино, Женю Евтушенко попросили прочесть стихи.

«Свадьбы» на Пастернака не подействовали, но «Пролог» вызвал восторг, объятие и поцелуй.

— Сколько в вас силы, энергии, молодости!

А «Одиночество» вызвало слезы и комментарий:

— А вот это от Пушкина — он тоже сумел поблагодарить женщину в час расставания. Женечка, думаете, вы написали это про себя? Нет, и про меня, и про всех мужчин. Это про всех нас — и про вас, и про меня...

Прощай, любимая!
Я твой
угрюмо,
верно,
и одиночество —
всех верностей верней.
Пусть на губах моих не тает вечно
прощальный снег от варежки твоей.
Спасибо женщинам,
прекрасным и неверным,
за то,
что это было всё мгновенным,
за то,
что их «прощай!» —
не «до свиданья!»,
за то,
что, в лживости так царственно горды,
даруют нам блаженные страданья
и одиночества прекрасные плоды.

Гости разошлись, разговор продолжился наедине и сильно затянулся, хотя Евтушенко надо было утром улетать в Тбилиси, где Пастернак гостил недавно — ранней весной, и Пастернак загорелся, страшно захотел туда же, и дело почти сладилось...

«Но тут появилась уже, казалось, ушедшая спать Зинаида Николаевна и грозно сказала:

— Вы — убийца Бориса Леонидовича. Мало того, что Вы его спаиваете целую ночь. Вы еще хотите его умыкнуть... Не забывайте того, сколько ему лет и сколько вам.

Я потихоньку смылся от ее справедливого гнева, неожиданно для себя самого проведя в доме великого поэта время с 11 часов утра до 5 часов утра следующего дня — 18 часов!»

Через год, 2 июня, Пастернака навсегда проводили из этого дома.

В № 12/1960 «Юности» Евтушенко печатает стихотворение «Ограда», лукаво

посвящая его якобы памяти Луговского, о чем договаривается с его вдовой. На самом деле речь о Пастернаке:

Он шёл, другим оставив суетиться.
Крепка была походка и легка
серебряноголового артиста
со смуглыми щеками рыбака.

Пушкинианец, вольно и велико
он и у тяжких горестей в кольце
был как большая детская улыбка
у мученика века на лице.

Имя Луговского используется в качестве прикрытия. Но некая тайная, закономерная связь во всем этом все-таки была.

Эпос середины века создал Луговской, *лирика* досталась Евтушенко. При этом середина века, по Луговскому, состояла из многих исторических пластов первой половины столетия, в то время как Евтушенко принародно стенографировал происходящую на глазах историю, текущий день, летящее время.

Свежести!
Свежести!
Хочется свежести!
Свадебной снежности
и незаслеженности,
свежести мускулов,
мозга,
мазка,
свежести музыки
и языка!

Случись ужасное — уйди он, допустим, в 59-м, тем более как-нибудь трагически, та чемпионская дистанция, которую он проделал в середине века на одном дыхании, тем не менее осталась бы в русской поэзии незабываемой золотой милей, нежной памятью поколения, и, возможно, термина *шестидесятники* попросту не появилось бы: без Евтушенко это пустой звук.

Долгота рифмы

Геолог и спелеолог Виктор Сербский жил в Братске. Он собирал книги. Очень много — современных поэтов. Евтушенко — более шестидесяти книг. Когда Евтушенко, приглашенный в дом Сербского, увидел все это, ему — в восхищении библиофильским подвигом — захотелось надписать каждое издание. Листая книжку «Я сибирской породы», на странице 54-й, где был «Вальс на палубе», он наткнулся на следующую запись: «Виктору Сербскому с любовью к поэту Евгению Евтушенко — Белла Ахмадулина». Свой автограф она оставила 25 марта 1974-го на вечере Окуджавы в ЦДЛ.

Евтушенко откликнулся своим автографом: «Глубочайше тронут тем, что рукой Беллы — ее драгоценными пальчиками подтверждено то, что хотя бы когда-то она любила меня. Евг. Евтушенко. 2.06.1994»

Есть определенное сходство, как это ни парадоксально, поэтик Ахмадулиной и Евтушенко. Не только упор на самоновейшую рифмовку, но и предметная живопись с тончайшей детализацией, эмоциональный нарратив, сюжетность многих вещей, установка на зрительный зал, требующий доступно-развернутого повествования, — отсюда многословие, тоже общее. Размежевание, разделение ролей произошло согла-

сно природе каждого. Ее тяга к изящному равна его трибунности, каждому свое, но варились эти поэты поначалу в одном котле, хотя ее читательские предпочтения его отторгали: Пруст, всякое такое.

Евтушенко писал в нашумевшей «Автобиографии»: «...поэтесса тонкого таланта и безграничного очарования. Это под взглядами ее прекрасных глаз я объяснял, что надо спасти молодежь от безверия и цинизма, очистив наш революционный идеал. Наш долг, долг поэтов, состоял в том, чтобы дать всей этой молодежи идеологическое оружие, чтобы она могла пользоваться им в предстоящих боях. Глаза Беллы поняли меня, она согласилась со мной... Это было доказательство, что я на верном пути. Это было ободрение идти дальше».

Мама Беллы работала в КГБ переводчицей. Может быть, Белла и впрямь была такой идейной девушкой. Двоюродный дедушка, революционер А. Стопани дружил с Лениным, прах его лежит у Кремлевской стены. Между прочим, он родился в Усолье-Сибирском, это не так уж и далеко от станции Зима. О Белле можно было бы сказать, что она из «хорошего дома», но дома как чего-то целокупного не было: отец, замминистра, ушел из семьи. Некоторое время она, еще школьницей, вне штата сотрудничала в многотиражке «Метростроевец», студенткой выезжала в Сибирь и восхитилась ударниками комтруда:

Работа мне нравится эта,
в которой превыше всего —
идти, удаляясь от света,
чтоб снова достигнуть его.

Встать в ряд певцов комтруда ей удалось лишь на крайне краткое время. Евтушенко выдавал желаемое за действительное. С ним это бывало часто, потому как это и есть романтика. Великие сибирские стройки и освоение целины сопровождались не ее песнями.

Евтушенко был старше на пять лет, когда судьба свела их, в сущности, детей: ему двадцать два, ей — соответственно. Эта — семейная — рифма не слишком долго существовала, но о рифме как таковой — стиховой — стоит подумать, глядя издали на эту пару: не естественно ли предположить, что способ рифмовки подсказал Ахмадулиной по праву старшего — Евтушенко?

Этой гипотезе есть подтверждение — интервью Ахмадулиной, затерявшееся в новосибирской периодике (газета «Молодость Сибири») 76-го года: «Вообще у меня много посвящений, есть несколько Жене Евтушенко. <...> Когда я появилась со своими первыми стихами, многие отметили в них свежесть, но в них была и какая-то расплывчатость формы, которую я всю жизнь презираю. Я люблю и уважаю мастерство безукоризненное, знаю, что это тяжело...

У меня была очень расслабленная строка, длинная, и Евтушенко очень много мне помог уроком творчества, просто влиянием. Он убедил меня, что это тяжелейшая работа, что формула строки — это не просто слово, слово, слово. В молодости я как-то сковала себя, и мне нужно было выправиться, и я много сил отдала всяким играм с рифмой, в общем, всему, что касается внешней стороны стиха».

В юности пять лет разницы — не пустяки. Быстроногий Женя к поре их встречи обежал многое и многих: вечера поэзии, библиотеки, книжные магазины, жилища взрослых поэтов.

Так или иначе, оба они к рифме как таковой и вообще к стихотворству отнеслись намного глубже, нежели к собственному союзу. Он берет вину на себя, объясняя разрыв принуждением к нерождению ребенка и «любопытством» к другим женщинам.

Что осталось? Стихи. Обмен стихами. Недолгая легенда о новых Сапфо и Алкее — литературно-музыкальная композиция шестидесятых, начатая в пятидесятых. Спектакль посвящений. Двух соловьев поединок.

В результате она решительно сняла все посвящения. Он — оставил. Но посвящениями невозможно покрыть все происходящее в лирике. Во многих его стихах, не отмеченных посвящениями, несомненно действует невыдуманная героиня — она, и никто иной.

Вся книга «Шоссе Энтузиастов» (1956), по некоторым свидетельствам, в теме любви посвящена Наталье Апрелевой, в то время студентке Литинститута. «Дворец» (1954) посвящен Н. Апрелевой. Стихотворение «Пришло без спроса...» от 19 апреля 54-го — о ней:

Я до беспомощности нежен
в рассветном скверике пустом
перед прекрасным, побледневшим,
полуоткинутым лицом.

Именно в этом стихотворении есть строки, долгие годы бесившие критиков — пуристов и скромников:

Припав ко мне,
рукой моею
счастливо гладишь ты себя.

Это был трудный роман, трудно оборванный. На сцену евтушенковской жизни явилась Белла Ахмадулина, первокурсница того же вуза. По отцу татарка, по матери русская с не очень дальними итальянскими призвуками, девушка неожиданной внешности, с ореолом нездешности, с «чертами гениальности», о чем напрямую черным по белому ей написал в личном письме сам Илья Сельвинский, Белла стала угрозой абсолютизму Апрелевой в сердце Евтушенко. Завязался непростой треугольник.

Так или иначе, ближайший Новый год они с Беллой встретили вместе в Дубовом зале ЦДЛ. Там благовоспитанная Белла была поражена тем, как ведут себя пьяные песнопевцы эпохи, и ошеломленно ушла в ночь, в метель, в легких китайских туфельках, и он не пошел ее провожать.

Беллу, восемнадцатилетнюю, Женя привел к маме на смотрины на Четвертую Мещанскую. Возлюбленная сына была белокожая, с веснушками, толстушка, очень полногруда и с косой — русо-рыжей. На пряменьких зыбких ножках и с тонкими ручонками. Сестра Жени — Лёля — за глаза прозвала ее Бельчонком. «Бельчонок» потом перекочевал в прозу Жени. Мама благословила его выбор. Спросила только:

— Что же она у тебя такая толстая?..

Поженились они в 55-м, долго не тянули. Пара перебралась в квартиру Беллиной мамы на Старой площади. Комнат было две. В одной жили мама и тетя Беллы — Надежда Макаровна и Кристина (или Христина) Макаровна, а в другой — молодожены. Но вскоре Надежда Макаровна выхлопотала себе комнату в коммуналке у метро Войковская, на улице Зои и Шуры Космодемьянских. Сестры остались на Старой площади, а Белла и Женя съехали по новому адресу. Это был длинный «пенал» в коммуналке.

Дом сталинского ампира стоял перед Тимирязевским парком. Женя бегал в парке по утрам. Ноги его очень любили бегать: даже в Париже, ненадолго поселившись возле Пер-Лашез, он бегал трусцой по кладбищенским аллеям, немного совестясь за свое вторжение, но другого места для беготни поблизости не было.

Нельзя сказать, что бедствовали. Надежда Макаровна на два года уехала в Нью-Йорк — кажется, в переводческое подразделение ООН. Молодым была оставлена доверенность на получение части ее зарплаты. Женя, взяв это дело на себя, смело ходил в укромный особнячок на Лубянке, в бухгалтерию Конторы. Его там заметили недобрым глазом со стороны, и когда пошли определенные слухи, было не

до шуток. У Соколова точно сказано: «Потому что не до шуток в пятьдесят шестом году». Но, вообще говоря, интересно: сексоты — они ходят на виду у всех за материальным вознаграждением?..

Было весело и высоко. Луговской в ту пору восклицал: «Выходи на балкон. Слышишь — гуси летят». У нашей молодой четы был свой балконный вариант, далекий от ревромантизма. На московском балконе соседа содержалась коза, и Белла скармливала парнокопытной красавице щедрые букеты роз, преподносимые своими бесчисленными поклонниками. Ну а с третьего этажа дома в Сухуми, где они отдыхали у моря в квартире отъехавшего друга, они опускали вниз на веревке авоську с пустыми бутылками, в горлышко одной из которых была воткнута пятерка, и получали назад сосуды с ледяным боржоми и пламенеющим александреули — привет от Гоги, торгующего под домом.

В тех отношениях и в тех стихах было всякое. Было такое:

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжёлая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешёвая.

Было и так:

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

Он все чаще стал возвращаться домой поздно. Ответом были ее поздние возвращения. Она переменила прическу, обратилась к сигаретам и коньяку.

В «пенале» стал появляться Юрий Нагибин, давний знакомец Зинаиды Ермолаевны. Седоголовый плейбой, богач и сердцеед. Лет ему было прилично — ближе к маме Жени, чем к Белле, но глаз он однозначно положил на Беллу.

В «пенале» праздновали очередной день рождения Жени. Он свои праздники любил. С утра Зинаида Ермолаевна и Лёля жарили и парили. Белла не участвовала — по непригодности, даром что на целине была поварихой. Стол поставили во всю длину «пенала». Гости собрались, маленькая Лёля незаметно исчезла. К вечеру дома, на Четвертой Мещанской, появилась возбужденная Зинаида Ермолаевна. Произошло пренеприятное: подвыпивший Юрий Маркович открытым текстом предлагал Белле руку и сердце — под тем предлогом, что Женя ей изменяет и вообще не пара. Женя схватил огромное майоликовое блюдо — подарок пожилого селадона, вывезенный из Африки, — и метнул в обидчика. Блюдо, по счастью, пролетело мимо, ударилось о стену и разлетелось на мелкие кусочки, как зеркало тролля из андерсеновской сказки.

Шло время, Белла все же ушла к Нагибину, а Женя покинул комнату тещи и, претерпев беспрерывную карусель женских ст*а*тей в съемном пристанище над «Елисеевским» гастрономом, нашел тихий приют на Сущевской.

У нее он остался в таких вещах: «Невеста» (1956), «Влечёт меня старинный слог...» (1957), «Я думала, что ты мой враг...» (1957), «Жилось мне весело и шибко...» (1957), «О, ещё с тобой случится...» (1957), «Не уделяй мне много времени...» (1957), «Живут на улице Песчаной...» (1958), «Август» (1958), «По улице моей который год...» (1959), «Апрель» (1959), «Нежность» (1959), «Несмеяна» (1959), «Мы расстаемся — и одновременно...» (1960), «Сказка о Дожде» (1962), «Прощай! Прощай! Со лба сотру...» (1968), «Я думала, как я была глупа...» (1970), «Сон» (без даты).

Чем дело кончилось?

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

И точка. С ее стороны.

Все, что происходило потом — нравственное и гражданское отторжение, холодная попытка закрыть тему, конструкция нового дружеского синодика, другие предпочтения и привязанности, перегруппировка равных ей задним числом, — уже не имеет отношения к тому, что состоялось в слове и вошло в историю русского стихотворства.

У него о ней — не меньше. «Глубокий снег» (без посвящения, 1956), «Обидели...» (1956), «Моя любимая приедет...» (1956), «Со мною вот что происходит...» (1957), «Вальс на палубе» (1957), «Лёд» (1957), «Она все больше курит...» (1957), «Одиночество» (без посвящения, 1959), «Я комнату снимаю на Сущёвской...» (1959), «Поэзия чадит...» (1966), «Прошлое» (1976) и проч. Кроме того, она возникает в его прозе — в романе «Не умирай прежде смерти», в эссеистике о поэзии, в мемуарах.

Они сумели зафиксировать в раннем диалоге вот эту молодую сумятицу, бестолковщину любящих, телячьи нежности и щенячьи радости, ссоры, разрывы, примирения, высокотемпературные инвективы и клятвы до гроба — о, благословенная неразбериха первого чувства, начала судьбы, ничегонезнание и пророческое предвидение будущего. Великое благо — это сделали талантливые люди, истинные поэты. Аналогов нет.

Есть обмен стихами между Ахматовой и Гумилевым (с большим преобладанием его текстов), между не-супругами Мандельштамом и Цветаевой (тут намного щедрее была она), но там и там — в стихах — не было истории любви со всеми нюансами, животрепещущими болями, эпизодическим катарсисом и печально-благодарным финалом. Лирика на грани эпоса, с выходом на картину жизни всего поколения. Так им написано «Одиночество», по всем статьям — маленькая поэма:

Мы,
одиночества стесняясь,
от тоски
бросаемся в какие-то компании,
и дружб никчемных обязательства кабальные
преследуют до гробовой доски.
Компании нелепо образуются—
в одних все пьют да пьют,
не образумятся.
В других все заняты лишь тряпками и девками,
а в третьих —
вроде спорами идейными,
но приглядишься —
те же в них черты...
Разнообразны формы суеты!
То та,
то эта шумная компания...
Из скольких я успел удрать —
не счесть!
Уже как будто в новом был капкане я,
но вырвался,
на нём оставив шерсть.
Я вырвался!
Ты впереди, пустынная
свобода...
А на чёрта ты нужна!
Ты милая,
но ты же и постылая,
как нелюбимая и верная жена.

А ты, любимая?
Как поживаешь ты?
Избавилась ли ты от суеты?
И чьи сейчас глаза твои раскосые
и плечи твои белые роскошные?

На гребне волны

Шестидесятые начались для Евтушенко с напутственной статьи Вл. Барласа «Всегда ли верить вдохновенью?» («Литературная газета» от 9 января 1960 года).

В вопросе, разумеется, заключался ответ. Это было предупреждение. Да, «На велосипеде» — настоящие стихи. Но: «Как он торопится! Как будто только что первый он ощутил... ну, хоть ясную тишину летнего воскресенья в Подмосковье. Как будто все, что он видит, он видит впервые и навсегда, и только он один сейчас может открыть людям радость этого раннего летнего утра. И нужно успеть первым... И ничего не скажешь — это заражает. Мокрая мелочь на ладони, пропылившийся ездок, привалившийся к теплой квасной цистерне, “какие вы хитрые...” — все это, конечно, пустяки, подробности. Но они уверенно отделены от сотен на вид таких же пустяковых подробностей, точно подогнаны к раскатистому, четкому ритму — и шуршат по шоссе шины, бегут, щелкая в такт педалям, строчки... Короче говоря, настоящие стихи...»

Барлас озабочен судьбой этого поэта, хорошо ему известного. «Складывается она на удивление шумно». Обращаясь к Евтушенко непосредственно, Барлас призывает-таки поэта сбросить с себя «побрякушки самолюбования». Справедливо. Но тщетно. Евтушенко не может не любоваться собой — чем он хуже в этом смысле своих читателей, полюбивших его?

Барлас спрашивает: «О каждом ли чувстве стоит писать?» Писать стоит о каждом чувстве, о каждом человеке: «Людей неинтересных в мире нет», «Каждый человек — сверхдержава». Или: «У меня на свете две любимых, / это Революция и ты». На самом деле — любимым несть числа. Литкритика и весь народ начиная с 57-го взахлеб склоняют евтушенковское откровение:

Ты спрашивала шёпотом:
«А что потом?
А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растеряна...

У Б. Рунина («Новый мир», № 11/1960, статья «Спор необходимо продолжить») можно отметить пару интересных пунктов в его разговоре о поэзии вообще, включая Евтушенко. Он поднимает тему о праве поэта на речь от первого лица (это поныне на изумление актуально), уместно поминая Маяковского:

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультца
всё равно что неприличность.

Стоит всмотреться в имена, приводимые Руниным: «Самовыражением поэта являются стихи Пушкина и Бенедиктова, Некрасова и Майкова, Демьяна Бедного и Ходасевича, Уитмена и Киплинга».

Ходасевич! Эмигрант!

Это же прямая идеологическая контрабанда, если не диверсия. На смех курам прикрытая бедным брюхатым Демьяном. Смешно, — Ходасевича блюстители идейной чистоты молча проглотили, накинувшись, в одном из отзывов на рунинский перечень, — на имя Киплинга, певца колониализма.

Уровень непримиримой критической мысли выглядел так: «Никто не назовет Хлебникова или Сальвадора Дали бездарностями, но раскрыли ли они горизонты искусства? Нет!» (А. Елкин).

Но и сторонники не дают спуску. Суровый друг Луконин имеет достаточно весомые личные основания для таких слов: «Перед Евтушенко стоит выбор — или его захлопнут, как бабочку, ладони восторженных девиц, или он соберется к подвигу большой глубинной поэзии...» В 60-м Евтушенко окончательно расстается с Беллой. Его женой становится Галина Сокол-Луконина. «До свидания, Миша и Галя!» К тому времени она шестнадцать лет была за Лукониным. Галя была кремень. Максималистка. На роль жены подходила стопроцентно. Ум и образованность вписывались в общий облик. Была красива. Особенные глаза, воспетые как минимум тремя поэтами. Чуть заметный шрам над губой, тоже воспетый, хотя был получен в результате супружеских трудностей.

Американка Ольга Карлайл (Андреева-Карлайл) — человек России не чужой: внучка Леонида Андреева. Это она содействовала перевозке за границу (1967) и публикации «В круге первом» Солженицына (потом их отношения сильно осложнились). В 1965-м в литературном журнале «Paris Review» она поместила статью «Искусство поэзии». Герой статьи — Евтушенко.

«В мрачном, огромном отеле "Метрополь" я занимала несколько комнат, оформленных в викторианском стиле. Стены были отделаны панелями, и тяжелые шторы идеально подходили для «Метрополя», имевшего многолетнюю репутацию как учреждения, где за иностранцами и их гостями внимательно наблюдал персонал отеля и, возможно, даже следил. Но в конце дня Евтушенко, как только приехал, снял пальто, отряхнул хлопья снега с серой астраханской меховой шапки и преподнес мне большой букет тепличной сирени...

Евтушенко очень высокий, пепельно-русый молодой человек с маленькой головой на длинном мускулистом теле, с бледно-голубыми, с чувством юмора, глазами, тонким носом на круглом лице и открытой манерой поведения, что было поразительным в Москве тех дней. Не обращая внимания на гнетущую обстановку, он сел и без предисловий заговорил о русской поэзии. Он говорил о себе, вспоминая великого поэта двадцатых годов Маяковского и, наконец, современных советских поэтов. Его щедрость к своим товарищам поэтам поразила меня сразу; он назвал многих, цитируя целые строфы некоторых. “Вознесенский и Ахмадулина являются нашими наиболее перспективными поэтами, — сказал он. — Ахмадулина наследует великую русскую традицию женщин-поэтов Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Это традиция высокая, полная лиризма. Она моя жена, — сказал он, улыбаясь, — и вы должны познакомиться с ней. Увы, я сам принадлежу к менее возвышенной поэтической традиции. Мои стихи, как правило, продиктованы современными событиями, с внезапными эмоциями, но такова природа моего таланта...”

Евтушенко был в процессе становления как национальный символ: разоблачение сталинизма было начато на уровне поэзии. К концу моего долгого разговора с ним я знала, что я слышала убедительный глас общественности, целого поколения.

Год спустя, в Нью-Йорке, я видела его на академическом приеме, где, после прочтения его жизнерадостного, оптимистичного стихотворения «На велосипеде», с обворожительной проницательностью он ответил на много сложных политических вопросов довольно враждебной, активно антисоветской аудитории...»

Первый раз Евтушенко посетил Америку в том же 60-м году — туристом, с 33 долларами в кармане и тремя словами в языковом багаже, а именно: *Where is striptease*?

Недаром Контора долго стояла поперек его пути на Запад. У него к той поре был, можно сказать, богатый опыт общения с Лубянкой. Ну, во-первых, он там получал в свое время тещины деньги. А во-вторых, был как-то прошен и на особую встречу.

После очередного дня рождения, в 57-м году, его пробудили коротким звонком в дверь. К нему явилась Контора в образе крайне вежливого человечка, предложившего пожаловать к ним на Лубянку. Башка трещала, ему было дано время на ее лечение. Оздоровлялся он в обществе могучего друга, заночевавшего у него, автора стихов про пустой рукав. Луконин сказал: не боись, нас всех туда вербуют, иди и постарайся выскользнуть.

У Евтушенко получилось. В большом кабинете он познакомился с большим человеком — с 1956 года начальник отдела в 4-м управлении КГБ (идеологическая контрразведка), потом он возглавит 5-е управление, того же профиля. Ф.Д. Бобков. Поражало сочетание стальных глаз с известной приветливостью. В результате диалога, в котором были обещания дальних заморских дорог и номера в гостинице «Центральная» для сердечных встреч с лирическими героинями, Бобков отступил, поскольку проинструктированный старшим товарищем хитрец валял ваньку в том смысле, что ему ничего нельзя доверять и он находка для шпионов.

Интересно было услышать в таком кабинете из уст собеседника цитату из себя — «Границы мне мешают...». Были перепутаны страны, о которых мечтает автор «Пролога», но дело не в этом. Хозяин кабинета в те годы выращивал малолетнего сына, уже готового насмерть влюбиться в евтушенковские стихи.

В том номере «Юности», где Евтушенко печатает «Ограду», тотчас следом идет «Москва и Куба», вещь, с которой начнется триумфально-обвальный кубинский цикл.

Фидель,
возьми меня к себе
солдатом Армии Свободы!

Те стихи ушли, как ушла та Куба.

В начале века Маяковский произносил словцо «поэт» уничижительно, попирая эстетизм, салон, ликерную изысканность. Он предрекал:

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут Богу в своё оправдание.

Во второй половине века (октябрь, 60-й) поэта несли на руках студенты к памятнику Маяковскому.

— Женя! Читай о Кубе!

Он читал. Толпа затопила площадь и улицу Горького, транспорт остановился. Милиция втащила поэта в свою машину, «Победу». Пытались качать «Победу» с поэтом. Долго еще потом по площади девушки искали свои туфельки.

Евтушенко стал бурно осуществлять программу «Пролога», глотая страну за страной от Кубы до Франции, Германии и далее по карте мира: США, Англия, Испания, Дания, Болгария, Того, Либерия, Гана.

Никакие декларации и заверения, вполне искренние, не упасают Евтушенко от потока обвинений, идущих уже автоматом. Ни один из уважающих себя критиков — в ту пору критики себя уважали особенно глубоко — не мог себе позволить попущения евтушенковскому неформату. А тут еще и шутка истории — возник второй, почти такой же, зовут его Андрей Вознесенский. С некоторых пор Евтушенко уже не появлялся в критических статьях без этого прицепа, оскорбительного для второго члена дуумвирата.

Этой дикости положили конец Н. Асеев и С. Наровчатов, выступив со статьями, соответственно — «Как быть с Вознесенским?» («Литературная газета» от 4 августа 1962 г.) и «Разговор начистоту» («Литературная газета» от 12 декабря 1964 г.). Позиции

мэтров были противоположными: Асеев — всецело за, Наровчатов — против (с оговорками). Назвал Наровчатов новых ребят «радиоловыми поэтами». В промежутке между этими выступлениями о поэте Вознесенском высказывались Б. Сарнов, Ст. Рассадин и другие, в разных тональностях. Было такое ощущение, что некоторые умные люди читают стихи — заткнув уши.

Но речь пошла уже об отдельном явлении.

В августе 61-го Евтушенко заглянул в Киев. Литинститутский приятель, уроженец Киева, мальчишкой проведший 1941—1943 годы в оккупации, Анатолий Кузнецов покажет ему Бабий Яр.

В 50-м году по распоряжению городских властей Бабий Яр, огороженный валом, был залит жидкими отходами соседних кирпичных заводов, чудовищная масса которых через десять лет при весеннем снеготаянии прорвала заграждение, хлынув в сторону окрестных селений и уничтожив множество жилья и кладбище. Жертв было до полутора тысяч человек. Это назвали Куреневской трагедией, по имени пострадавшего городка. Евтушенко стоял над знойным расплавом окаменевших старых нечистот.

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.

Когда Евтушенко прочел «Бабий Яр» Межирову, тот — после глубокой паузы — сказал:

— С-с-спрячь это и н-н-никому н-н-не показывай.

Дело пахло грандиозным резонансом. Так оно и случилось.

Номер «Литературки» от 19 сентября с «Бабьим Яром» изъяли из библиотек. Кстати, это стихотворение было предварено в подборке двумя стишками на тему кубинской революции, их никто не заметил. Главный редактор «ЛГ» В. Косолапов получил трепку в ЦК, выговор и в итоге был уволен. Напечатать «Бабий Яр» он решился лишь после разговора с женой, бывшей фронтовой медсестрой. Они оба знали, на что он шел. Скандал рос. Особенно разъярилась литературная шатия.

Критик Д. Стариков — на страницах «Литературки» — кроет Евтушенко таким макаром: «Мне гораздо ближе сегодня стихи Ильи Эренбурга 1944 года. Они тоже называются “Бабий Яр”...» Эренбург отзывается коротким письмом в «ЛГ»: «Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим».

В октябре собралось Всероссийское совещание молодых поэтов. Критика «Бабьего Яра» прозвучала в выступлении первого секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова.

Летом 62-го Евтушенко выпустил в издательстве «Молодая гвардия» книгу «Взмах руки» — первое издание поэта за всю историю мировой поэзии, вышедшее *стотысячным* тиражом.

В октябре Москву посещает Генеральный секретарь Французской компартии Жак Дюкло. В интервью «Литературной газете» от 18 числа он тепло говорит о пребывании Евтушенко в Париже, добавляя: кстати, в Англии, говорят, у него был большой успех. Еще в апреле 62-го на обложке журнала «Time» был напечатан портрет Евтушенко работы Бориса Шаляпина, сына великого певца.

В ноябре Евтушенко — в составе все той же звездной плеяды — снимается в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Тонкие шеи, горящие глаза, высокие голоса, вольная жестикуляция. Большая аудитория, ухо Политехнического.

В ноябрьском номере «Юности» помещена официальная информация: «Секретариат Правления Союза писателей СССР удовлетворил просьбу И.Л. Андроникова и

Н.Н. Носова об освобождении их от обязанностей членов редакционной коллегии журнала "Юность". В состав редакционной коллегии журнала "Юность" введены В.П. Аксёнов и Е.А. Евтушенко».

В том же ноябре — пленум ЦК ВЛКСМ. Первый секретарь С. Павлов говорит о задачах комсомола, одной из которых является решительное неприятие таких поэтов, как Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и подобные им.

5 декабря в ленинградской газете «Смена» — статья «О цене “шумного успеха”». Автор ее Н. Лисочкин поражается давке у дверей Дворца искусств им. К.С. Станиславского, девичьим стонам «Ой, мамочка!», нехватке пропусков на вечер «довольно молодого темноволосого человека с блестящими глазами». Окуджава. Откуда сие?!

Недавний калужский учитель познакомился с кругом звездных молодых ребят в 1957 году. Дистанция — между Окуджавой и остальными шестидесятниками — была всегда. Еще до того, как он сошелся с ними, произошла мизансцена, связанная с Сергеем Наровчатовым, к которому калужский учитель явился как фронтовик к фронтовику, будучи с ним немного знаком. Тот повел его в Дом литераторов.

«— Со мной, — сказал Наровчатов дежурной у входа, и меня пропустили! Впервые!

В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. У меня кружилась голова, и даже не столько от выпитого, сколько от сознания причастности. Я хорошо различал лица, слова, я наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. Теперь на этом месте — бар, теперь это проходной коридор, это всего лишь предбанник бывшего ресторана. А тогда это было главное помещение. Пять-шесть столиков... За дальним из них я увидел Михаила Светлова! За соседним столиком справа — Семёна Кирсанова. Слева, Господи Боже мой, сидел совсем еще юный Евтушенко в компании неизвестных счастливчиков. Рядом с ним — совсем уж юная скуластенькая красотка с челочкой на лбу. Сидели те, чьи стихи залетали в калужские дали, о ком доносились отрывочные известия, слухи, сплетни. Сидели живые. Рядом. Можно было прикоснуться!..

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня четырнадцать тысяч... Давай сейчас махнем в Тбилиси, а?

“Че-тыр-над-цать ты-сяч! — поразился я. — Четырнадцать тысяч!”

Эта сумма казалась мне недосягаемой. “Четырнадцать тысяч!” — подумал я, трезвея.

Наровчатов тем временем допивал очередной стакан. И непрерывно курил. Он начал было читать мне свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.

— Чего же ты, брат, не пьеф? — спросил он с усилием.

— Я пью, — пролепетал я, пытаясь осознать свалившееся на меня внезапно: как, должно быть, замечательно, имея четырнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть уже у моря, а после — в Тбилиси, а после — во Львов, к примеру, и снова в Москву, и ввалиться сюда, в дом на Воровского...

...Я шел по поздней Москве и повторял с ужасом и восхищением: “Четырнадцать тысяч!.. Четырнадцать тысяч!..”»

Этот богач, этот волшебник Евтушенко, когда они познакомились, чуть не сразу стал хлопотать о книжке Окуджавы, и она вышла, книжка «Острова».

Под занавес 61-го года — 25 декабря партия идет в наступление: секретарь по идеологии ЦК КПСС Л.Ф. Ильичев на всесоюзном совещании по идеологии произносит соответствующую речь. Но разнос не разгром, и пути нашей творческой молодежи не перекрыты намертво: вскоре тем же стотысячным тиражом в издательстве «Советский писатель» выходит «Нежность», девятая (!) книга Евтушенко, о которой много и хорошо пишут: Станислав Лесневский в «Известиях» от 3 октября, Сергей Чудаков в «Огоньке».

В конце марта 62-го года Дмитрий Шостакович звонит Евтушенко. Жена Галя не верит телефонному голосу, представляющемуся композитором, и бросает трубку. Шостакович перезванивает, поэт подходит к телефону. Шостакович просит разрешения написать музыку на «Бабий Яр», и тут оказывается, что «одна штука» уже готова.

Евтушенко с женой приезжают к Шостаковичу домой. Он играет на рояле и поет «одну штуку» — вокально-симфоническую поэму «Бабий Яр».

Затем начинается и идет работа над Тринадцатой симфонией: последовали другие части разрастающегося сочинения — «Юмор», «В магазине», «Страхи» и «Карьера», стихи того же автора. Вещь стала пятичастной.

8 июня Шостакович пишет Евтушенко: «Все стихи прекрасны... Когда завершу 13 симфонию, буду кланяться Вам в ноги за то, что Вы помогли мне “отобразить” в музыке проблему совести...»

18 декабря состоялась премьера в Московской Консерватории, играл филармонический оркестр под управлением Кирилла Кондрашина, певец В. Громадский. Когда музыка замолкла, зал загремел овацией и встал.

Идеологический отдел ЦК КПСС внес предложение в Секретариат ЦК КПСС: «Ограничить исполнение 13-й симфонии Шостаковича». Ограничили.

В июле-августе 1962 года прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки.

«Московской девушке-балерине, танцевавшей на открытой эстраде в парке, разбили колено бутылкой из-под кока-колы, а в ночь перед открытием фестиваля хулиганы подожгли русский клуб. От пристани, где мы жили на теплоходе “Грузия”, в пахнущую пожаром ночь то и дело уносились советские автомобили, набитые спортсменами и агентами КГБ. <...> я впервые лицом к лицу столкнулся с политическим расизмом в действии, когда фашиствующие молодчики пытались разгромить советский клуб».

В результате появилось стихотворение «Сопливый фашизм», тотчас напечатанное в «Правде» и зарубежных изданиях и таким образом облетевшее весь глобус.

К нему испытывают интерес в обеих Германиях. Весной в Кёльне он познакомился с Генрихом Бёллем, и на память осталось фото, где будущий (1972) нобелевский лауреат держит зажженную спичку перед сигаретой прикуривающего Евтушенко. Бёлль симпатизирует России, прошел войну, много видел и не имеет шор при взгляде на СССР, ему близок Солженицын, и через двенадцать лет он будет первым европейцем, встретившим изгнанника в Европе, и поселит его у себя в имении в деревне Лангенбройх, расположенной на изумрудном холме неподалеку от Кёльна.

Летом в ГДР вышла первая зарубежная книжка Евтушенко: «Со мною вот что происходит», издательство «Фольк унд вельт» (Mit mir ist folgendes geschehen. Russisch/ Deutsch. Ubers.: Franz Leschnitzer. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1962, 166 S.)

В предисловии Франца Лешницера говорилось: «Одни считают его новым Маяковским, другие — фрондером, крикуном. В Москве дерутся за входные билеты на выступления Евтушенко... Когда Евгений Евтушенко читает свои стихи, самый большой зал бывает переполнен друзьями и противниками молодого лирика. Тогда идет такая борьба за сидячие места, что приходится нередко вмешиваться милиции. Давно уже его имя стало понятием и за пределами Советского Союза, его стихи переведены на многие языки. Настоящее издание включает избранное <...> этого неистового поэта советской молодежи».

Но он и там заварил кашу, хотя и не своими руками.

В газете «Нойес Дойчланд» появилась статья Гюнтера Кертишера «Святая простота, или философия Евтушенко. Об идеологическом сосуществовании». На родине Маркса автор статьи следует установке, спущенной с самого верха, то есть из Москвы, где утверждали, что при просто мирном сосуществовании двух систем не может быть сосуществования идеологического. «По Евтушенко получается: на одной стороне находятся добрые люди всех государственных систем. Это не имеет ничего общего с марксизмом. Это, вероятно, можно назвать анархизмом». Можно.

За рубежом на него смотрят как на облеченного некими государственными полномочиями посланца Кремля. Он и сам ощущает нарастание в себе сей державной воли.

«В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив ей все принадлежавшие ему картины, — лишь бы ему дали скромный домик в родном Витебске. Шагал передал мне свою монографию с таким автографом для Хрущёва: “Дорогому Никите Сергеевичу с любовью к нему и нашей Родине”. (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку — вместо “к нему” стояло “к небу”.) Помощник Хрущёва В.С. Лебедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел передать эту книгу Хрущеву. “Евреи, да еще летают...”, — раздраженно прокомментировал он репродукцию, где двое влюбленных целовались, паря под потолком».

29 августа 1962 года в СССР приехал Роберт Фрост — по приглашению Хрущёва: уровень приглашения соответствовал статусу восьмидесятивосьмилетнего поэта, увенчанного всеми литературными и государственными лаврами США, принимаемого в Белом доме. Мировые и советские СМИ обошел фотоснимок: американского патриарха подпирают с боков Твардовский и Евтушенко. Встреча на вокзале. Символизм по-советски: единение поколений. Кстати, три года назад (1959) доклад памяти Лермонтова в Колонном зале делал *двадцатисемилетний* Евтушенко.

Фрост попросил о встрече с Ахматовой, ему пошли навстречу: классики пообщались 4 сентября. На прощанье она прочла ему «Последнюю розу» с эпиграфом из неизвестного поэта И.Б.: «Вы напишите о нас наискосок».

У Евтушенко с Ахматовой — не сложилось, а однажды был такой случай: «...на дне рождения вдовы расстрелянного еврейского поэта Маркиша — Фиры я целый вечер сидел рядом с молчаливой, одетой во все черное старухой, пил и болтал пошлости, будучи уверен, что это какая-нибудь провинциальная еврейская родственница. Помню, эта старуха, видимо, не выдержав моей болтовни, встала и ушла.

— О чем вы говорили с Анной Андреевной? Я ведь вас нарочно посадила рядом... — спросила Фира.

— С какой Анной Андреевной? — начиная холодеть и бледнеть, спросил я, все еще не веря тому, что произошло.

— Как с какой? С Ахматовой... — сказала Фира».

У Лидии Корнеевны Чуковской, в знаменитых «Записках об Анне Ахматовой» скрупулезно фиксирующей ее настроения, заметно, что сквозь ахматовские реплики просвечивает озабоченность собственной славой.

«*1 июля 1961*

Я спросила, читала ли она в “Литературной газете” статью Сарнова о Евтушенко и Вознесенском. Она статьи не читала, а об Евтушенко и Вознесенском отозвалась неблагосклонно и как о личностях, и как о поэтах.

Я спорить не собираюсь: ни Вознесенского, ни Евтушенко вообще никогда и в глаза не видывала. Стихи Вознесенского не воспринимаю, а в Евтушенко — “в этом теплится что-то”. Писать стихи он не умеет, но что-то живое есть... А впрочем, я не вчитывалась.

— Начальство их недолюбливает, — сказала я.

— Вздор! Их посылают на Кубу! И каждый день делают им рекламу в газетах. Так ли у нас поступают с поэтами, когда начальство не жалует их в самом деле!..»

Евтушенко напишет в эссе «...И голубь тюремный пусть гулит вдали» (1988): «Я не стремился познакомиться с Ахматовой — для меня это было так же странно, как оказаться в машине времени, которая перенесла бы меня в дореволюционную Россию. Мне было достаточно нескольких случаев, когда я наблюдал Ахматову издали, без аффектированного благоговения, но с безмерным почтением, как случайно уцелевшую реликвию. Однажды, правда, я не удержался и все-таки позвонил ей, на квартиру Ардову, когда ее публикация в “Литературной газете” потрясла меня такими простыми, волшебными строками о Пушкине:

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

Анна Андреевна охладила своей снисходительной королевской высокомерностью мои неумеренные восторги: “Ну что вы, право, теряете ваше драгоценное время, отрывая себя от ваших столь популярных выступлений и даря внимание старой одинокой женщине...” Что-то в этом роде незлобиво язвительное, а точнее говоря, вежливо уничтожающее. Но я на нее не обиделся — мне было довольно и того, что я говорил с Ахматовой. Георгий Адамович мне впоследствии рассказал, что, когда он спросил в Париже мнение Ахматовой о моих стихах, она слегка поморщилась: “А, это что-то связанное со стадионами...” Тогда Адамович ее попытался смягчить: “Анна Андреевна, ну он же все-таки талантлив...” Королева русской поэзии резко бросила: “Ну если бы совсем не был талантлив, неужели вы думаете, что я бы помнила его имя...”»

Некоторые люди считают, что Евтушенко в разговорах о себе — как бы это сказать — привирает в сторону самопреувеличения. Наверное, не без того, но далеко не всегда. Слово Георгию Адамовичу («Воспоминания»):

«В разговоре я назвал имя Евтушенко. Анна Андреевна не без пренебрежения отозвалась об его эстрадных триумфах. Мне это пренебрежение показалось несправедливым: эстрада эстрадой, но не все же ею исчерпывается! Ахматова слегка пожала плечами, стала возражать и наконец, будто желая прекратить спор, сказала:

— Вы напрасно стараетесь убедить меня, что Евтушенко очень талантлив. Это я знаю сама.»

Очень талантлив. Слово сказано.

А ведь Евтушенко не знал того, что писал Адамович 2 июня 67-го года в одном частном письме:

«Был у меня Евтушенко. Он мил и в каждом слове талантлив. Я совершенно не верю в то, что о нем пишут... Я написал архиепископу Иоанну — его поклоннику с предложением образовать “Общество защиты Евтушенко”. Немедленно записываюсь в члены...»

21 октября 1962 года «Правда» печатает «Наследники Сталина».

Безмолвствовал мрамор.
Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул,
на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился.
Дыханье из гроба текло,
когда выносили его
из дверей Мавзолея.
Гроб медленно плыл,
задевая краями штыки.
Он тоже безмолвным был —
тоже! —
но грозно безмолвным.
Угрюмо сжимая набальзамированные кулаки,
в нём к щели глазами приник
человек, притворившийся мёртвым.

Стихи пафосно юношеские, далекие от совершенства, риторика в духе лермонтовской оды-инвективы «Смерть поэта», — да, и в тридцать лет Евтушенко оставался юношей. Но образ телефонирующего упыря вытесан мощно.

Как и в случае с «Бабьим Яром», эта вещь была подстрахована подушками безопасности, на сей раз так: впереди — перевод с таджикского Мирсаида Миршакара «Программа нашей партии ясна», а с тылу — «Винтик» Ярослава Смелякова. Со смеляковской выстраданной вещью редакции не стоило бы так цинично поступать.

Разразились шум и ярость в параметрах Вселенной.

Сюжет появления «Наследников» в печати довольно конспирологичен. Евтушенко передал стихотворение помощнику Хрущёва В. Лебедеву, тот потребовал некоторой правки, на которую автор пошел, после чего Лебедев, на выезде в Абхазию, вовремя показал текст шефу — и «Наследники» полетели на военном самолете в Москву и приземлились на странице «Правды».

Первые последствия — самые смешные: группа партийных товарищей, не ведая об абхазской подробности, написала Хрущёву жалобу на главреда «Правды» П. Сатюкова (благородная седина, хороший костюм, галстук-бабочка) на предмет сомнительной публикации.

Так или иначе, ходил апокриф — Хрущёв на цековском сборище сказал:

— Если Солженицын и Евтушенко — антисоветчина, то я — антисоветчик.

Время уплотнилось, события нарастают. В «Новом мире», №11/1962, напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Эхо публикации было беспримерным.

В декабре 1962 года Евтушенко знакомится в Доме приемов с Хрущёвым и Солженицыным.

Сделаем отступление, вот именно лирическое. Ровно в то же время другой поэт высказался о том, что тревожит всех.

Так мстят разоблачённые кумиры.
...Ещё толпясь, ещё благоговея,
курсанты, и они же конвоиры,
державный прах несли из мавзолея.

<...>
Так замыкался круг: и день вчерашний,
и завтрашний. И поминальным громом
куранты били с полунощной башни —
над городом, над площадью, над гробом...

Олег Чухонцев. Он был моложе на шесть лет, по-другому понимал роль поэта, заранее уйдя в тень, вне света юпитеров. Возможно, это было полемикой с автором «Наследников Сталина». Есть как минимум два типа литературного поведения поэта — евтушенковский и чухонцевский. Сопоставление обоих стихотворений свидетельствует о том, что одно не исключает другого.

Через много лет, 23 августа 96-го, Чухонцев оставит запись на предназначенной для помет странице одного из томов критических статей о Евтушенко за долгие десятилетия, собственноручно собранных, отпечатанных на пишмашинке и переплетенных «евтушенковедом №1» Ю.С. Нехорошевым: «Есть цветы весенние, есть осенние. Евг. Евтушенко — весенний цветок нашей литературы, подснежник. Таким он для меня и останется».

Ю. Нехорошев служил на флоте. Эти тома — их восемь, крупных и тяжелых, — делались даже не в подполье, но — глубоко под водой, в Мировом океане, в каюте без иллюминатора, в гудящей тишине, рядом с атомным реактором и оружием массового поражения. Евтушенко был погружен в морские пучины, вокруг него кипели критические страсти.

Ну, раз уж мы заглянули в нехорошевскую кладовую, там найдем и такой автограф: «Я счастлива, что мне довелось жить в эпоху поэта Евтушенко. 12 августа 1997. И. Лиснянская».

Общий привет цветов осенних — весеннему.

Но вернемся к нашим баранам.

Группа товарищей во главе с секретарем по идеологии ЦК Л.Ф. Ильичёвым, настропаляемым серым парткардиналом, несгибаемым сталинистом М.А. Сусловым, готовит акцию, которая убедила бы Хрущёва в серьезности антисоветских процессов, происходящих в среде художественной интеллигенции, тем более что Хрущёв уже вроде бы настроился и цензуру отменить. Состоялось посещение Манежа 1 декабря 1962 года. Хрущёв смотрел на вещи новых художников, как на новые ворота, и кричал о «пидорасах». Всего этого принципиальным интриганам показалось мало.

Собрали интеллигенцию 14 декабря. Солженицын незаметно, на коленях, записал фрагменты хрущевской речи-импровизации: «Сионисты облепили товарища Евтушенко, использовали его неопытность... Анекдот: великий поэт, как ваше здоровье? Лесть — самое ядовитое оружие...»

1963 год стал первым пиком «чрезмерного» успеха Евтушенко. Хронология этого года достойна обильного подробного цитирования.

Год начался для Евтушенко с публикации его прозы — журнал «Молодая гвардия», №1, рассказ «Куриный бог». Это его вторая проза — четыре года назад «Юность» поместила рассказ «Четвертая Мещанская», о котором в превосходных степенях отозвался классик прозы Катаев в речи на III съезде писателей СССР: «Совсем недавно уже достаточно известный и, по-моему, выдающийся молодой поэт Евгений Евтушенко выступил у нас (в журнале "Юность". — *И.Ф.*) со своим первым рассказом "Четвертая Мещанская", — рассказ на редкость хорош как по форме, так и по содержанию. Всего несколько страничек, а такое впечатление, что прочел повесть, даже небольшой роман...»

«Куриный бог» — трогательная вещица, со всеми чертами евтушенковских стихов той же поры: слезная исповедь, безутешная страсть к далекой женщине, любовь к себе (в образе восьмилетней девочки-подруги), надежда на счастье, трепет пред грубой реальностью существования на фоне неправдоподобно прекрасного мира, схваченного острым фотографическим глазом. В рассказе произошло то, что станет навсегда одной из существеннейших характеристик этого художника: отсутствие жесткой работы с композиционными акцентами, их сдвиги и смещения, невольные скорее всего. На первый план вышел невинный курортный роман с нимфеткой. Некая помесь Гайдара с Набоковым, в пользу первого. В подсюжете рассказа — мужнин мордобой возлюбленной героя и подоплека всего этого. Узнаются конкретные прототипы и оного мужа, и любовника жены — известные советские поэты М.Л. и А.М.

8 марта 1963 года Хрущёв выступает на кремлевской встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства — похвалив Евтушенко за хорошее поведение в Париже, он пожурил его за неправильную информацию, данную им западной публике насчет «Бабьего Яра»: мол, «его стихотворение принято народом, а критиковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворение тов. Евтушенко критиковали коммунисты».

На той встрече волосатый кулак побагровевшего Хрущёва вознесся над головой бледного Вознесенского, вросшего в трибуну, речистый лидер поносил Аксёнова с Неизвестным, и всем недовольным предлагалось покинуть территорию СССР.

Вместе с новой женой, Галей, Евтушенко посещает Францию и ФРГ. Встречается с Пабло Пикассо, шансонье Жаком Брелем. Его принимают, помимо прочего, еще и как автора песни «Хотят ли русские войны», только что написанной совместно с Эдуардом Колмановским под непосредственным, можно сказать, руководством Марка Бернеса.

Однако началось весеннее обострение. В середине марта западногерманский журнал «Штерн» и парижский еженедельник «Экспресс» почти одновременно напечатали евтушенковскую эссеистическую прозу — «Преждевременную автобиографию». Поднялась буря. Отчего же? Вот основные поводы к вселенскому возмущению.

«В 1954 году я был в одном московском доме, среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка голосом шестидесятилетней чревовещательницы сказала:

— Революция сдохла, и труп ее смердит.

И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула:

— Как тебе не стыдно! Революция не умерла. Революция больна. Революции надо помочь.

Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой.

...Я давно хотел написать стихи об антисемитизме. Но эта тема нашла свое поэтическое решение только тогда, когда я побывал в Киеве и воочию увидел это страшное место, Бабий Яр.

Я отнес стихотворение в редакцию "Литературной газеты" и прочитал его своему приятелю, работавшему там. Он немедленно побежал в соседние комнаты и привел коллег, и заставил меня еще раз прочитать его вслух. Затем спросил:

— Нельзя ли было бы копию сделать? Я хотел бы, чтобы у меня было это стихотворение.

— И нам, и нам копии, — стали просить коллеги.

— То есть как копии? — недоуменно спросил я. — Я же принес его печатать...

Все молча переглянулись. Никому это даже в голову не приходило. Потом один из журналистов, горько усмехнувшись, сказал:

— Вот он, проклятый Сталин, как в нас еще сидит...

И подписал стихи в номер».

19, 20, 21 марта в Минске исполняли Тринадцатую симфонию. Пошли доносы в ЦК, им же организованные. «У нас нет еврейского вопроса, но его могут создать люди вроде Е. Евтушенко, И. Эренбурга, Д. Шостаковича».

22 марта в «Известиях» С. Михалков пишет инвективу «Молодому дарованию» («Ты говорил, что ты опальный...»), а затем еще и басню про Синицу: «Бездумной легкомысленной Синице / Однажды удалось порхать по загранице. <...> Пожалуй за границу / не стоит посылать Синицу!», — 4 июня в «Правде». Витальный, неугомонный был человек. Через некоторое время он публично — на сцене Большого зала ЦДЛ — спросит у Евтушенко, за сколько тот продался.

Запад реагировал по-своему. Газета Vinduet, Осло, № 2, 1963: «Евгений Евтушенко положил к ногам весь мир, стал популярен, как футболист, он — баловень счастья». Как они там в Норвегии угадали, что он футбольный фанат?

На родине создавался евтушенковский миф — он же, миф, сотворялся и на Западе. Пожалуй, наиболее сконцентрированно это происходит весной 63-го в журнале Time, США, статья «Литература правды».

«Советская Россия — все еще Спарта, а не Афины. Свободы в западном понимании этого слова там нет, но недовольство выражается открыто как никогда раньше. <...> Биография “Жени” — как все называют двадцативосьмилетнего красавца Евтушенко — началась там, где закончился жизненный путь многих других русских поэтов: в Сибири. В жилах этого светловолосого, высокого (6 футов 3 дюйма) и худощавого человека течет украинская, татарская и латышская кровь (про латвийские корни он говорит: “там коллективизации не было”). Хотя ему нравится выставлять себя пареньком из провинции, по воспитанию и даже акценту Евтушенко — типичный москвич; это ярко проявляется и в его стихах, утонченных по форме, но зачастую разговорных по языку. Секрет его популярности связан с редкой способностью

улавливать — и передавать читателям — сомнения и стремления поколения, уже утратившего иллюзии, но только начинающего обретать собственный голос. Евтушенко — его знаменосец, смелый, но отнюдь не жаждущий мученического венца.»

В конце марта проходит IV пленум правления Союза писателей СССР. Писатели хором упиваются недавней встречей с руководством партии, речью Н.С. Хрущёва, единодушно одобряют политику партии, клянутся в верности родной партии, бичуют империализм и его прихвостней, в данном случае Евтушенко с Вознесенским, А. Софронов в сердцах вспоминает, что он когда-то вручал Евтушенко билет кандидата в члены СП СССР, — все это печатается в «Литературной газете», излагается в других центральных изданиях. Евтушенко получает слово, но речь его не печатают.

30 марта — в день, когда публикуется верноподданническое обращение писательского пленума к ЦК Коммунистической партии СССР, в «Комсомольской правде» выходит фельетон-памфлет Г. Оганова, Б. Панкина и В. Чикина «Куда ведет хлестаковщина». Повод — появление «Автобиографии» в «Экспрессе» и «Штерне». Ответная бомба. Страна — не только читающая публика — оглушена.

«Пора ему наконец посмотреть правде в глаза и увидеть, как выглядит в действительности все его поведение. Ведь это — вихляние легкомысленной рыбки, уже клюнувшей на червячка западной пропаганды, но еще не почувствовавшей острия, и воображающей, что она изумляет обитателей океана грациозной смелостью телодвижений.»

Пишут профессионалы, мастера пера.

Пришло 1200 откликов, собранных в брошюру «Во весь голос», тогда же выскочившую в свет. Фронтовик, медработник, учительница, офицер, люди всех возрастов и многих профессий — все возмущены, негодуют.

Сам он недоумевал: «Моя автобиография, напечатанная в западногерманском “Штерне” и во французском “Экспрессе”, вызвала всплеск новой надежды левых сил в Европе после депрессии, вдавленной в души гусеницами наших танков в Будапеште 1956 года. Жак Дюкло, секретарь ФКП, на приеме в мою честь говорил, что после моей автобиографии многие французские коммунисты, сдавшие свои билеты в 1956-м, снова вступают в партию. Посол СССР во Франции Виноградов в своем тосте за меня сказал, что я заслуживаю за свою поездку звания Героя Советского Союза. Во франкистской Испании моя автобиография была запрещена как коммунистическая пропаганда. Правые круги ФРГ критиковали “Штерн” за эту публикацию. Я, по наивности своей, думал, что меня в Москве встретят чуть ли не оркестрами».

Кроме того, в той поездке, будучи в Западной Германии, он высказал уверенность в скором грядущем объединении Германии: это будет прежде чем мой старший сын женится (сына еще не было). Глава ГДР Вальтер Ульбрихт звонил по этому поводу Хрущёву в негодовании.

Не был он политиком. Никогда. Если он думает иначе, это — иллюзия. Одна из многих.

Старший друг Луконин пошутил: «Раньше всегда советская власть вела по отношению к поэтам политику кнута и пряника. Евтушенко стал первым поэтом, кто начал вести политику кнута и пряника по отношению к советской власти». Красиво. Но вряд ли.

Евтушенко еще был во Франции, когда к его матери Зинаиде Ермолаевне пришел заместитель главного редактора «Юности» С. Преображенский, в общем-то человек славный. Он принес письмо тогдашнего главного редактора журнала (Катаев освободил это место в 61-м) Бориса Полевого, в котором автор «Повести о настоящем человеке» просил ее, мать поэта, чтобы она уговорила сына подать заявление о выходе из состава редколлегии «Юности». С Преображенским Зинаида Ермолаевна была

знакома давно, с военной поры, и сказала прямо, что они обойдутся в этом деле без нее.

Вернувшись в Москву, Евтушенко сказал матери, что его текст при публикации исказили, что он попросил, чтобы ему из-за границы вернули рукопись «Автобиографии». Получив рукопись, он отнес ее помощнику Хрущёва (приложив свое письмо на имя Никиты Сергеевича), дабы правитель смог сам во всем разобраться. Через несколько дней Хрущёв при случае сказал Евтушенко:

— А я, собственно, не знаю, Евгений Александрович, что тут такого особенного.

Но было поздно, процесс уже пошел.

Март выдался тяжелейшим. Евтушенко честили на все корки. Травлей занимались, помимо прочих, некоторые из его недавних друзей. Домашний телефон не умолкал, звонили все, в основном — сочувствующие. Евтушенко переселился в новую квартиру на Амбулаторном переулке и несколько недель не выходил из дому. Мать носила ему еду. Он обитал на шестом этаже, и в первый свой приход к нему она обнаружила, что вся лестница с первого этажа до шестого забита людьми.

— Что вы тут делаете?

— Охраняем Евтушенко.

Много было иногородних. Опасались, что, бесперебойно клеймимого во всех газетах предателем, его неминуемо арестуют.

В начале апреля собирается пленум Союза писателей РСФСР. Он бурлит. Бичуют чохом виднейших авторов журнала «Юность». Аксёновский роман «Звездный билет» порождает негативный термин «звездные мальчики», относящийся к этим авторам.

3 апреля в «Правде» напечатана статья Василия Аксёнова «Ответственность», которую лучше было бы назвать «Допекли». Блестящий автор пластичен, прекрасно владеет необходимой моменту стилистикой. Это похоже на тонкую пародию покаяния.

«Наше слово — оружие в нашей борьбе, каждое слово — как патрон. Легкомыслие для писателя просто-напросто аморально... На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной. Я считаю, что критика была правильной... Но еще легкомысленней было бы думать, что сейчас можно ограничиться одним признанием своих ошибок. Это было бы и не по-коммунистически и не по-писательски. Я никогда не забуду обращенных ко мне во время кремлевской встречи суровых, но вместе с тем добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: “Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!”».

Накануне создания этого перла прозы Аксёнов, вечером после утреннего мероприятия в Свердловском зале Кремля, сказал:

— Ты что, не понимаешь, что наше правительство — это банда, готовая на все?

Опасные вещи происходили в жанре буффонады, абсурда, анекдота, самопародирования. «Звездных мальчиков» полоскали во всех идеологических прачечных СССР.

Евтушенко пишет 5 апреля, сбежав в Коктебель:

Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.

<...>
Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали,
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.

Подозревали. Но процесс пошел.

Процесс пошел, как водится, по всей стране. Первым делом поддакнул Москве — Ленинград. В молодежной газете «Смена» пара местных поэтов отметилась статьей «Известность — достойным» (9 апреля).

«...всегда следует помнить, что десять статей, написанных, скажем, о Евтушенко, это не просто десять статей. Это одна статья об одном поэте и девять ненаписанных о других, не менее достойных внимания и критического анализа...»

Очень скоро известность придет к одному из питерских поэтов, да не к той парочке.

В СССР был один по праву самый прославленный на весь мир человек. Юрий Гагарин. 12 апреля, в День космонавтики, он воскликнул, имея в виду евтушенковский поступок с «Автобиографией»: «Позор! Непростительная безответственность!» Немного погодя ему написали текст, он зачитал (на Всесоюзном совещании молодых писателей, 7 мая):

«...в своей недоброй памяти “Автобиографии” Евгений Евтушенко хвастается тем, что он, дескать, ничего не знает об электричестве. Нашел чем хвастаться! С каких это пор невежество порою возводится в степень некой добродетели!»

Евтушенко был сражен. Они с Гагариным быстро, на ходу подружились еще на Кубе, встречались в Хельсинки, на Всемирном фестивале молодежи. Это были люди одного поколения (Гагарин на пару лет младше), фигуры нового человеческого набора, по ним судили и у нас, и на Западе о том, что происходит в СССР. Через год, в День космонавтики, Гагарин пригласил Евтушенко в Звездный городок — выступить в сборном концерте, однако некий суровый генерал грозно вопросил:

— Кто пригласил Евтушенку?

Гагарин ответил:

— Я.

— По какому праву?

— Как командир отряда космонавтов.

— Ты хозяин в космосе, а не на земле.

Сл*о*ва поэту не дали, и он в умопомрачении погнал на своем заезженном «москвиче» сквозь дождь и ветер с бешеной скоростью, Гагарин метнулся за ним, не догнал, а Евтушенко достиг Дома литераторов, где его и отыскали посланцы Гагарина из Звездного, напуганные стремительным отъездом поэта. Они нашли его — в слезах и со стаканом водки в руке.

Это будет через год, а пока что по Москве поползли темные слухи, распространяясь на всю страну. «Голос Америки» сообщил о самоубийстве поэта. Участковый милиционер просит Евтушенко показаться на балконе своего дома, когда под ним собирается несметная толпа после информации «Голоса Америки», — пришлось выходить несколько раз.

12 апреля, в тот же (1963) День космонавтики, Корней Чуковский записывает в дневнике:

«Все разговоры о литературе страшны: вчера разнесся слух, что Евтушенко застрелился. А почему бы и нет? Система, убившая Мандельштама, Гумилева, Короленко, Добычина, Маяковского, Мирского, Марину Цветаеву, Бенедикта Лившица, — замучившая Белинкова, и т.д. и т.д., очень легко может довести Евтушенко до самоубийства...»

Можно сказать: *список Чуковского*. Точная оценка евтушенковского места в литературной иерархии на тот час исторического времени.

И он был не один, кто так думал. Из письма знаменитой пианистки М. Юдиной к Чуковскому (Москва, 19.06.1963):

«О Евтушенко: как было бы хорошо, если бы Вы приблизили его к себе, именно Вы. Мне кажется, он сильно нуждается в опоре и поддержке — духовной... Я помчалась к нему — это было полтора месяца тому назад; случилось так, что именно в сей день и час он уезжал в Архангельск; он восклицал, что чрезвычайно рад мне, однако встреча была молниеносная; но я себе ничего не приписываю; (я знаю его давно, проведя с ним — было много народу — почти целый день у дорогого Бориса Леонидовича 4 года назад!), я сказала его матери (в поисках адреса), что "хочу сказать ему доброе слово", но, возможно, не сумела сего; не знаю — где он сейчас, но пока я отклика не имею; простите меня, м.б. я вмешиваюсь тоже не в свое дело... Но он меня волнует, тревожит, его душа, его судьба... Не оставляйте его, дорогой Корней Иванович!»

В Архангельск Евтушенко уезжал на пару с Юрием Казаковым. Они были близки с литинститутских времен, Казаков по праву входил в могучую кучку их компании. Он был лириком, пишущим прозу. Он был парень с Арбата, из коммуналки, в предках — смоленские мужики, закончил по щедрости отпущенных ему свыше даров Гнесинку — по классу виолончели, смычковой музыке предавался лишь на предмет заработка где-нибудь в точках культуры и отдыха, рукой его водила другая воля. У него было две слабости — выпивал и заикался. На это были противоупоры — он был трудягой и молчуном. Охота и рыбалка, природа и русская провинция наполняли эту одинокую жизнь глубоким смыслом, побуждая к творчеству уединенному, вне стай и всеобщих страстей. Евтушенко он нарек «моим гениальным другом», без всякой иронии. На титуле своей скромно изданной книжки 61-го года «По дороге домой» он начертал с юморком: «Евгению Евтушенко — поэту, красавцу, счастливому обладателю квартиры, жены и машины от человека, всего этого лишенного, с любовью и завистью. Ю. Казаков, 18 февр. 1962». Прислониться к такому человеку в минуту жизни трудную было спасением.

С Севера Евтушенко привез большой цикл действительно новых стихов. Все они пронизаны одним вопросом:

Какая чёртовая сила,
какая чёртовая страсть
меня несла и возносила,
и не давала мне упасть?

В юдинском архиве сохранился черновик пространного письма к Евтушенко от 1 мая 1963 года:

«Дорогой Евгений Александрович!

Я последнее время много о Вас думаю. Сейчас ведь многие о Вас говорят, пишут, волнуются, спорят, ненавидят или обожают. И я в том числе. Но я человек старый, многое видевший, имеющий некие воззрения на Божий мир и на человеческие пути.

Это не значит, разумеется, что я претендую на обладание некой истиной. Единственная данная нам бесспорная истина — это любовь — "и люди те, кого любить должны мы" (я чуточку видоизменяю слова Хлебникова из "Слово об Эль") и самый верный метод поисков — это сознание Божьего водительства каждым из нас.

Самое главное: в Вас есть масштаб, он и определяет Ваше избранничество.

Я познакомилась с Вами — как Вы помните — у Па...»

Слово оборвано: имелся в виду Пастернак, у которого Юдина познакомилась с Евтушенко 3 мая 1959 года.

Чуковский — Юдиной, 28.06.1963:

«Я всегда глубоко уважал Евтушенко — но по своей застенчивости — до сих пор

не познакомился с ним... Я всегда робел перед большими поэтами: хотя Блок был очень снисходителен ко мне — особенно в последнее время, — в разговоре с ним я становился косноязычен и глуп. С Пастернаком было то же самое. На днях был у меня Солженицын — я еле мог выговорить слово от волнения. При жизни Толстого меня дважды звали в Ясную Поляну: ему говорили обо мне Леонид Андреев и Короленко — я поехал, но не доехал — от той же проклятой застенчивости.»

Нет, недаром женщины, самых разных возрастов, сопутствовали ему, опекали, рвались взять под крыло. «Смеялись люди за стеной...» он посвятил Е. Ласкиной, бывшей жене Симонова, матери его сына Алеши. Она ведала стихами в журнале «Москва», у нее в доме на кухне собиралась молодежь, непутевая, беспорточная, исходящая стихами. Нет, недаром. Женщины недрами чувствовали: он — свой. Он чувствовал их. С Севера привез стихотворение «Олёнины ноги». О бабушке Олёне. Вариация на тему песни «Мыла Марусенька белые ноги», однако ноги его героини ослабели, он утешает ее и себя, поскольку они, собственно говоря, уже одно целое, по-мальчишески хорохорится:

Не привык я горбиться —
гордость уберёг.
И меня
горести
не собьют с ног.
Сдюжу несклоненно
в любые бои...
У меня,
Олёна,
ноги твои!

Осталось полшага до Нюшки из «Братской ГЭС». Но покуда происходит нечто иное, отчасти инерционное, отчасти неожиданное.

10 мая первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов на всесоюзном совещании молодых писателей произносит речь.

«Во всяком поколенье есть пена. Она присутствовала и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы...»

Хорошенькое дело: Окуджава — участник войны — пристегнут к прочей молодой пене. Одновременно мусолится тема «отцов и детей». Ее поднимают литераторы — официальные лица дезавуируют: у нас все в порядке, проблемы нет.

В рядах обличителей образовалась каша из самых несопоставимых имен и величин.

Александр Твардовский уже печатал Евтушенко у себя в журнале. В 55-м году он дал евтушенковские стихи довольно щедро — в трех номерах: в 7-м, 10-м, 12-м. На известном фотоснимке с Фростом Твардовский заметно недоволен. У него свой счет к «звездным мальчикам». 12 мая он высказывается в «Правде»:

«Буржуазная печать проявляет явную невзыскательность к глубине содержания и художественному качеству стихов и наших “детей”, как, например, Евтушенко и Вознесенский. <...> У поэта, говорил, помнится, Александр Блок, должна быть судьба, а не карьера.»

Блок не был идеалом поэта в глазах Твардовского, и почему именно это имя — как противовес «детям» и знак качества — употребил народный поэт, остается загадкой.

В знойно-июльской Москве происходит великий праздник. Московский кинофестиваль. Тут, правда, своя свалка, только уровень повыше будет. Федерико Феллини

привез фильм «8 $^1/_2$», нормальные люди в жюри во главе с Григорием Чухраем — за то, чтобы Главный приз дать этой ленте, но наверху, то бишь на Старой площади и в ее окрестностях, возражают и угрожают, член жюри Стэнли Крамер уже в сердцах пакует чемодан, индус Сатьяджит Рей возмущен:

— Я никогда не пришлю своего фильма на Московский фестиваль. Если он окажется лучше других, скажут, что он непонятен народу...

Рей решил последовать за Крамером. За ним — Жан Маре, японец Кейхико Усихара и египтянин Мухаммед Керим. Но дело уладилось, победило Кино.

Евтушенко знакомится с Феллини. Который позже, когда Евтушенко обратится к нему с письмом-просьбой поговорить о феллиниевой книге «Делать фильм», скажет:

«Говорю тебе чистую правду: всегда, с самого начала, мне казалось, что мы с тобой друзья со школьной скамьи. Я почувствовал это, увидев тебя впервые, когда в Москве мне вручали приз за “8 $^1/_2$”. Нас кто-то представил друг другу, и вокруг сгрудились журналисты и фоторепортеры: все ждали каких-то публичных заявлений, переводчики смотрели нам в рот, но мы не знали, что бы такое сказать исторически важное, веское, кроме того, пожалуй, что мы просто симпатичны друг другу».

В августе-сентябре Евтушенко посетил Зиму, махнул в Братск, провел несколько выступлений. На Ангаре, по пути из Иркутска в Братск, ветром принесло опять-таки песню:

Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары...
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня...»

Бочкотара? Аксёнов? «Затоваренная бочкотара», веселая вещь. Через пару месяцев он напишет и посвятит Аксёнову «Два города»:

Я, как поезд,
что мечется столько уже лет
между городом Да
и городом Нет.

Аксёнов считал, что 63-й — год их разброса, расшвыривания друг от друга, и, может быть, Евтушенко чувствовал это не менее остро.

Он понимал:

Пришли иные времена.
Взошли иные имена.

Писано 10 октября 63-го. Через тринадцать лет Александр Кушнер из Питера отзовется, как эхо:

Времена не выбирают.
В них живут и умирают.

Оба двустишия станут пословицами.

Туда же, в родной язык, вошел и этот дистих, рожденный той же осенью 63-го:

Как ни крутите, ни вертите,
но существует Нефертити.

Нет, ему положительно впрок невыносимые передряги. Ведь в те же осенние дни появилось и «Любимая, спи...». Галя была рядом.

Тогда же он начал строить «Братскую ГЭС».

Через много лет он судит поэму, говоря его словом, *самобезжалостно*: «“Братская ГЭС” не стала серьезным философским обобщением исторических фактов, но зато осталась историческим фактом сама — памятником несбывшихся надежд шестидесятников.

А ее главы “Казнь Стеньки Разина”, “Ярмарка в Симбирске”, “Диспетчер света”, “Нюшка” остаются моими личными, не превзойденными мною самим вершинами.

Поэму в четыре с половиной тысячи строк я написал поразительно быстро — начал в сентябре 1963-го, закончил в апреле 1964-го».

Смеляков стал редактором поэмы. Его на это дело подрядил ЦК КПСС.

«Редактура происходила в атмосфере сплошного смеляковского мата. Предлагая мне новые поправки, сокращения, вырезания, Смеляков бесился, злился не только на меня, но и на самого себя. И на весь свет Божий. Если бы не моя любовь к Смелякову, если бы не годы, проведенные им в лагерях, я бы, наверное, поссорился с ним. Кроме того, я не сразу, но постепенно начал догадываться, что Смеляков просто служит мне передатчиком чьих-то других замечаний. Однажды он вдруг потребовал, чтобы я полностью снял главу “Нюшка”.

— Нет, — на этот раз твердо сказал я. Без этой главы поэмы нет.

Тогда он закричал на меня. Затопал ногами:

— Но с этой главой они твою поэму не напечатают! Никогда не напечатают! Ты сам не понимаешь, что ты в ней написал. Это же образ России! Обманутой, всю жизнь унижаемой России, да еще с чужим дитем! Это же страшно читать, какую картину нашей жизни ты разворачиваешь в своей “Нюшке”: “Телефоны везде, телефоны. И гробы, и гробы, и гробы”. Слушай, у меня вся юность прошла в лагерях. Если ты будешь продолжать писать так, ты тоже можешь в конце концов оказаться за решеткой. Пусть хоть у тебя будет то, что недополучил я в юности. Я хочу, чтобы хоть ты был счастлив, чтобы ты ездил по своим дурацким заграницам и пил свое любимое шампанское...

Он судорожно схватил бутылку и выпил прямо из горла. В его бешеных глазах были слезы.

— Нет, Ярослав Васильевич... — сказал я. — “Нюшку” я не сниму.

После нашего разговора о “Нюшке” Смеляков поехал в ЦК, потом позвонил мне — уже с дачи.

— Приезжай, но только с поллитрой. С тебя причитается. Отстоял я твою "Нюшку". Поэма идет в набор.

Я приехал, и мы зверски напились».

В Москве на вечерах поэзии он читает монолог Стеньки Разина из пишущейся «Братской ГЭС», где сформулировано его отношение ко всему, что происходило с ним в кончающемся 1963 году.

Стенька, Стенька,
ты как ветка,
потерявшая листву.
Как хотел в Москву ты въехать!
Вот и въехал ты в Москву...

14 декабря он триумфально участвует в вечере поэзии, прошедшем в зале Консерватории имени Чайковского, куда народ ломился свыше нормы, сдерживаемый милицией. На празднование Нового года он зван с женой в Кремль, Хрущёв держится отцом.

«Хрущёв позвонил как-то ночью и пригласил на новогодний банкет в Кремль: “Мы там обнимемся, и от тебя отстанут”. На кремлевском вечере он прилично выпил: “Я вот думаю часто: как раз и навсегда избавиться от бюрократии? Столько к партии прилипло карьеристов, и я их всех ненавижу. У меня есть идея, не знаю, как к ней отнесутся Политбюро и мои товарищи. Может, отменить Коммунистическую партию и просто объявить весь наш народ народом коммунистов? А теперь я хочу услышать мою любимую песню “Хотят ли русские войны”.

Это была прелюдия к нашему объятию. И действительно, ко мне сразу же подкрался его советник: “Будьте готовы, сейчас к вам подойдут”. Хрущёв подошел и обнял: “Давай пройдемся, чтобы они видели, чтобы тебя не трогали...” Едва отошел, подбежали Брежнев, Ильичёв, Косыгин. Юра Гагарин шепотом говорит: “Надо выпить”. Тихо принесли водочку, тихо налили, тихо опрокинули...»

Что тут, собственно, нового? Феофан Прокопович превозносит Петра Великого, Ломоносов поет Елисавету Петровну, Державин — Фелицу, Николай I рецензирует Пушкина, Ленин строго хвалит Демьяна, Сталин звонит Пастернаку. Все это было, было, было. Никакого эксклюзива в паре Хрущёв — Евтушенко нет.

Лютый друг художественной интеллигенции Ильичёв о евтушенковских триумфах оповещает коллег по ЦК, его «Записка» от 3 марта 1964 года с перечислением названий и цитированием крамолы рассматривается на заседании Президиума ЦК КПСС 12 марта.

С 18 февраля по 14 марта прошел периферийный «черный» спектакль суда над Бродским. Это было обезьянничание: партийно-гэбешному Ленинграду понадобился свой антигерой. Работали топором, провинциально. Эхо оказалось глобальным. «Рыжему» сделали карьеру. Свой камень в ее фундамент непредумышленно вложил Евтушенко, сам того не ведая. С него началось.

Но какова амплитуда уровней: Президиум ЦК КПСС — и районный суд деградирующего города. Это был промежуточной результат. Подлинный финал этой истории состоялся в октябре 1964 года: сняли Хрущёва.

Год стыда

Весенний Париж 68-го года бурлит. Началось в университетах, сперва в Нантере, затем в Сорбонне. Шумней всех среди коноводов двадцатитрехлетний Даниэль Кон-Бендит: столько стукнуло Жене Евтушенко в 56-м. Лозунг молодежи «Запрещать запрещается». Евтушенко взглянул на майский Париж несколько по-олимпийски: «За послевоенной порой с ее духовной и экономической мерцательной аритмией последовал спазм мая 1968 года с его полуопереточными баррикадами». Ахматова в таких случаях любила говорить: — Меня там не стояло.

Он — далеко. В Мехико Сикейрос пишет его портрет.

«— Ну как? — спросил он торжествующе.

Я подавленно молчал, глядя на нечто сплюснутое, твердо-каменно-бездушное.

Но что я мог сказать человеку, который воевал сначала против Панчо Вильи (герой Мексиканской революции 1910—1917 годов. — *И.Ф.*), потом вместе с ним участвовал в покушении на Троцкого? Наши масштабы были несоизмеримы.

Однако я все-таки застенчиво пролепетал:

— Мне кажется, чего-то не хватает...

— Чего? — властно спросил Сикейрос, как будто его грудь снова перекрестили пулеметные ленты.

— Сердца... — выдавил я.

— Сделаем, — сказал он голосом человека, готового на экспроприацию банка.

Он вынул кисть из бутылки, обмакнул в ярко-красную краску и молниеносно вывел у меня на груди сердце, похожее на червовый туз.

Затем он подмигнул мне и приписал этой же краской в углу портрета:

“Одно из тысяч лиц Евтушенко. Потом нарисую остальные 999, которых не хватает”».

Надо же, почти совпало с портретом Евтушенко работы В. Соколова:

Я люблю твои лица. В каждом
Есть от сутолоки столетья.

Евтушенко поинтересовался у Сикейроса, правда ли, что у Маяковского в Мексике есть сын?

— Не трать время на долгие поиски... Завтра утром, когда будешь бриться, взгляни в зеркало.

Сикейрос только что, в апреле, был выпущен из тюрьмы. Он сидел уже не в узилище, а на стадионе Arena del Mexico неподалеку от президента Мексики в числе 20 000 зрителей, которым Евтушенко по-испански читал свои «Шахматы Мексики», написанные в конце марта на мексиканском Острове женщин.

В тот раз он объехал всю Латинскую Америку, 12 стран. Это продолжалось полгода. Повидал многих, прежде всего — Пабло Неруду, который, собственно, и организовал тот вызов. К себе. Недавно он воскликнул: «”Евтушенко рехнулся; он просто паяц” — так цедят сквозь зубы... Вперед, Евтушенко!»

Среди чилийских коммунистов — Володя Тейтельбойм (а ведь неплохо порой сочетаются слова). Он-то и рассказывает:

«Новый поэтический год начинается уже 10 января 1968 года встречей со "звездами" на стадионе "Натаниэль" в Сантьяго... Неруда говорит: "Евгений, я приглашал тебя не на рыцарский турнир, но я стану твоим оруженосцем — я стану переводить твои стихи". Евтушенко читает первое стихотворение, переведенное Нерудой, — "Море". Евтушенко и актер-декламатор, и мим, его чтение — целый спектакль; к такому мы еще не привыкли, и публика приходит в полный восторг... Он читает "Людей неинтересных в мире нет", "Нежность", "Бабий Яр", "Ярмарка в Симбирске", другие стихи. И заканчивает "Градом в Харькове"».

Сальвадор Альенде еще не президент и, грассируя, учит русские стихи: «В граде Харькове — град, град». Пабло был тоже выдвинут в президенты, но партия сняла его кандидатуру в пользу Сальвадора.

Тем временем началось в Чехословакии. Еще в январе президент А. Новотный ушел с поста первого секретаря ЦК КПЧ. Его сместили более продвинутые люди. Москва не вмешивалась. Брежнев недолюбливал Новотного: тот когда-то не принял способ снятия Хрущёва. Первым секретарем ЦК КПЧ стал А. Дубчек. Москву это не встревожило. Дубчек был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

23 марта в Дрездене собрались руководители партий и правительств шести социалистических стран — СССР, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и Чехословакии. Там Дубчеку сделали внушение: в Праге де разгуливает контрреволюция. У лидеров Польши и Венгрии были плохие воспоминания о 1956 годе.

Чехословацкие события становятся стержнем и фоном всего года. Жизнь идет своим чередом, неотделимая от смерти. 28 марта погибает Юрий Гагарин. 4 апреля убит Мартин Лютер Кинг.

В конце апреля в Прагу прибыл маршал И. Якубовский, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами стран — участниц Варшавского Договора. Он привез тему «о подготовке маневров» на территории Чехословакии.

Евтушенко зашел к Шостаковичу. Заговорили о «пражской весне». В советских

газетах писали о «предательстве социализма». Шостакович вел себя беспокойно, судорожно хватался за рюмку, показал открытое письмо деятелей советской культуры.

— А я вот подпишу. Да, подпишу... Мало ли что я подписывал в своей жизни... Я человек сломанный, конченый...

Евтушенко умолял не делать этого. Шостакович смял письмо, убежал в соседнюю комнату, его не было пять минут, а когда вернулся, лицо его было пепельное, неподвижное, как маска. В тот вечер он не сказал больше ни единого слова.

Новая весть из-за океана: убит Роберт Кеннеди. 6—7 июня Евтушенко пишет стихи:

И звёзды, словно пуль прострелы рваные,
Америка, на знамени твоем, —

и тогда же знакомит с ними Бродского, находящегося в Москве, и они втроем — Евтушенко, Бродский и Рейн — по предложению Бродского пошли в посольство США, где расписались в траурной книге.

В Чехословакии все продолжается. В конце июля, по данным журнала «Шпигель», к вторжению были готовы 26 дивизий, из них 18 советских, не считая авиации.

29 июля написано:

Повсюду грязь в разливе,
и фары гложут мрак,
но месяц над Россией —
как поворотный знак.

Надвигался август.

29 июля — 1 августа в Чиерне-над-Тисой встретились полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиум ЦК КПЧ вместе с президентом Л. Свободой, говорили резко, но вроде бы обо всем договорились. Брежнев отбыл на отдых в Ялту.

2-го числа Корней Иванович Чуковский пишет в дневнике:

«Был Евтушенко... читал вдохновенные стихи... Читал так артистично, что я жалел, что вместе со мною нет еще десяти тысяч человек, которые блаженствовали бы вместе... Стихи такие убедительные, что было бы хорошо напечатать их на листовках и распространять их в тюрьмах, больницах и других учреждениях, где мучат и угнетают людей...»

Когда Бродский поселится в Штатах и станет поэтом-лауреатом, он выдвинет идею издания недорогих антологий лучших американских поэтов, чтобы они всегда были под рукой в аэропортах, отелях, больницах и магазинах. Тюрьмы не предусматривались. Идея не прижилась. Она была чужеродным рудиментом советского шестидесятничества.

3 августа состоялась встреча руководителей шести партий в Братиславе. В принятом заявлении содержалась фраза о коллективной ответственности в деле защиты социализма.

29 июля — 4 августа Евтушенко, посетив Псков, пишет «Псковские башни», в которых тоже слышен некий звон:

У возвышающих развалин
в надежде славы и добра
я слышу грохот наковален:
кует
Россия
прапора.

Вполне пафосно, патриотично, чуть не в унисон движущейся военной технике.

В ночь на 22 августа на белоснежной коктебельской террасе сидели Аксёнов, Гладилин, Балтер и Евтушенко. Догуливали позавчерашний аксёновский день рождения. Было невесело. Что будет с «пражской весной»?

Аксёнов сказал:

— Эта банда на все способна.

Евтушенко выразил надежду на лучшее, ведь не могут же свои давить своих.

Балтер усмехнулся:

— Женя, Женя, какой вы все-таки идеалист. Может быть, именно в эту минуту наши танки уже пересекают чехословацкую границу.

Он как в воду глядел. Это уже произошло: ночью раньше. Командовал — издалека — стальной армадой стареющий густобровый пловец, уверенными взмахами крепких загорелых рук полосуя черноморскую лазурь где-то совсем неподалеку от Коктебеля. Говорят, он мог плавать по многу часов.

Наутро Евтушенко с Аксёновым опохмелились в поселковой столовой теплой водкой, уже выслушав советское радио. Текли слезы. Аксёнов, вскочив на столик, прямым Савонаролой, имея в виду отнюдь не папу Римского, произнес гневную речь по адресу присутствующих.

— Вы знаете, кто вы такие? Вы жалкие рабы!

Евтушенко еле удалось увести его: полуголые спортивные ребята приготовились к мордобою. Поэт волок на себе друга, брызжущего проклятиями.

Оставшись один, он бросился к радиоприемнику. Говорил старый друг Мирек Зикмунд, журналист и знаменитый путешественник, в паре со своим сподвижником Иржи Ганзелкой объехавший на чешской «татре» почти весь мир, с заездом на станцию Зима и ночевкой на сеновале у Жениного дяди Андрея.

— Женя Евтушенко, ты слышишь меня? Почему ваши танки на наших улицах?

Мирек напомнил о том, как в сибирской ночи у костра они говорили о социализме с человеческим лицом.

Телеграмм было две — на имя Брежнева и в чехословацкое посольство. По пути на телеграф он заглянул к спящему Аксёнову. Который, полупробудившись, прочел тексты и сказал:

— Все это напрасно.

Когда Евтушенко отправлял телеграммы, Аксёнов спал мертвым сном.

23 августа у Евтушенко вырвались стихи:

Прежде, чем я подохну,
как — мне не важно — прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной — без рыданий—
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

25 августа ровно в полдень на Красную площадь вышли восемь человек, сели на белый камень Лобного места и развернули транспаранты. Сидячих протестантов мгновенно схватили и, порукоприкладствовав, увели в тягулевку.

Был скорый суд. Зоной или ссылкой наказали почти всех: двадцатиоднолетнюю Таню Баеву товарищи уговорили заявить, что она оказалась на площади случайно, и ее отпустили. Наталье Горбаневской поставили диагноз, подписанный профессором Лунцем: вялотекущая шизофрения. Психбольница специального назначения.

Те восемь человек не были кучкой сектантов: Солженицын, Твардовский,

Чичибабин, Окуджава, генерал Григоренко, Елена Боннэр — многие возмущены происходящим безобразием.

Твардовский плачет у себя на даче, записывая в дневнике:

Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом.

Солженицын, в те дни опасаясь нападения на себя, говорит Твардовскому: «После Чехословакии возможно все что угодно».

Юлий Ким спел, обращаясь, по-видимому, к Визбору:

Доставай бандуру, Юра,
конфискуй у Галича.
А где ты там, цензура-дура?
Ну-ка, спой, как давеча.
Эх, раз, ещё раз,
ещё много-много раз,
ещё Пашку,
и Наташку,
и Ларису Богораз!

По инерции и в охотку Евтушенко продолжает работать разъездным поэтом. Ему это позволяют, не успев осознать происшедшего. Наконец-то он скажет свое про Испанию. Про улочки Барселоны, про счастье по-андалузски, про черные бандерильи, про Севилью, про Лорку, а также про любовь по-португальски, потому как и в Лиссабоне побывает. Его прорвало, стихи льются безостановочно. «Русское чудо» — о старухе без сертификатов, изгнанной из коммунизма, — он пишет без надежды на публикацию, но «Балладу о поднятых кулаках» 22 октября напечатает в «Советском спорте» друг-учитель Тарасов, и это будет первым выходом в свет после стихов о танках. Он привезет горсть гренадской земли, и они со Смеляковым погребут ее в холмике светловской могилы.

По возвращении в Москву — запрет выступлений, уничтожение матрицы книги в Гослитиздате, отмена поездки в Англию, где оксфордские студенты выдвинули его на профессорское звание.

Появляется стихотворение с мандельштамовским вопросом:

«А Иисуса Христа
печатали?!»

Было отменено плавание по Миссисипи, то есть приглашение в Америку с таким предложением. Евтушенко пришел на прием к Андропову. Тот сказал: вопрос о Миссисипи решайте в вашем родном Союзе писателей.

Братья писатели надулись, один из старших взорвался:

— Ты нас всех оскорбил. И меня тоже!

— Чем же?

— Я думаю так же, как ты, но если бы я написал такую телеграмму, меня бы в порошок стерли, а с тебя все как с гуся вода, ты же у нас любимец народа, тебе все прощают.

На имя Брежнева идет эпистола за подписью двенадцати собратьев: лишить предателя советского гражданства. Что-то такое мы уже слышали.

Вдвоем с Галей сожгли в переделкинской печке всю литературу, которую можно было счесть нелегальной. Стояла ночь, за окном выли собаки, потрескивала печка, пахло дымом. Казалось, пахнет арестом.

Пронесло, и, похоже, не замышлялось.

2 ноября в дневнике Чуковского новая запись:

«Вечером от 6 до 11 Евтушенко. Для меня это огромное событие. Мы говорили с ним об антологии, которую он составляет... обнаружил огромное знание старой литературы. Не хочет ни Вяч. Иванова, ни Брюсова. Великолепно выбрал Маяковского. Говорит, что со времени нашего вторжения в Чехию его словно прорвало — он написал бездну стихов. Прочитал пять прекрасных стихотворений. Одно — о трех гнилых избах, где живут три старухи и старичок-брехунок. Перед этой картиной — изображение насквозь прогнившей Москвы — ее фальшивой и мерзостной жизни... Потом — о старухе, попавшей в валютный магазин и вообразившей, что она может купить за советские деньги самую роскошную снедь, что она уже вступила в коммунизм, а потом ее из коммунизма выгнали, ибо у нее не было сертификатов... Потом о войсках, захвативших Чехословакию. Поразительные стихи, и поразителен он... Большой человек большой судьбы.»

Антологию он задумал давно. Когда в 62-м они с Адамовичем беседовали в парижском кафе «Куполь», силуэт будущей антологии уже брезжил в сознании. Не хватало последнего штриха, чтобы возникла картина. Элегантный человек с безукоризненным пробором легким движением ухоженной руки развеял туманец неопределенности. Стало ясно: русская поэзия нерасчленима, многообразна и не разведена по разным квартирам и территориям.

Оксфордская мантия ему не досталась. В Англии затеяли интригу на предмет включенности Евтушенко в сервилизм советской литературы и двусмысленности его поступков, да и вообще: была ли та телеграмма про Чехословакию? Не придумало ли ее КГБ для украшения его репутации?

За него вступаются Артур Миллер, Уильям Стайрон, 24 ноября Фрэнк Харди в «Sunday Times» пишет:

«Евгений Евтушенко — русский поэт и кандидат на звание профессора поэзии в Оксфорде был на этой неделе атакован "Комсомольской правдой" за распространение буржуазных идей в СССР. В ту же неделю он был обвинен правой прессой в Англии как прислужник партии... Почему его атакуют и левые, и правые? Потому что Евтушенко сам является парадоксом. Он, несомненно, самый знаменитый поэт нашего времени. Он объединяет разделенный мир гигантскими усилиями.»

Мантия! Обладатель оной пышной робы, старик Чуковский заглянул к нему.

«Вторник 3. Декабрь. Я видел в "Times" статью Харти (так. — *И.Ф.*) о неизбрании Евтушенко в Оксфорд и решил отвезти ему вырезку. Мимо проезжал милиционер в мотоцикле, подвез. "Евтушенко болен", — сказала нянька. Оказалось, он три дня был в Москве и три дня пил без конца. "Пропил все деньги на магнитофон", — сокрушается он. Стыдно показать глаза жене. Прочитал мне стихи о голубом песце, о китах...»

Осудим ли зиминского мальчишку, не получившего обещанную игрушку? А вот Анне Андреевне — подарили. Она и поигралась — под настроение давала примеривать хорошим людям, в частности Д. Самойлову, и веселей не придумаешь: подол наряда падал на пол, поскольку маэстро стиха ростом не вышел, не то что эта верста из Марьиной Рощи.

Написаны «Гражданские сумерки», где зафиксирован цвет времени:

Красного медленный переход
в серое, серое, серое.

Заранее рассказано о том, что потом неминуемо повторится:

В Пекине жгли мое чучело,
подвешенное шпаньем.

<...>
В Америке жгли мое чучело —
какой двусторонний шаблон!

Все шло к поэме, и она возникла: «Под кожей статуи Свободы». Там была найдена формула исторического момента: «Год стыда». Его декларации по-прежнему исповедальны, афористичны, полны новой горечи.

Бесплодно я читал морали веку.
Бесплодно он читал морали мне.

В таком случае возникает вопрос: к кому обращается поэт? Это похоже на глас вопиющего в пустыне. Происходил массовый отток романтического читателя, стиховая публицистика повисала в воздухе. Вирус разочарования поразил рыхлеющее поколение.

Поразительной силы стихи, увы, справедливы по установленному диагнозу времени и положении поэта внутри этого времени.

В этот год разгневанного солнца,
милая, себя ты не гневи,
но в какой тени с тобой спасемся?
Мы срубили даже тень любви.

На спасение этой любви были употреблены все силы души, все возможные способы. Чета Евтушенко усыновила мальчика Петю, взяв его из детдома. Это решение по важности совершаемых поступков было равно написанию стихотворения о танках в Праге. Поэма о Свободе была шагом того же порядка. Может быть, как никакое другое евтушенковское произведение 60-х, эта вещь стала этапом, означающим конец всей предшествующей эпохи.

Чуткий и не чужой Аксёнов писал ему, изящно иронизируя и заметно смягчая дефиниции:

«Ты прекрасно, Женя, знаешь, что я тебя ставлю очень высоко как поэта. Сейчас ты как поэт становишься все более и более одиноким. Твоя последняя поэма — это просто отчаянный крик идеалиста, который еще надеется что-то спасти. Понимаешь ли ты, что я хочу этим сказать? Ты обладаешь не только крысиным предчувствием страшного мира, которое есть у многих из нас, но еще и решимостью стоять на том, на чем стоишь. Во имя этого порой и хитришь и несешь определенные потери, но усиливающееся твое поэтическое одиночество вносит новую ноту — трагическую в твои стихи и поднимает их. Что касается надежды, пусть она и кажется с каждым днем все большему количеству людей смешной, но без нее нам не прожить.

Собственно говоря, мне все понравилось в поэме. О Сальвадоре Дали и бокалах Кеннеди я тебе уже говорил по телефону. Дали-фашист — это слишком крепко; омерзительный снобизм — другое дело. Показался мне затянутым финальный монолог о самой статуе и уж совсем не в жилу — "поэты — монтажники сердца". Отсюда один шаг до инженеров человеческих душ.

Очень здорово про хиппи, атомную суку, доброго дедушку, ресторанчик, наш милый ресторанчик, масса блестящих вещей. Словом, поздравляю тебя и желаю выхода с наименьшими потерями. "Юность" — наш родной дом!

<...>

Обнимаю, 20.V.69, твой Вася.»

Позже Аксёнов довольно точно скажет про Евтушенко: *коняга утопического социализма.*

Поэма была мистерией-буфф, парадом костюмов, игрой аллегорий. Автор рассчитывал на сообразительность своей аудитории, собранной за многие годы добросовестным трудом. Некоторая часть интеллигенции небеспочвенно поморщилась. Андрей Тарковский записал в дневнике:

«Случайно прочел... Какая бездарь! Оторопь берет. Мещанский авангард... Жалкий какой-то Женя. Кокетка. В квартире у него все стены завешаны скверными картинами. Буржуй. И очень хочет, чтобы его любили. И Хрущев, и Брежнев, и девушки...»

Евтушенко сделал ход, который мало чем по сути своей отличался от пародической самообличительной заметки Аксёнова в 63-м году.

Под кожей статуи Свободы гуляли ритмы и мелодии русских неконвенциональных песенок. «Панчо Вилья — это буду я». Гоп со смыком. Автор тайно дурачится.

Но в факте якобы антиамериканской поэмы был двусмысленный этический элемент: можно ли было, выдавая Россию за Америку, костерить эту Лжеамерику поверх настоящей Америки, в действительности столь к нему гостеприимной, в расчете на ее политическую культуру, позволяющую свободу высказывания?

Ему все равно не поверили наверху. Поэмы как не было. 7 июля 69-го Председатель КГБ Андропов докладывал в ЦК:

«Особо резонирующим среди общественности явилось провокационное обращение Евтушенко в адрес руководителей партии и правительства по чехословацкому вопросу. Примечательно, что текст обращения буквально через несколько дней оказался за рубежом, был передан радиостанциями Би-би-си, "Голос Америки" и опубликован в газетах "Нью-Йорк таймс", "Вашингтон пост" и других. <...> Тенденциозное отношение к развитию событий в ЧССР проявлялось у Евтушенко и ранее. В сентябре 1968 года в разговорах с участниками юбилея Николоза Бараташвили в Тбилиси он критиковал внутреннюю и внешнюю политику СССР, считая ввод союзных войск актом насилия над независимым государством, а наши действия в Чехословакии "недостойными". Прикрываясь рассуждениями о "гражданском долге", Евтушенко искал поддержки своей позиции у представителей грузинской интеллигенции, а несколько позже в Москве, отстаивая ее перед руководителями драматического театра на Малой Бронной, заявлял: "Евгению Евтушенко рот не заткнут! Я буду кричать о том, как поступили с маленькой прекрасной Чехословакией". <...> ...поступки Евтушенко в известной степени инспирируются нашими идеологическими противниками, которые, оценивая его "позицию" по ряду вопросов, в определенных ситуациях пытаются поднять Евтушенко на щит и превратить его в своеобразный пример политической оппозиции в нашей стране. <...> Евтушенко в обход существующих правил устанавливает связи с зарубежными издателями».

Поэму удалось обнародовать на литературных выселках — в белорусском журнале «Неман» (1970, № 8) — с предисловием Константина Симонова, заговорившего на том же языке театра масок. Солидный Симонов играет в ту же игру.

«Думаю, что при всей условности поэтического письма и при всем своеобразии той прозы, которой от времени до времени Евтушенко прерывает свой поэтический рассказ, в его новом произведении присутствует весьма точное и реальное ощущение пульса жизни в современной Америке, ощущение раздирающих ее противоречий и споров. Во всяком случае, так кажется мне, человеку, только недавно вернувшемуся оттуда, бывавшему там и десять, и двадцать лет тому назад и имеющему возможность сравнивать».

Шестидесятники — очень условное, неточное определение. Оно связано по ассоциации и по аналогии с 60-ми годами XIX века, когда в России произошло оживление общественной и литературной жизни. На самом деле самые видные имена 60-х XX столетия пришли в 50-х, еще в обозе прямых предшественников, очень скоро

вырвавшись вперед на сцену успеха. В этом смысле ученики победили учителей, но только в этом — внутренняя поэтическая иерархия, ее ценностная шкала оставалась незыблемой.

Борис Слуцкий стихи не датировал.

Ставил на вечность? Вряд ли. Но для поэта, столь актуального по сути, это как минимум странность. Так или иначе, время возникновения того или этого стихотворения у Слуцкого можно угадать почти безошибочно. В 1971 у него вышла книга «Годовая стрелка», где стихотворение «Эпоха закончилась. Надо ее описать...» явно означает конец 60-х. В болдыревском (составитель — Ю. Болдырев) трехтомнике, вышедшем в 1991, перед «Эпоха закончилась. Надо ее описать...» стоит стихотворение, которое, среди прочих текстов Слуцкого, ходило по рукам:

Покуда полная правда
как мышь дрожала в углу,
одна неполная правда
вела большую игру.

Она не всё говорила,
но почти всё говорила:
работала, не молчала
и кое-что означала.

Слова-то люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде —
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.

И пусть сначала для славы,
только потом — для добра.
Пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а всё-таки он качался,
кончался и не кончался,
качался и не отчаивался,
каялся, но не закаивался.

Прошло лет десять с того момента, когда Евтушенко, по окончании писательского судилища над Пастернаком, на улице публично-показательно вернул ему денежный долг, звучно добавив:

— Тридцать сребреников за мной.

«Покуда полная правда...» — свидетельство не только некоторого покаяния со стороны Слуцкого, но и трезвого, как всегда у Слуцкого, взгляда на Евтушенко, на его роль в кончающейся эпохе.

Книга, которую сейчас читает читатель, стоит на фундаменте этого стихотворения.

Точка невозврата

Навстречу 100-летию Ленина народ поет шлягер «Хмуриться не надо, Лада» с рефреном «Нам столетья не преграда» (о, бодренький Эдуард Хиль):

— Нам 100-летье не преграда!

Свежий анекдот. Московский Второй часовой завод выпустил часы-кукушку, на которых из окошка каждый час выскакивает на броневичке Ильич с указующей ручкой и поет:

— Ку-ку!

В такой обстановке Евтушенко пишет «Казанский университет». Он опять дразнит гусей, балансирует на грани, ходит по краю. Из 17 глав только в пяти мельком проскакивает или упоминается великий юбиляр. Надо ли было огород городить?

Еще в 58-м он засвидетельствовал: интеллигенция поет блатные песни. Годом раньше и вовсе так («Интеллигенты, мы помногу...»):

Мы веселимся нервно, скупо.
Меж нас царит угрюмый торг,
царит бессмысленная скука
или двусмысленный восторг.

Ну а, например, Вознесенский в 60-х, напротив, поет ей дифирамб.

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Уж не говоря о «Лонжюмо» Вознесенского — поэме о Ленине.

Но спору — нет. Поэты сходятся на аналогичном истолковании исторической роли интеллигенции, включая ее продукт — литературу, и оба они недалеки от веховского (сборник «Вехи») хода мысли. Но у веховцев тут стоит резкий минус, у советских поэтов — плюс с восклицательным знаком.

Поэмой о Свободе он отметил свои 36, неумолимо надвигаются 37 (фактически он уже прошел их), пушкинский возраст, но ему заранее мерещатся блоковские 40. Маневр с якобы антиамериканской поэмой вышел боком, бьют с обеих сторон. Оксфордский удар — самый болевой.

А в родных пределах? Вот сценка. Спускается навстречу по цедеэловской лестнице молодежная компания, среди них Горбаневская. Ни поклона, ни кивка, вызывающий взгляд, исполненный презрения, руки демонстративно заложены за спину.

Он писал в ее защиту, ходил в кабинеты. Как потом окажется, ей ближе спящий Аксёнов, нежели бодрствующий Евтушенко. Он-де бодрствует в свой карман.

Когда Горбаневская еще томилась в психушке, к нему приходила ее мать, просила о помощи. Он написал Андропову и, улетев в Австралию, на первом же выступлении в Канберре обнаружил, что на спинке каждого стула лежит листовка с душераздирающим описанием того, как он выгнал рыдающую от горя старуху на мороз. Не успел вернуться — звонок из КГБ: согласно вашему письму на имя Председателя Комитета, диссидентка такая-то освобождена из психбольницы.

Все это воспринимается как игра с той, враждебной стороны, как соучастие в их изничтожении. Кое-кто определил его в нерукопожатные.

Художник, в час великой пробы
не опустись до мелкой злобы,
не стань Отечеству чужой.
Да, эмиграция есть драма,
но в жизни нет срамнее срама,
чем эмигрировать душой.

Поэт — политик поневоле.
Он тот, кто руку подал боли,
он тот, кто понял голос голи,
вложив его в свои уста,
и там, где огнь гудит, развихрясь,
где стольким видится Антихрист,
он видит все-таки Христа.

<...>
Эй вы, замкнувшиеся глухо,
скопцы и эмигранты духа,
мне — вашим страхам вопреки —
возмездья блоковские снятся...
Когда я напишу «Двенадцать»,
не подавайте мне руки!

Позиция обозначена четко: он на стороне «великой пробы». Он — «политик поневоле». Обманные маневры неизбежны, но дело все-таки в «великой пробе», то есть в октябре 17-го года. Неистовый антисталинизм уживается с Великим Октябрем, Ленин не антигерой, XX съезд благотворен, Хрущёв черно-бел, но выпустил из тюрьмы полнарода. Поэт на стороне революции, тогда как диссидентство неуклонно идет к ее бескомпромиссному отрицанию. Так что позиция по «чехословацкому вопросу» у него с ними одна, но если глубже — коренное несогласие, дело пахнет разными сторонами баррикады.

Дистанцируясь от диссидентов, действует Солженицын. Еще в мае 1967 года он разослал «Письмо съезду». Интеллигенция взволновалась. «В первую очередь “пражскую весну” подогрело известное письмо Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писателей, которое прочитали и в Чехословакии». В.П. Лукин, автор этих слов, в те дни находился в Праге.

Тогда же Солженицын пустил в самиздат романы «В круге первом» и «Раковый корпус», и на Западе они вышли, хотя и без его разрешения, но советская пропаганда начала яростную кампанию против него. Солженицына выгнали из Союза писателей. Кампания усилилась, когда его выдвинули на Нобелевскую премию. Американец Дин Рид, певец, актер, красавец и диссидент по-американски, был подключен к делу: отложив гитару, написал открытое письмо Солженицыну.

Евтушенко всецело на стороне Солженицына. Он мечет стрелы по адресу цензуры, сперва только якобы испанской, а в «Казанском университете» и отечественной, якобы прошловековой. Зачин «Казанского университета» напрямую повторяет пастернаковского «Спекторского», где сказано от первого лица о рождении сына, бедственном положении семьи, и в связи с этим:

Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Евтушенко:

Казань — пекарня душная умов.
Когда Казань взяла меня за жабры,
я, задыхаясь, дергался зажато
между томов, подшивок и домов.

Читал в спецзалах, полных картотек,
лицо усмешкой горькой исковеркав,
доносы девятнадцатого века
на идолов твоих, двадцатый век.

То есть, как видим, при похожем старте контуры финиша и условия дистанции были другими. Тем не менее Евтушенко встает за спину пастернаковского авторитета, начиная поэму именно так, берет предшественника в единомышленники. Это рассчитано на знающих людей, прямо говоря — на интеллигенцию, причем читающую стихи.

Пастернаковская лениниана, если спрямлять, состояла из первоначального восхищения явлением Ленина и заключительного предостережения, больше похожего на горько-сухую констатацию факта («Высокая болезнь»):

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Евтушенко дает по необходимости беглые портреты тех деятелей российского просвещения, которые тематически связаны волжским университетом — от Магницкого до Ильи Ульянова с его сыновьями. Это намерение написать такую предысторию революции, из которой вытекает ее необходимость, неизбежность и справедливое начало.

Его историческая интеллигенция действует не в отрыве от жизни простонародья и вообще российской действительности конца девятнадцатого века, над которой развернуты совиные крыла Победоносцева, — таким образом, и Блок взят в союзники.

Как это написано? Поспешно и блестяще.

Хвала террору («наивному») и революции («месть за брата»).

Открытым текстом — возмущение изгнанием Твардовского из «Нового мира» через показ закрытия «Отечественных записок» и фигуры Салтыкова-Щедрина. Он и себя не щадит, попутно дав определение времени:

Ау, либералы!
Так бойко выпендривались
и так растерялись вы,
судари?
Какая сегодня погода в империи?
Гражданские сумерки.

Животрепещуще и сплеча.

Это та же «Под кожей статуи Свободы» с той разницей, что евтушенковское понимание исторической России насквозь литературно. Это по преимуществу марксистско-ленинское понимание России с привлечением Плеханова как предтечи. Народовольцы и первые русские марксисты — в свете их жертвенности. Вопрос веры замыкается в имени Вера Фигнер. Попы отвратительны, продажны и пьяны.

Наработанное в «Братской ГЭС» — «Ярмарка в Симбирске», «Казнь Стеньки Разина» — искусство живописи убедительно продемонстрировано вновь на картинах русского разгула, размаха, исступленного празднества на грани распада — главки «Пасха», «Суббота». Лучшие умы спиваются и бесследно погибают в Сибири (Шапов, полубурят, почти земляк). Обсерваторский дед-истопник, обогревая помещение, в котором Илья Ульянов занимается метеосводками, рассуждает в таких категориях, покряхтывая:

Хитро оттепель-паскуда
обманула нас вчерась.
Грязь прокиснувшая —
худо.
Хуже — если смёрзлась грязь.

Сей дед — ипостась автора, как и Лесгафт, включенный в некий диалог с тем же самым автором, то есть говорящий с самим собой:

Наследники Пушкина, Герцена,
мы — завязь.
Мы вырастим плод.
Понятие «интеллигенция»
сольется с понятьем «народ»...

Наверное, оттого, что ни Пастернак, ни Блок не учились в Казанском университете, Евтушенко пишет свою вещь без трезвой оглядки на трагедию того и другого: их приятие Ленина кончилось известно как.

В 1997-м появляется новая 12-я глава: «Карта России». Изображен неврастенический припадок Ленина, рвущего карту отечества. Он кусает эту карту. Новая 12-я лишь подчеркивает относительную соотнесенность первоначального, неправленого текста поэмы с той Россией, которая была на самом деле, а не в трудах марксистских историков. Тот же Солженицын смотрит на отечественную историю совершенно не так. А вот Лев Толстой у Евтушенко мыслит так:

Как Катюшу Маслову, Россию,
разведя красивое вранье,
лживые историки растлили —
господа Нехлюдовы её.

Мы не полемизируем с поэтом, работавшим сорок с лишним лет назад над сочинением, рассчитанным на своих современников. Но это факт: «души моей растрата» — прямая проблема этого поэта.

И если бы он этого не понимал! Вполне понимал. Бок о бок с «Казанским университетом» стоит поэма «Уроки Братска», эта лицейская по характеру вещь, обращенная к старым друзьям по Братску.

Здесь, в Братске, снова сердце отошло.
Друзья,
я стал ужасно знаменитым, —
не раз я, впрочем, был и буду битым,
но это мне всегда на пользу шло.
Карманы —
ну не то чтобы полны,
но нечего скулить по части денег.
Печатают.
Я даже академик
одной сверхслаборазвитой страны.

В конце лета он посещает Сибирь, путешествует по Байкалу, встречается с самыми разными людьми, в том числе с местными журналистами, в Иркутске и Ангарске. В том августе выходит «Юность» со статьей Евгения Сидорова, где сказано нелицеприятно по-дружески:

«О Евгении Евтушенко в последнее время пишут мало и неопределенно. Суждения о нем напоминают движения маятника. Подсчитываются зерна в мере хлеба, балансируются удачи и потери, в конце следует вздох, иногда искренний: потерь все же больше — маятник останавливается...»

Статья называлась «Жажда цельности». То есть, по существу говорилось о ее, цельности, отсутствии.

О мировоззренческой и художнической цельности напомнило событие, о котором Евтушенко узнал 8 октября 70-го: Солженицыну присудили Нобелевскую премию. Это вам не академическая шапочка одной «сверхслаборазвитой» страны.

Был такой предпремиальный эпизод: «В Москву приехал мой друг, шведский издатель Солженицына Пер Гедин, с деликатной миссией — узнать, примет ли Солженицын Нобелевскую премию и не ухудшит ли это его положение, и без того опасное. Увидеться с Солженицыным было невозможно: дача Ростроповича была буквально окружена агентами КГБ. Я передал этот запрос конспиративно — через третьих лиц, и так же — через третьих лиц — Гедину было передано, что Солженицын премию примет».

Прошел слух о том, что Евтушенко основывает журнал под названием то ли «Лестница», то ли «Мастерская» — как мастерскую молодых авторов. Источником слуха был он сам. Его надеждам не суждено было сбыться.

История проекта описана в басне «Волчий суд»:

Однажды три волка
по правилам волчьего толка
на общем собранье
судили четвертого волка
за то, что задрал он, мальчишка,
без их позволенья
и к ним приволок, увязая в сугробах,
оленя.
Олень был бы сладок,
но их самолюбье задело,
что кто-то из стаи
один совершил это дело.

Дело было так. Давно. В 62-м году.

Валентину Катаеву, при условии ухода с поста главреда «Юности» с заменой на Б. Полевого, пообещали главное кресло в «ЛГ», но обманули: там сел А. Чаковский. Катаев оскорбился.

Катаев, Аксёнов, Вознесенский и Евтушенко пришли к П. Демичеву, секретарю по идеологии ЦК КПСС. Предложили идею нового журнала — «Лестница», в котором произведения молодых сопровождались бы анализом старших мастеров. Демичев благожелательно спросил: чьим органом будет издание? Сердитый Катаев ответил:

— А ничьим. Мы не хотим иметь дело ни с каким Союзом писателей.

Дело приостановилось. Частный журнал? На дворе не нэп.

Евтушенко уезжал в Латинскую Америку. Ему позвонили. Помощник Брежнева сообщил, что генсек просит оставить предложения перед предстоящим съездом писателей. У Евтушенко было два предложения: Федина (председателя СП СССР) заменить на Симонова и возвести ту самую «Лестницу». Вернувшись из поездки, Евтушенко изумленно узнал, что Брежнев поддержал его по обоим вопросам.

Его пригласил к себе В. Шауро, зав. отделом культуры ЦК КПСС. По поводу Федина сказал, что этого делать не надо.

— Это убьет старика!

А насчет «Лестницы» — полная поддержка.

Евтушенко прибежал к Катаеву: ура!

Все были в сборе. Они были в курсе. Катаев мрачно спросил:

— Кто вам поручал обращаться к Генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?

Катаев продолжал в той же тональности, двое других поддакивали, его аргументов не слушали. Евтушенко сказал, что в таком случае он будет один заниматься этим делом, без них и без их имен.

Новую заявку он принес назавтра Г. Маркову, первому секретарю СП СССР. Тот масляно улыбнулся.

— Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя? — В неубитых медведях Марков понимал: сибиряк как-никак. — За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич, и вот какое письмецо он мне оставил...

Тремя подписями был заверен машинописный текст следующего содержания: мы, нижеподписавшиеся, ничего общего не имеем с инициативой Евтушенко.

«Лестница» рухнула, не возникнув.

Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с «некоторыми ровесниками». Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было. Аксенов точкой отсчета «расшвыривания» называет 63-й год. Вознесенский

никак ничего не датирует, но «Песня акына» — ровесница «Волчьего суда», это 71-й год.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прижжет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, Бог, второго—
такого, как я и он.

Вот когда произошел публичный обмен любезностями и стала полуявью одна из самых заметных розней в отечественной словесности. Как бы то ни было, если к шестидесятым относиться с календарных позиций, то 71-й год можно считать занавесом той эпохи. Точкой невозврата.

В октябре 71-го Пабло Неруда получает Нобелевскую премию по литературе «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента». В Стокгольме автор «Всеобщей песни» сказал:

«Каждое мое стихотворение стремится стать осязаемым предметом, каждая моя поэма старается быть полезным инструментом в работе, каждая моя песнь — знак единения в пространстве, где сходятся все пути. <...> верю, что долг поэта повелевает мне родниться не только с розой и симметрией, с восторженной любовью и безмерной тоской, но и с суровыми людскими делами, которые я сделал частью своей поэзии».

Это кредо и Евтушенко. Их связывало кровное родство, поразительное сходство самопонимания. Великая честь быть великим плохим поэтом.

«— Какие дураки, — усмехнулся Пабло Неруда, просматривая свежий номер газеты, где его в очередной раз поливали довольно несвежей грязью, — они пишут, что я двуликий Янус. Они меня недооценивают. У меня не два, а тысячи лиц. Но ни одно из них им не нравится, ибо не похоже на их лица... »

А Евтушенко уже — в Северном Вьетнаме. Он обращается к Маяковскому:

И я, твой наследник далёкий,
хотел бы до поздних седин
остаться поэтом дороги —
дороги номер один.

Он все еще во власти ревромантики, от которой оставался практически пшик в сам*о*й советской реальности. На самом деле он выходит на дорогу разлучения с нехудшим, непустоголовым читателем, уставшим от пафоса. Кто не сомневается в его искренности? Статистики нет. Зрелище войны ранит, человеческое мужество поражает, и стихи не врут, даже если это продукция спецкора с лирой. Военные сводки. Он пишет на бегу, на ходу и на лету. Он встречает Рождество в Ханое, поминая Христа:

Чем он выше всех детей убитых,
тех, кто в душу смотрят молча нам,
этот — из всемирно знаменитых —
на стене собора мальчуган?

«Я писал эти строки, сидя в самолете Аэрофлота, летевшем из Ханоя в Москву. Была глубокая ночь. Все вокруг спали. Самолет шел ровно. Но как только я написал горько-саркастическую концовку в первом варианте: "Чем он лучше всех детей убитых, где-нибудь у пальм и у ракит — этот из всемирно знаменитых, все-таки счастливый вундеркинд?!" — самолет рухнул в воздушную яму. Стюардесса ударилась о металлический кухонный шкаф. Те, кто не привязался, взлетали и бухались головами

о стены и потолки лайнера. Я немедленно убрал насмешливое "вундеркинд" и тут же написал новый, более деликатный вариант концовки. Самолет выровнялся...»

Это — его лаборатория. Стих не вынашивается — с неба падает. Свое истолкование пастернаковской максимы:

И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

В тот час он должен был ехать в Америку с выступлением в Медисон-сквер-гарден, 15 000 зрителей, чтобы рассказать об ужасах вьетнамской войны. Внезапно ему рубят эту гастроль: подписал слишком много писем в защиту диссидентов. Он сидит пьет в ЦДЛ водку, вдруг — звонок на телефон в фойе, у дежурного администратора. Брежнев. Который когда-то на какой-то кремлевской тусовке сказал ему, что читает друзьям и знакомым «Любимая, спи...» и единственный в Политбюро умеет танцевать вальс.

— Успокойтесь ради Бога, поезжайте вы в эту вашу Америку.

Евтушенко был тем, что Брежневу осталось от Хрущёва. Осколок XX съезда в рыхлом теле разлагающейся системы. Они срослись, но симфонии не могло произойти априори. Определилось распределение функций, видимость единого организма.

3 февраля 1972 года советский поэт Евгений Евтушенко был принят в Овальном кабинете Белого дома Президентом США Ричардом Никсоном. Во встрече участвовал Генри Киссинджер, советник президента по национальной безопасности. Поэт был одним из самых заметных в мире критиков вьетнамской войны и только что вернулся из Ханоя, им было о чем поговорить.

«Он собирался с визитом в Москву и спросил меня, что, по моему мнению, хотели бы от него услышать советские люди, что стоило бы посмотреть в России. Я сказал, что лучше бы начать речь с воспоминания о встрече на Эльбе. Посоветовал посетить Пискаревское кладбище в Питере и Театр на Таганке в Москве».

В ту поездку по Америке ему, сбив с ног, повредили два ребра альпинистскими ботинками в городе Сан-Пол, штат Миннесота, когда он читал стихи американским студентам на крытом стадионе, стоя на боксерском ринге со снятыми канатами, — нападавшие оказались отпрысками бандеровцев, родившимися в США и Канаде. Это произошло, скажем так, в нагрузку к выходу в США увесистого однотомника «Краденые яблоки» (Stolen Apples, Published 1972 by Anchor Books, Doubleday, NY) в переводах Джона Апдайка, Лоуренса Ферлингетти, Джеффри Даттона и прочих первостатейных мастеров пера.

Драматург Александр Гладков (пьеса «Давным-давно», ставшая у Э. Рязанова «Гусарской балладой») заносит в дневник новые записи:

«*2 февраля*

Вечером услышал по радио, что завтра в Вашингтоне президент Никсон примет Евтушенко !!! И это после всех его опусов в "Правде" о войне во Вьетнаме. Или Никсон умен и широк, или мы тут поглупели. Это, конечно, огромный успех Евтушенко — такого медведя он еще не забивал. Он смело балансирует на невероятной высоте и может много выиграть, наживя кучу новых врагов.

14 мая

Женя Евтушенко разгуливает по городу в невероятного колера розовом костюме. Вывез из Америки».

Вывез оттуда он и большой цикл стихов, среди которых есть шедевры — «Гранд-Каньон», «Дом волка». Уитмен и Джек Лондон не зря были читаны в детстве-юности. Американские масштабы передались поэтическому дыханию. Физиология истории. Трудная речь.

Матка веков,
наизнанку вывернутая,
сфинкс,
чья загадка,
временем выветренная,
нами не выведанная,
канет.
Тело истории,
но не по главкам —
с маху разрубленное томагавком
вместе с кишками и калом.

Эхо Уитмена.

Поездка по США Евтушенко поначалу, с точки зрения Кремля, была безупречна. Посол СССР в США Добрынин сообщал о его успехах: собирает на свои поэтические вечера до десяти тысяч слушателей, такого Америка не знала. Пресса все это щедро освещает, печатает его вьетнамские стихи. Посол просит дать об этом информацию в советской прессе. Однако встал на дыбы сектор США Международного отдела ЦК КПСС, потребовав отозвать Евтушенко из Америки, поскольку лидер компартии США Гэс Холл возмущен отказом Евтушенко встретиться с активисткой компартии Анджелой Дэвис. Добрынин информирует, что Евтушенко решил задержаться еще на месяц: в Москве, мол, не возражали. И улетел во Флориду. Союз писателей дал телеграмму Добрынину с отказом продлить командировку Евтушенко. В ЦК подумали: дело пока что надо замять — зачем нам невозвращенец? Когда вернется, разберемся. Грозные телеграммы с требованием немедленного возвращения шли за океан в мировое пространство попусту, не достигая Евтушенко: он мотался из города в город.

По возвращении из двухмесячного американского турне таможня арестовала его багаж — книги Троцкого, Бухарина, Бердяева, Шестова, Набокова, Алданова, Гумилёва, Мандельштама, Бунина («Окаянные дни»), Горького («Несвоевременные мысли»), 72 тома «Современных записок», сборник анекдотов «Говорит Ереван» — 124 нелегальных книги и даже фотографию, на которой поэт запечатлен с Никсоном.

Евтушенко позвонил Ф. Бобкову и был принят им. В разговоре коснулись Бродского.

— Зачем КГБ запретил выход его книги?

— Никто ничего не запрещал, это инициатива местного СП. А вообще — ваш Бродский давно подал прошение на отъезд, и ему разрешено выехать.

— Как? Насовсем?!

— Как захочет.

Евтушенко заговорил о том, что жизнь в чужой языковой среде, на чужбине — трагедия для поэта. Что наши бюрократы отравят ему эти оставшиеся дни, — этого нельзя допустить. Бобков пообещал облегчить положение Бродского. Уходя, Евтушенко спросил:

— Я могу рассказать ему о нашем разговоре?

— Ваше дело, но не советую.

В Москве ожидался Никсон. Никсона дождались. Это был первый официальный визит действующего президента США в Москву за всю историю отношений, между ним и Брежневым подписывается масса исторически важных документов. Политика разрядки торжествует. Еврейскую эмиграцию разрешили, Бродский получил некий вызов из Израиля. Он приезжает в Москву и навещает Евтушенко, который до мельчайших подробностей рассказал ему, как и почему он оказался в КГБ и о чем шел разговор.

Бродский был ошарашен. Евтушенко проводил его к лифту. Бродский перешел на «вы».

— Женя, только, пожалуйста, что бы ни случилось, никогда не думайте обо мне плохо.

Дверь лифта раскрылась. Бродский туда вошел и как будто рухнул вниз.

2013
Москва

ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ

Рахман Бадалов

Человек из Зардоба

Документальная фантазия для кино

Баку, лето 2007 года

Дениз и Айдын сидят в библиотеке. Вокруг стеллажи с подшивками старых газет. Перед ними первый экземпляр газеты «Экинчи».

— Боже мой, — искренне сокрушается Дениз, — весь этот сыр-бор из-за этого маленького листочка? Наша школьная газета была больше.

— Да, из-за этого маленького листочка. Трудно представить себе, сколько за ним страстей, предательств, доносов.

— Предавали и доносили свои?

— Свои тоже. Чужие понятно: империя заботилась о своей безопасности на окраинах. А свои боялись новизны, чувствовали, что их сгоняют с насиженных мест.

— И что мог изменить этот листочек? По-моему, твой Гасан-бек был просто одержимый.

— Может быть, и одержимый. Но ты пойми. Это был девятнадцатый век. Мир ушел далеко вперед. Просвещению уже больше ста лет. Он видел, какие страсти кипели в Москве. А здесь тишь да гладь. Захолустье.

— Может, и не стоило ничего менять?

— Вот с этим он не мог смириться. Поэтому и решил создать газету.

— И название красивое придумал: «Экинчи» — «Пахарь». Или еще красивее — «Сеятель».

— Да, красивое и точное.

Баку, осень 1870 года

В своей квартире Гасан-бек с учениками реальной гимназии Наджаф-беком Везировым и Аскер-беком Адигезаловым обсуждали создание газеты на тюркском языке.

— Как вы не понимаете! — Гасан-бек не мог взять в толк, почему его сподвижники безучастны к столь блестящей идее. — Я не отказываюсь от театра, но газета — совсем другое. Газета это новости, это образование, это цивилизация. Если из десяти читающих хоть до одного дойдет прочитанное в газете, все вокруг постепенно изменится.

Окончание. Начало см. «ДН», № 6, 2013.

— Понимаем, понимаем. — Наджаф-бек говорит от имени обоих. — Но во-первых, кто нам разрешит выпускать газету? А даже если разрешат, где мы возьмем деньги, где найдем специалистов, типографию? И главная проблема — кто будет эту газету читать? На кого она рассчитана?

— Разрешат, не разрешат — это мои проблемы. Я не отстану от них, пока они не сдадутся. Губернатор Старосельский обещал мне поддержку. Название «Экинчи» — поможет убедить цензоров, что газета будет только сельскохозяйственная. Главное, чтобы вы помогали мне, ведь я один, даже с Ганифой, не справлюсь. А разрешения я добьюсь.

Баку, зима 1873 года

Канцелярия губернатора. Пожилой тучный чиновник долго рассматривает лежащие перед ним бумаги, тяжело вздыхает, вытирает пот со лба. Гасан-бек терпеливо ждет.

— Вы в Персии бывали?

— В Персии? Нет, а почему я должен бывать в Персии?

— Газета дело серьезное, мы должны знать, насколько благонадежен тот, кто намеревается ее выпускать. Так, пойдем дальше. В Турции бывали?

— Нет, в Турции тоже не был. Сразу скажу, что, кроме Российской империи, никогда ни в одной стране не был.

— Как газета будет называться?

— «Экинчи», то есть «Пахарь».

— «Пахарь» слово весьма двусмысленное.

— Просто газета сельскохозяйственная, поэтому и называется «Пахарь».

— Понятно. А какие разделы предполагаются в газете?

— Сельскохозяйственный, научный и смесь.

— А какие сообщения собираетесь печатать в разделе «Смесь»?

— Распоряжения правительства и местной власти.

— Как часто будет выходить газета?

— На первых порах один раз в две недели, потом, возможно, чаще.

— Думаю, один раз в две недели достаточно. Больше у вас и читателей не наберется.

Чиновник вытащил из ящика печать и поставил ее на одну из лежавших перед ним бумаг.

В тот же день Гасан-бек с Минасовым, «специалистом» по типографским делам, выяснял возможности печатать у него газету.

— Конечно, я соглашусь, как можно отказать господину губернатору. Но сам посмотри: это ж одно название «типография». Просто мы с племянником выполняем небольшие заказы. Газету я никогда не выпускал.

— Ничего, научимся. Я буду работать вместе с вами, при необходимости даже ночевать здесь.

— Может, газету пока выпускать на русском языке? Это решило бы все вопросы — у меня ведь нужных шрифтов нет.

— Это совершенно невозможно. Газета выпускается для мусульман-тюрков и должна выходить на тюркском языке.

— Но у вас нет достаточного количества грамотных людей.

— Грамотные люди найдутся. Причем не только в Азербайджане, но и по всей России. И найдутся такие люди, которые будут читать газету неграмотным. А вопрос со шрифтом я решу. Поеду в Стамбул и привезу нужный шрифт.

Прошло три месяца. В типографии Минасова работа была в полном разгаре. В помещении жарко, все раздеты по пояс, перемазаны типографской краской.

— Гасан-бек, так невозможно. Пока газета выйдет, мы концы отдадим.

— Но у вас ведь такой помощник как я! Смотрите, как я научился набирать. А я ведь еще и тексты пишу, и исправляю опечатки. К тому же собственные деньги трачу. И не жалуюсь.

— Вам есть смысл мучиться: станете знаменитым, и у вас будет очень много денег.

— Не знаю. Может быть, наоборот, никто не вспомнит, и умру нищим.

Баку, 22 июня 1875 года

Гасан-бек вбегает в комнату, громко, взволнованно зовет Ганифу-ханум. За ним столь же стремительно входят Наджаф-бек Везиров и Аскер-бек Адигезалов. Гасан-бек, словно бесценную реликвию, держит в руках только что напечатанный номер «Экинчи».

— Мы сумели, мы добились! Какие мы все молодцы, и я, и Наджаф, и Аскер, и ты, Ганифа.

Гасан-бек бережно положил газету на стол, сел, закрыл лицо руками и неожиданно заплакал. Первой взяла себя в руки Ганифа-ханум.

— Это слезы счастья. А я думала, что никогда не увижу тебя плачущим. Не знаю как вам, а мне ужасно хочется танцевать. У нас в доме, когда был праздник, все танцевали. Давайте?

И все трое, Ганифа, Наджаф и Аскер закружились в зажигательном танце, похожем на «Лезгинку». Гасан-бек по-прежнему сидел на стуле и улыбался сквозь слезы.

Баку, ноябрь 1875 года

Прошло полгода. В той же комнате Гасан-бек, Ганифа-ханум, Наджаф-бек и Аскер-бек разбирали груды писем.

— Я надеялся, что будут отклики на нашу газету, но такого, честно признаться, не ожидал, — радовался Гасан-бек. — Смотрите — Омск.

Поднимая конверты, и остальные стали перечислять города, откуда пришли письма: Тюмень, Чистополь, Оренбург, Уфа... От татар Поволжья. От крымских татар...

— Рано радуетесь, — остудил их пыл Гасан-бек. — Еще неизвестно, что там пишут. Давайте рассортируем и прочтем сначала те письма, где нас критикуют.

Стопка «за» газету растет быстрее, «против» — чуть медленнее. Они начинают читать стопку «против».

— Здесь нас не просто критикуют, а угрожают физической расправой.

— Не понимаю, почему такая реакция. Мы ведь ничего плохого не делаем. — Наджаф-бек страшно напуган.

— Ну, во-первых, не у всех такая реакция. Смотрите, сколько людей нас поддерживают. А во-вторых, разве вы не понимаете, что мы разворошили осиное гнездо и должны быть готовы к тому, что осы будут жалить. И что пишут наши «осы»?

— Вот смотрите, какой-то Хадиль-Музиллин прислал настоящий пасквиль.

— А мы вот что сделаем. Напечатаем его пасквиль с небольшими купюрами, а я ему отвечу.

— А вот какой-то капитан Султанов считает, что мы безбожники и нас следует казнить за то, что мы посмели покритиковать «Шахсей-Вахсей»[1].

— Но ведь у нас против этого обряда выступали Мирза Фатали, Сейид Азим Ширвани, Ализаде Ширвани, Аскер Герани.

— Да, тем не менее, недовольство направлено на нас.

— А вот слушайте, самое интересное. Это от отца Алибека Алиханова, полковника гвардии, который слывет очень смелым человеком. По-видимому, Алибек Алиханов послал газету своему отцу. Так вот отец нашего героя гневно возвращает нам газету с такими словами: «Удивляюсь, как мог редактор не знать, что газету, не издаваемую правительством, не станет читать слуга, верно служащий своему царю».

— Приходится признать, что мусульман, которые не читают газету из-за боязни царя, намного больше, чем тех, которые не читают газету из-за боязни бога. С подобными людьми надо быть очень осторожными. Они опасны и могут погубить наше начинание. Ничего, вот увидите, научим наших мусульман читать газету.

— Когда это еще будет! — как всегда скептически воскликнул Наджаф-бек.

— Скоро, очень скоро, — заверил его Гасан-бек.

Баку, июнь 1876 года

Полгода спустя в той же комнате Гасан-бек, Ганифа-ханум, Наджаф-бек и Аскер-бек обсуждали проблемы, возникшие у них раньше, чем они ожидали.

— Сколько у нас подписчиков? — Гасан-бек был спокоен, препятствия его только мобилизовали.

— Начали со ста. Еще триста по распоряжению губернатора имели в селах. На первое января у нас было шестьсот подписчиков, две трети из них — в селах. К сожалению, число подписчиков начало падать. Сейчас их только 300. Кроме того, правительственные учреждения отказываются доставлять газету в села. Что же нам теперь делать?

— Давайте не будем унывать. Мы с вами сделали огромное дело. Вышло двенадцать номеров газеты, и этого уже никто не отменит. Выпускаем восемьсот-девятьсот экземпляров. Те, что не расходятся по подписке, раздаем бесплатно или посылаем в другие города, чтобы приучать людей читать газеты. Да, я терплю убытки. Но меня это не остановит. Объем корреспонденции, которую мы получаем, убеждает меня в том, что мы были правы, когда начали выпускать «Экинчи». Придется снова поехать по городам, как когда-то с Обществом вспомоществования.

Баку, апрель 1877 года

Гасан-бек в кабинете нового губернатора Кулюбякина. Здесь же находится Минасов.

— Не люблю лукавить. В отличие от господина Старосельского я не придерживаюсь либеральных взглядов. Наша империя стоит на других основах. По этой причине считаю, что поторопились мы с газетой. Незачем раньше времени смущать людей. Как мне сообщили, вы печатали сообщения с турецкого фронта с явным сочувствием к своим сородичам по языку и вере.

---

[1] Религиозный обряд мусульман-шиитов.

— Мы печатали только правительственные сообщения, причем исключительно хронику.

— Но если бы у вас как у образованного человека были верноподданнические чувства, вы бы в сложившихся условиях вообще отказались печатать сообщения с театра военных действий.

— Наши подписчики были крайне недовольны тем, что в газете мало информации. Поэтому мы вынуждены были давать такие сообщения. Естественно, по согласованию с цензором.

— Что вы можете сказать по поводу статьи Наджаф-бека Везирова? Если меня правильно информировали, он был вашим учеником и одним из создателей газеты?

— Вас правильно информировали. В статье Наджаф-бека говорится об одном из карабахских дервишей, который призывает людей к просвещению. Статья прошла цензуру.

— Что ж, порой и цензура бывает близорукой. А вот господин Минасов оказался более прозорливым, чем наш цензор. Он нам своевременно разъяснил, что в статье имеется скрытый смысл. Нетрудно понять, к чему призывает дервиш в условиях войны с Турцией и что означают призывы к «просвещению».

— Не думаю, что статья содержит какие-то призывы. Возможно, это показалось господину Минасову, который, кстати, участвовал в создании «Экинчи».

— Дело, конечно, не в том, что он человек иной веры, а в том, что лучше вас понимает значение верноподданнических чувств. Но оставим господина Минасова. Вы знаете, какой поток писем, выражающих недовольство вашей газетой, обрушился на нашу канцелярию?

— Я знаю, что есть лица, недовольные газетой, но это неизбежно.

— Почему, позвольте спросить? Не потому ли, что многие люди из туземцев проявляют верноподданнические чувства? Не скрою, меня радует, что, как только началась турецкая кампания, многие грамотные мусульмане сочли для себя важным выразить свою верность царю. Они пишут, что такие издания, как ваша газета, расшатывают престол и веру. Они имеют в виду не православную веру, а веру именно мусульманскую. Я не хочу давать распоряжение о закрытии газеты, но я попрошу цензора быть особенно внимательным ко всем публикациям, вам придется представлять все статьи и все сообщения на русском языке. Кроме того, я попрошу, чтобы и у вас дома, и в типографии постоянно дежурили жандармы.

Баку, май 1877 года

В доме Зардаби собрались все его сподвижники. У дверей дежурит полицейский.

— Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие... — Гасан-бек старается шутить, но дрожь в голосе выдает его неподдельное волнение. — Господин губернатор рекомендовал нам закрыть газету. Да, честно говоря, осталось всего пятьдесят подписчиков, и у нас огромные издержки. Убыток составил уже около 1000 рублей, дальше испытывать терпение Ганифы-ханум я не могу. Придется поставить точку. Думаю, нам не стоит отчаиваться. Главное, мы выстояли. И не только выстояли, нам стали писать люди со всех концов России. Значит, им нужна была газета.

— Мы не будем выпускать последний номер?

— Мы обязаны его выпустить. Обратимся к читателям с прощальным словом. Я уже подготовил его, оставив за собой право когда-нибудь возобновить

издание. Знаете, что я вчера записал в своем дневнике? — добавил он с горечью. — «Зову — никто не слышит, показываю — не видят, говорю — не понимают». А потом подумал: может, это я чего-то не понимаю? Может, люди по-своему правы? Впрочем, не будем впадать в уныние, во всех религиях это большой грех. А теперь сядем за стол. Я вам признаюсь: когда я волнуюсь или сильно нервничаю, для меня лучший способ успокоиться — приготовить вкусный обед. Кто знает, не стань я преподавателем, вероятно, стал бы отличным кулинаром. Когда дел будет поменьше, а времени побольше, непременно напишу книгу кулинарных рецептов. — Потом Гасан-бек обратился к жандарму, который стоял в дверях: — Присоединяйся к нам. По нашим традициям, все должны участвовать в поминальной трапезе.

Баку, лето 2007 года

Айдын и Дениз некоторое время молчали. Потом Дениз аккуратно, как ценную реликвию, взяла в руки экземпляр «Экинчи».

— Теперь ответь мне честно, стоил этот листок всех тех страстей, нервов, здоровья?

— Если честно — не знаю. И никто никогда не знает, стоит ли идти против всех. Но история с газетой зацепила тебя, и это не может меня не радовать.

— Напрасно радуешься, но сейчас, не буду лукавить, мне хочется поехать в Зардоб, посмотреть, где и как он жил. Этот твой Гасан-бек.

— Поедем. Тем более, что после «Экинчи» ему пришлось вернуться в Зардоб. Но сначала мы с тобой пойдем в наш Институт рукописей и посмотрим фотографии Зардаби. Фотографии порой говорят больше слов.

Баку, осень 1878 года

Губернский советник принимает Гасан-бека в большой канцелярии, где сидит еще несколько других советников.

— Господин губернатор проявляет к вам высочайшую терпимость. И это притом, что ваша газета не проявила должной лояльности в условиях военной кампании. Господин цензор сообщил нам, что вы получаете большую корреспонденцию с Кавказа, а вы знаете, что на Кавказе нашлись силы, враждебные императору. Не сомневаюсь, что любой мятеж будет подавлен, мятежники сурово наказаны, но мы не можем терпеть мятежные призывы ваших корреспондентов.

— Я готов представить вам всю корреспонденцию с Кавказа. В ней не было ни одного, как вы выразились, «мятежного призыва». — Гасан-бек старается быть спокойным, хотя это ему удается с трудом. — Кроме того, как вы знаете, газета приостановила свою деятельность и тем самым выполнила распоряжение губернатора.

— Да, газета закрыта, но вы находитесь в Баку и можете получать подстрекательскую корреспонденцию.

— Не получаю я никакой корреспонденции. — Гасан-беку было все труднее сдерживаться.

— Благоволите выслушать. Господин губернатор прямо сказал, что ваше присутствие в Баку нежелательно.

— Но здесь мой дом, и я преподаю в гимназии.

— Вам предложено на выбор переехать на такую же преподавательскую работу в Грузию или в Кубу, где, как известно, вы уже работали.

— Я подумаю.

— Думайте. Только знайте, что у вас не так уж много времени.

В тот же вечер Гасан-бек сидел в кабинете директора реальной гимназии Константина Константиновича Чермака и не мог сдержать гнева.

— Почему со мной разговаривают как с преступником? Турецкая война — я виноват. Волнения на Кавказе — я виноват. Даже если хлеб не уродился и мы переживаем голодный год — тоже я виноват. Почему господин Старосельский понимал меня, а остальные не понимают? Ладно чиновники, с ними все понятно, но куда деваться от наших «умников», которые так и норовят нож в спину мне всадить?

— Я от вас не скрывал, что на меня оказывают давление. Я, как могу, отбиваюсь, говорю, что вы прекрасный педагог, что сразу найти вам замену невозможно. Но, как вы понимаете, рано или поздно придется смириться.

— Уважаемый Константин Константинович, давайте договоримся. С той минуты как вы мне скажете, что далее не можете меня защищать, я подам прошение об отставке. Менее всего мне хотелось бы, чтобы из-за меня у вас были бы неприятности.

Прошел месяц. Снова Гасан-бек сидел в кабинете директора реального училища.

— Хочу вас обрадовать, дорогой Гасан-бек, я сумел убедить наших твердолобых чиновников, что среди мусульман нашего края трудно найти человека ваших умственных способностей, вашего образования, энтузиазма, вашей нацеленности на свершение добрых дел на ниве просвещения. Мне даже удалось убедить их в вашей благонадежности и в том, что «Экинчи» никогда не подрывала государственных устоев. Вам поступили довольно лестные предложения для продолжения службы: вы можете отправиться инспектором, а при некоторых условиях и директором, либо в Екатеринодар, либо в Ставрополь Кавказский, либо в Кутаис.

— Если я вас правильно понял, в праве работать в Баку мне отказано?

— Совершенно верно. И вы должны с пониманием отнестись к этому требованию. Власть есть власть, и она не может проявлять слабость, отступать от уже принятых решений. Это станет дурным примером для других. Но большим нашим достижением является уже то, что предложенное вам продолжение службы означает признание вашей благонадежности. В любом случае решение остается за вами, но если вы проявите упорство, мне придется самому попроситься в отставку.

— Я, конечно, напишу прошение об отставке, не могу вас подводить. И, наверное, будь я на вашем месте, я принял бы одно из этих лестных предложений. Но, увы, я «туземец» и предпочитаю остаться туземцем. Знаете, я начал важное дело с представительством мусульман среди гласных Городской думы. Бросить его никак не могу. Если мне не разрешат оставаться в Баку, я скорее всего уеду к себе в Зардоб. Так или иначе, у меня останутся о вас самые лучшие воспоминания.

В тот же день Гасан-бек рассказал о разговоре с Чермаком Ганифе-ханум.

— Не знаю, что нас ждет впереди, но, право, тебе незачем отчаиваться, — сказала ему Ганифа-ханум. — Общество мы открыли, у тебя есть ученики, «Экинчи» всколыхнул многих мусульман по всему Кавказу. Да и Чермак ценит тебя и всячески поддерживает. Теперь придется принять решение, и ты его примешь.

— Да в том-то и дело, что я не знаю, какое решение принять.

— Могу тебе посоветовать, хотя знаю, что ты не согласишься. Тебе предла-

гают Ставрополь Кавказский, следовательно, можно похлопотать, чтобы тебе предложили Нальчик.

— Ты опять пытаешься затиснуть меня в эту дыру?

— Позволь напомнить тебе, что Нальчик в отличие от Зардоба — не дыра. И о Нальчике я думаю не из-за себя, и даже не из-за детей, а прежде всего из-за тебя. Я была бы счастлива, если бы к тебе здесь относились так же, как будут относиться там.

— Думаю, и Нальчик далеко не Европа, и большинство людей там такие же необразованные.

— Может быть, но там люди более простодушные. Понимаю, что разговор этот бессмыслен. В голове у тебя Зардоб. Что ж, Зардоб так Зардоб. Я приму любое твое решение.

— Прости, я всем приношу одни несчастья. Ты права, я думаю о Зардобе. Что бы там ни было, пусть глушь, пусть захолустье, но это моя родина, и там есть люди, которые меня ждут. Придется с этими гласными решать, я от них не отстану. Они еще не знают, как я могу вцепиться мертвой хваткой. — Гасан-бек уже переключился.

Ганифа-ханум села в кресло, на котором только что сидел Гасан-бек, и посмотрела на него с улыбкой.

Баку, зима 1878 года

То, что произошло в этот день, можно уподобить трагифарсу, который актеры разыграли в жанре пантомимы. Сначала на кухне Гасан-бека была почти идиллическая картина. Кухарка готовила еду, не забудем, что речь шла не только о семье Гасан-бека, но и об учащихся пансиона. Здесь же мирно сидели два жандарма, беседовавшие о своем житье-бытье, и другой люд — родственники, соседи, которые пришли, чтобы здесь, на кухне, скоротать время.

Так уж случилось, что проездом в завоеванный недавно Туркестан заехали два офицера, родственники Ганифы-ханум. Оба офицера были статные, с лихо закрученными усами, да еще и в соответствующей экипировке: в черкесках, при кинжалах и револьверах. Увидев их, жандармы изрядно испугались, они были много ниже их ростом, привыкли нести караул в мирной обстановке и от страха решили, что это два кавказских разбойника, которые присланы, чтобы отомстить всем недругам Гасан-бека и Ганифы-ханум. Не успели офицеры начать расспросы про Гасан-бека, как жандармы, а за ними и весь кухонный люд с криками бросились в комнату Ганифы-ханум; жандармы стали умолять ее пощадить их, они оправдывались, что такая у них служба. А сами офицеры, осознав комичность ситуации, стали играть роль благородных разбойников, грозить, что не дадут пощады никому, у кого рыльце в пуху.

Потом в комнате Гасан-бека они наперебой рассказывали, как испугались жандармы, и уверяли его, что теперь те будут как шелковые.

— Хорошо бы, — сказал Гасан-бек, — но я-то их знаю лучше. Они понимают, что молва быстро выйдет за пределы нашей кухни и с них шкуру сдерут. Так что предпочтут обо всем рассказать в полиции так, чтобы выставить меня смутьяном. Словом, дорогие родственники, мы всегда вам рады, разрешите пригласить вас к столу, а там и вам, и нам следует собираться. Вам в Туркестан, а нам в Зардоб.

Баку, февраль 1873 года

В помещении гимназии Гасан-бека окружили несколько его учеников. Среди них — Наджаф-бек Везиров и Аскер-бек Адигезалов.

— У Наджафа есть предложение. Он хочет стать актером. Пусть сам расскажет.

Наджаф-бек немножко помялся, потом встал перед Гасан-беком и торжественно проговорил:

— Вчера я смотрел «тамашу»[1] русских артистов... Они приехали из Петербурга. Играли водевили. Было очень смешно.

— Наджаф предлагает и нам поставить спектакль, — подхватили его товарищи. — И для этого придумать пьесу.

— Прекрасная мысль. Сказать по правде, она давно приходила мне в голову. Но зачем сочинять новую пьесу? Можно взять уже написанную.

— А разве есть такая пьеса?

— Конечно, есть. Наш уважаемый Мирза Фатали, который, как вы знаете, работает в Тифлисе, подарил мне свои комедии. Когда я их читал, я подумал о том, чтобы поставить их. Но, хотя я человек не трусливый, решительности мне не хватило. Мы же не профессионалы. И разрешения цензора у нас нет, и денег, и даже зрителей у нас нет.

— Мы все сможем! И зрители придут! И деньги найдем!

— Мне нравится ваша уверенность. Хорошо, я с удовольствием дам вам комедии Мирзы Фатали. Выберите ту, которая вам больше понравится, и попробуем сыграть. У русских есть такая пословица — «не боги горшки обжигают».

Через неделю гимназисты снова собрались в комнате Гасан-бека.

— Мы выбрали, только не одну, а две комедии. «Визирь Ленкоранского царства» и «Гаджи Кара».

— Давайте сыграем обе, — предложил Гасан-бек. — Сначала одну, потом другую. Думаю, сначала «Визиря». Пьеса веселая, не очень длинная, всем достанутся интересные роли.

— А нам разрешат?

— Я уже обратился к губернатору, а он написал письмо наместнику о том, что мы хотим сыграть благотворительный спектакль десятого марта, к нашему празднику Новруз байрам.

— А что означает «благотворительный»?

— Это означает, что люди, пришедшие на нашу тамашу, должны пожертвовать деньги на те или иные просветительские цели. Вот только где мы найдем зрителей-мусульман? Ваши родители и родственники придут на спектакль?

Гимназисты явно приуныли. Кто-то робко сказал, что его родители придут, другой — что его родители вместе никуда не ходят, третий — что он и не скажет ничего дома, а то могут не разрешить.

— Как видите, все не так просто, но отступать уже некуда, обращение к цензору написано, господин губернатор даже обещал присутствовать на премьере. А с родителями и родственниками придется провести работу. Постепенно все привыкнут. И к театру, и к школе, и к газете. Но есть еще одна проблема: женские роли придется играть мальчикам. Подумайте, кто из вас сможет сыграть женскую роль.

— Я знаю, — уверенно сказал Аскер-бек. — Наджаф может сыграть любую роль. Он целыми днями показывает нам смешные сценки, мы покатываемся со смеху. А женщины у него получаются особенно смешно.

---

[1] Спектакль (азерб.).

— Может, он и сейчас сможет что-нибудь показать?

Наджаф не заставил себя долго упрашивать, отошел в сторону, что-то с собой сделал, потом повернулся и стал изображать, как женщина кокетничает перед зеркалом, потом прячет лицо под чадрой. Потом показал, как меняется ее походка, на какое-то мгновение «она» приоткрывает покрывало, мгновенно окидывает всех оценивающим взглядом, потом так же стремительно закрывает лицо, демонстрируя стыдливость.

— Здорово, — похвалил Гасан-бек. — Смешно и поучительно.

— Он всех наших учителей может показать.

— И меня?

— И вас. Вас он показывает особенно смешно.

— Может, покажешь? — попросил Гасан-бек.

— Неудобно. Вы же наш главный учитель.

— Я тебя очень прошу.

— Хорошо, — сказал Наджаф-бек, — только чур не обижаться.

Он отошел вглубь и вдруг повернулся к ним в образе Гасан-бека. Прошелся его походкой, остановился и внимательно посмотрел на всех точно так, как смотрел обычно Гасан-бек. Гасан-бек, а за ним и все ученики расхохотались. Наджаф-бек и бровью не повел, а дождавшись тишины, сказал:

— Театр, газета и школа перевернут мировоззрение мусульман.

У Гасан-бека даже слезы на глазах выступили.

Еще через неделю начались репетиции. В столовой кто-то еще доедал свой обед, другие его торопили, отодвигали стулья, стелили на пол большой красочный ковер. Потом все аккуратно составили у стены обувь и начали баловаться на ковре. Гасан-бек попросил всех успокоиться.

— Во-первых, я хотел сообщить вам следующее приятное известие. Дмитрий Семенович Старосельский сообщил, что господин наместник дал разрешение на спектакль. — Раздалось дружное «уррраа!». — Так что давайте еще раз проверим, кто какую роль будет играть. Я очень надеюсь на Наджафа. Роль Зибы-ханум надо сыграть так, чтобы все смеялись. Особенно женщины.

— А женщины тоже придут смотреть наш спектакль?

— Конечно. В Европе мужчины всегда ходят в театр только с женами. Ходить одному считается даже как-то неприлично.

— А у нас наоборот, считается неприличным ходить с женой.

— Научатся и у нас. Благодаря нашему спектаклю.

— А Мирза Фатали сможет приехать на нашу премьеру?

— Очень на это надеюсь. Я ему написал, что мы собираемся играть его комедию, и он очень обрадовался.

— А кто-нибудь уже играл его комедии?

— На нашем родном языке никто. «Визиря» играли в Тифлисе на русском, вот и все.

— Значит, мы будем первые?! — возбужденно воскликнул Наджаф.

— Конечно. И это будет первый спектакль на всем мусульманском Востоке.

9 марта 1873 года «актеры-гимназисты» робко входили в зал Бакинского благородного собрания.

— Как страшно, — сказал кто-то из них. — У меня руки трясутся.

— То, что вы волнуетесь, нормально, — успокаивал их Гасан-бек. — Но завтра, как только начнется наша тамаша, волнение пройдет. Давайте лучше я покажу вам афишу. — Все обступили Гасан-бека. — Смотрите, здесь написано: «С дозволения начальства».

— А здесь даже сама комедия рассказывается, что происходит в первом действии, что во втором.

— Конечно, ведь могут прийти те, кто не знает нашего языка.

А еще через день, 10 марта 1873 года в том же зале Бакинского благородного собрания состоялась премьера. Было очень много нарядных людей, в том числе красивых дам. Горели свечи. Все как в настоящем театре. Были и представители мусульманской интеллигенции, они сидели особняком и держались очень чопорно, скрывая свою неуверенность. А в стороне от всех сидела нарядно одетая Ганифа-ханум Меликова-Абаева.

Потом поднялся занавес. Все играли задиристо и весело, искренне и простодушно. Когда Наджаф демонстрировал ужимки своей героини, зал покатывался со смеху. Особенно смеялись зрители-мусульмане, от их чопорности не осталось и следа.

Прошло 15 дней. Вся «труппа» вновь собралась в знакомой столовой.

— Поздравляю. В городе только и разговоров что о нас, в целом очень благожелательных. А теперь скажите, был на спектакле кто-нибудь из ваших родителей?

— Был мой отец, — сказал Аскер-бек Адигезалов.

— И это все? — Молчание было ответом. — Не отчаивайтесь. Любое дело начинается с одного человека. А теперь главная новость. — Гасан-бек выдержал паузу, чтобы заинтриговать учеников, потом продолжил: — Вот что написал нам наш дорогой Мирза Фатали, который не смог приехать на нашу тамашу: «Я стар и ждал близкой своей кончины, но это известие продлило мне жизнь».

— Урррааа, урррааа! — долго кричали ученики Гасан-бека и те, кто играл в спектакле, и те, кто не играл.

С первого спектакля по комедии Мирзы Фатали Ахундова «Визирь Ленкоранского царства», который был сыгран актерами-любителями 10 марта 1873 года, берет начало история азербайджанского театра. 17 апреля 1873 года та же труппа сыграла свой второй спектакль, тоже по комедии Мирзы Фатали Ахундова «Приключения скряги» («Гаджи Кара»). Зал собрания был полон.

Баку, ранняя осень 2007 года

Айдын и Дениз вошли в здание «Института рукописей», поднялись по лестнице и в библиотеке принялись рассматривать фотографии.

— Смотри, какая красивая фотография, — сказала Дениз. — На обороте написано: «Пери, 3 года, 4 месяца и 6 дней».

— Следовательно, — вычислил Айдын, — это было в 1876 году. А мне нравится вот эта. Это Гасан-бек, уже старый и, наверное, больной. Рядом с ним Алимардан-бек Топчибашев, муж той самой Пери. Он был министром иностранных дел в нашей демократической республике. Умер в эмиграции, в Париже. А рядом — знаменитый Исмаил-бек Гаспринский.

— Мне нравятся эти люди. Они какие-то настоящие. В них чувствуется порода.

— А вот смотри: «Свидетельство об успехах ученика 7-го класса Тифлисской губернской гимназии Меликова Гасан-бека».

— А он не был отличником, по закону божьему и вовсе «тройка». И по латыни. Смотри, здесь написано: «В продолжение 3-х месяцев пропустил 8 уроков». Наверное, болел или прогуливал? А это что за тетрадь, похожая на ученическую?

— Это воспоминания Ганифы-ханум.

— Какой аккуратный почерк. Она исписала целых две тетради. Представ-

ляю себе, как она сидит вечером одна — Гасан-бека уже нет в живых — и вспоминает свою жизнь. Наверное, грустно уже не жить, а только вспоминать.

— Главное, чтобы было что вспомнить. Ганифа-ханум сделала сознательный выбор и ни о чем не жалела.

— Этого никто не знает... — ответила Дениз после некоторого молчания.

Баку, осень 1878 года

Богатый дом одного из бакинских миллионеров. Гасан-бек сидит на стуле. Остальные — перед ним в креслах.

— Господа, дело, которое я собираюсь с вами обсудить, не терпит отлагательств. Вы видите, как стремительно меняется наш город. Постепенно мусульмане начинают играть активную роль в жизни общества. Но можем ли мы сказать, что это наш город, что мы решаем его судьбу? К сожалению, нет. Нефть приносит большие доходы, Баку привлекает многих зарубежных предпринимателей, они не только приезжают к нам, многие остаются здесь жить и стремятся благоустраивать наш город. Но как можно допустить, что мы отстранены от управления им?

— Как же изменить такое положение?

— Можно для начала обратиться к губернатору.

— Вот ты и обращайся. Ты молодой, времени у тебя много, делами ты не обременен. А нам не пристало обжаловать решение высокопоставленных кругов, мы не можем рисковать состоянием, которое заработали с высокого царского благословения.

— Могу ли я хотя бы сказать господину губернатору, что заручился вашей поддержкой?

— Нет, ничего подобного говорить не следует. Мы тебя не уполномочиваем говорить от нашего имени. Вот если вопрос будет решен положительно, то, возможно, мы поможем с кандидатурами. У каждого из нас есть толковые работники, мы можем их рекомендовать.

Гасан-бек привык к тому, что сразу сломить сопротивление мусульман не удавалось.

Чуть позже Гасан-бек сидел в кабинете губернатора Кулюбякина. Внешне он был спокоен, но было видно, как он напряжен внутренне.

— Вы человек образованный и должны понять: я не уполномочен менять состав гласных в Бакинской думе, — говорил губернатор. — Так что бессмысленно обсуждать этот вопрос. Вы же знаете, что управление города передано в руки самого города, который теперь сам должен решать большинство своих хозяйственных вопросов.

— Знаю и одобряю это решение. Но вам, наверное, известно, что мусульмане составляют семьдесят пять процентов населения Баку, а в думе гласные-мусульмане — только пятую часть. А если мусульманское население возмутится подобной несправедливостью и попытается силой разогнать думу?

— Что же вы предлагаете?

— Для начала, учитывая, что у мусульманского населения нет опыта работы в думе, — равное количество гласных: одна треть от русских, одна треть от армянского населения, одна треть от мусульманского населения.

— Вы думаете, что сумеете подобрать такое количество грамотных гласных?

— Убежден. Нефть изменила облик города. Уже сегодня у многих зажиточных людей есть толковые управляющие-мусульмане, которые знают русский

язык и разбираются в финансовых вопросах, не думаю, что им будет трудно выполнять обязанности гласных. Я подготовил письменное прошение, в котором изложил свои доводы. Надеюсь, вы с ним ознакомитесь и передадите в надлежащие инстанции.

В конце осени Гасан-бек снова посетил губернатора.

— Должен вам сказать, господин Меликов, что в прошлый раз вы были убедительны. Со многими вашими доводами пришлось согласиться. Я лично поехал в Тифлис и через наместника передал ваше прошение, со своей стороны поддержав его и признав целесообразным. Наместник, в свою очередь, выхлопотал указ министра. На вас ложится большая ответственность подобрать гласных-мусульман.

Баку, начало зимы 1889 года

Гасан-бек снова в доме миллионера, где годом раньше пытался убедить влиятельных сограждан в необходимости более широкого участия мусульман в работе думы.

— Не ожидали, что тебе удастся добиться своего, — признался хозяин дома. — Но мы дали слово чести — должны его выполнять.

— Дело не в этом. Речь идет о нашей национальной чести. В случае неудачи над нами будут смеяться, и нам придется жить с этим клеймом не один десяток лет. Мы как народ распишемся в своей неполноценности.

— Теперь вижу, что ты недаром учился в Московском университете. Агитатор ты хороший. Что ж, заварил кашу — сам и расхлебывай. Ты должен стать одним из наших новых гласных.

— Я не собираюсь увиливать. Просто мне в Баку работать не разрешено. Около моего дома постоянно дежурит жандарм. Мне это надоело, и я решил возвратиться в Зардоб.

— Жаль, ты здесь нам нужен. Ну, что ж, береги здоровье. А то ты постоянно лезешь в пекло.

Зардоб, осень 1895 года

Гасан-бек принимает Гаджи-Керима, одного из бакинских гласных, который приехал к нему в Зардоб за советом.

— Почему вы такие беспомощные? Когда вы научитесь защищать свои права?

— Гасан-бек, что я могу сделать? Сразу после вашего отъезда гласные из армян подняли вопрос о том, что указ министра нельзя считать законом, и восстановили старый порядок, опять гласных-мусульман всего 6 человек.

— А среди этих шести есть грамотные люди?

— Стыдно признаться, почти никого.

— Мне же обещали подобрать толковых, грамотных гласных и провести их в думу.

— У них нет времени. Они зарабатывают большие деньги и не хотят тратить время в думе.

— Они что, не понимают, что это может и их дел коснуться? Примут в думе невыгодное для них решение, а они и знать не будут. Так чего же вы от меня хотите?

— Вы должны поехать в Баку. Поговорите с Гаджи-Зейналабдином. Хотя

наши миллионеры и не очень ладят друг с другом, но его слушают. Он сейчас у нас главный авторитет среди мусульман.

Вместе с Гаджи-Керимом Гасан-бек спешным шагом вошел в зал заседаний городской думы, где шла оживленная дискуссия. Только в самом последнем ряду безучастно сидели пятеро гласных-мусульман, трое из них спали, поджав под себя ноги. Гасан-бек постоял, послушал, а потом резко развернулся и вышел из зала. За ним выбежал и Гаджи-Керим.

— Ну что делать с такими гласными? Может быть, вы поговорите с ними? — взмолился он.

Гасан-бек не мог сдержать гнев:

— Нет, с гласными я разговаривать не собираюсь, это бесполезно, а вот с нашими миллионерами поговорить придется.

На следующий день, в знакомом уже доме бакинского миллионера Гасан-бек вновь обсуждал вопрос о гласных. Только теперь это был не прежний дипломатичный разговор, все были откровенны.

— Давайте говорить начистоту, — резко сказал Гасан-бек. — Я выполнил свое обещание, а вы нет. Вы подвели не только меня, но и своих близких.

— О своих близких мы побеспокоимся сами, — решил наконец вмешаться Гаджи-Зейналабдин, — но Гасан-бек прав. Мы не сдержали слова. И он прав в том, что мы ведем себя как гости в своем собственном городе. Что нам следует сейчас сделать? — обратился он к Гасан-беку.

— Для начала мы должны обжаловать решение думы. Смогли же армяне обжаловать распоряжение самого министра.

— Вы с ума сошли! Вам легко говорить, у вас нет состояния. Возьмете с собой семью и отправитесь куда-нибудь в глушь учительствовать. А мы не можем так рисковать. Столько сил положено, чтобы у нас в городе появились состоятельные мусульмане!

— Хорошо, у меня нет состояния, и терять мне нечего. Я напишу письмо на имя министра о том, что его распоряжение не выполнено. Вам останется только подписать его. Чем больше подписей, тем меньше риска. Вы согласны?

— Правильно вас называют пиявкой. От вас трудно избавиться. Так вот, я лично никакого письма подписывать не буду.

Остальные одобрительно загалдели.

— Вы как хотите, а я подпишу, — вмешался Гаджи-Зейналабдин. — Будем трястись от страха — все у нас отберут. Рано или поздно придется заниматься политикой. Надеюсь, не я один подпишу письмо?

Вечером Гасан-бек с горечью жаловался Ганифе-ханум:

— Иногда мне кажется, что это никому не нужно. Зачем будить сонного человека и выталкивать его на мороз?

— Мороз может взбодрить.

— Наших — вряд ли. Однажды все это мне надоест, я плюну на все и разбогатею. Тогда они со мной разговаривать будут по-другому.

— Почему же ты до сих пор не разбогател? — улыбнулась Ганифа-ханум.

— Ты хочешь сказать, потому что я Дон-Кихот, а Дон-Кихот не может разбогатеть? — рассмеялся Гасан-бек, но тут же посерьезнев, добавил: — На что я надеялся? Что они вдруг поумнеют? Не только наивно, но и глупо.

— Тогда оставь их в покое.

— Нет, вот этого они от меня не дождутся! Я знаю, что сделаю: напишу от их имени письмо губернатору.

— Ты же знаешь, что они его не подпишут.

— Знаю, я подпишу его вымышленным именем. Давай придумаем.

— Что-нибудь священное...

— Точно, пусть он будет Пирали... например, Пирали Пирбудаг-оглы. Вот пусть этот Пирали от их имени и объяснит губернатору, что не было выполнено распоряжение министра, что это можно рассматривать как провокацию, что мусульмане всегда проявляли благонадежность к власти и тому подобное.

Через месяц губернатор — Кулюбякина к тому времени сменил на этом посту Роге — собрал у себя уважаемых людей города Баку, включая Гасан-бека.

— Министр признал, что прошение Пирали Пирбудаг-оглы написано с пониманием создавшейся ситуации, и просил меня разобраться в данном вопросе, — сказал он. — Я пригласил вас и городского голову господина Ирецкого, чтобы вы в его присутствии подтвердили, что согласны с изложенным в письме. — Неожиданно для Гасан-бека губернатор обратился к Гаджи-Зейналабдину: — Верно ли все здесь изложенное?

— Несомненно, все мы разделяем озабоченность, высказанную в письме.

— А вы знакомы с этим... Пирали Пирбудаг-оглы?

Вопрос не застал Гаджи-Зейналабдина врасплох.

— Знаком, господин губернатор. Он сейчас сильно болен и не смог лично участвовать в нашей встрече.

Вмиг осмелев, присутствовавшие наперебой стали выражать свое согласие с письмом.

— Я хотел бы выслушать мнение господина Ирецкого, — сказал губернатор.

— Господа, я много лет живу в Баку, участвую в заседаниях думы и всегда считал, что невозможно обходить мусульманское население Баку в столь важном вопросе. Гласные должны выбираться пропорционально населению.

— Скажите конкретно, какое количество гласных-мусульман, по вашему мнению, должно быть представлено в думе?

— Ну, скажем, половина, остальные места можно оставить за христианами.

Наступило молчание. По-видимому, такого никто не ожидал.

— Господин Ирецкий прав, — первым решился прервать молчание Гасан-бек. — Но мусульманские гласные должны доказать, что способны активно работать. Предоставленные им места должны занять действительно достойные люди.

Состав думы, в котором половина гласных представляла мусульманское население, сохранялся до 1906 года, после чего вновь был обжалован, и министерство опять постановило, чтобы треть гласных в Думе представляла мусульман, треть — русских и треть — армян. Трудно сказать, было ли это вызвано тем, что Гасан-бек в то время был серьезно болен и не мог работать в полную силу, или другими причинами, связанными с политической борьбой за власть в городе, но такое решение было принято.

Зардоб, март 1892 года

Гасан-бек сажает деревья. Ему помогает старый садовник Муса-киши. Гасан-бек, как обычно, бодр и деятелен, а в этот день еще и спокоен, уравновешен. То ли наступающая весна придает ему сил, то ли просто нравится работа, то ли ему льстит, что он, пользуясь недавно приобретенной книгой, учит старого садовника сажать выписанные им семена растений, о которых здесь никто раньше не слышал. Впереди праздник Новруз, а через несколько месяцев — его пятидесятилетие, они соберутся всей семьей и на время забудут о своих проблемах и невзгодах. Неподалеку сажают цветы Ниса, Пери, Мидхат. Рядом бегает маленькая Гариб-Солтан.

— Напрасный труд, наши предки знали, какие растения можно здесь сажать, а какие нельзя. Место у нас засушливое, ничего не получится. Да и как можно сажать по книге?

— Муса-киши, ты хороший садовник и ты прав: на этой земле плодовые деревья сами по себе не растут, но если научиться агрономии, все получится.

— Не знаю... Есть геокчайские гранаты или кюрдамирские дыни, и чтобы их вырастить, книги читать не надо.

— Согласен, но есть такое место Крым, там живут крымские татары. Я был у них в гостях, и они мне рассказали, что земля у них кажется плодородной, но само по себе на ней ничего не растет. Надо знать агрономические правила. А эти правила можно найти в книгах.

— Книги существуют для господ, а простые люди и без книги знают, как жить, как относиться к аксакалам, как сажать деревья.

— Не буду спорить. Даст бог, поедем с тобой в Крым. И не только в Крым, поедем в Голландию. Ты тогда увидишь, что на самой непригодной земле можно достичь чуда.

— Что ты, Гасан-бек! Я и в Баку-то всего один раз был, еще мальчиком. А Европа для меня — как те далекие звезды.

— Ничего, Европа сама к тебе придет. Я вот выписал семена помидоров и картофеля. Ты о них что-нибудь слышал?

— Нет, а что это такое?

— Вот выращу — попробуешь. Еще благодарить будешь. А еще я выписал семена хлопка. Это очень ценная культура. Из-за нее в Америке гражданская война началась.

— Воюют из-за золота.

— А хлопок и называют белым золотом.

К Гасан-беку подбежал радостный Мидхат:

— Ата, ата, смотри, какой красивый жук.

За ним семенила взволнованная Ниса. Гасан-бек взял в руки жука и предложил Нисе потрогать его. Ниса в ужасе отшатнулась. Гасан-бек рассмеялся. Ниса, глядя на него, тоже начала смеяться. Смех у нее был громкий и заливистый. Гасан-беку нравились и ее смех, и ее молодость, и ее душевное здоровье.

— На твоей свадьбе, Ниса, я буду танцевать больше всех.

— Мужчины на женской свадьбе не танцуют. — Ниса понимала, что Гасан-беку просто нравится ее поддразнивать, и сама получала от этого удовольствие.

— Хорошо, мы сделаем по-другому. Вечером мы послушаем твои песни, а потом обязательно с тобой станцуем. И никому не скажем. Будем знать только ты, я, Ганифа-ханум, Пери, Мидхат и маленькая Солтан.

Гариб-Солтан не хотела отставать от старших, она подбежала к Гасан-беку, неся в руках свое «сокровище». Гасан-бек раскрыл ее ладонь и торжественно объявил:

— Лучшее насекомое нашла Гариб-Солтан. Это обыкновенный-необыкновенный муравей зардобский, зардобус-мардобус-муравьинос.

Они все встали в круг, протянули друг другу руки и внимательно смотрели, как муравей переползает с одной руки на другую.

Вечером местные музыканты, тарист и балабанчи, играли танцевальные мелодии. Танцевали все: и Гасан-бек, и Ганифа-ханум, и дети. Когда все устали и от песен, и от танцев, началось едва ли не самое интересное. Старый ашуг рассказывал отрывки из дастанов. Гасан-бек, выполняя просьбу маленькой Солтан, просил рассказать самые страшные из волшебных народных сказок. Маленькая Солтан сидела на ковре, прижавшись к Ганифе-ханум. А за окном, когда наступала всеобщая тишина, был слышен усыпляющий плеск Куры.

Зардоб, ранняя осень 2007 года

Айдын и Дениз смотрели сверху на излучину Куры.

— Как красиво, — сказала Дениз. — В других местах Кура не такая красивая.

— Да, мне тоже здесь нравится. Напоминает о вечности.

— А я представляю, что было здесь сто лет тому назад. Женщины полощут белье, мужчины ловят рыбу, мальчишки переплывают реку. А потом представляю, как во время наводнения все в страхе убегают.

— А кто-то, как рассказывает Зарадаби, пользуется наводнением, чтобы похитить девочку.

— Не напоминай мне об этом. Мне становится противно. И обидно, что ничего не изменилось.

— Кое-что изменилось, но, действительно, многое осталось все таким же.

— Признайся, почти ничего не изменилось. Все то же притворство. Ненавижу его. Вот скажи, что будет, если я сейчас разденусь и переплыву на тот берег?

— Ты можешь заболеть.

— Неправда, ты знаешь, что я не заболею и не утону. Не этого ты боишься. Ты думаешь: а что скажут зардобцы?

— Не заводись. Мы же не за этим сюда приехали.

— Мне эта излучина уже не кажется такой красивой. Пошли, может быть, уже открыли музей. А потом уедем в Баку. Не хочу здесь больше оставаться.

В доме-музее Зардаби Айдын и Дениз слушали, как работница музея рассказывает им о сохранившихся фотографиях.

— А дом, где жил Зардаби, сохранился?

— Нет, к сожалению, не сохранился.

— Хоть известно, где находится это место?

— Нет, к сожалению, это тоже неизвестно.

— А Ясная Поляна до сих пор существует.

— Лев Толстой был граф, — вмешался Айдын, — у него было имение. И его весь мир знал уже при жизни.

— Ты хочешь сказать, что Зардаби как не был известен, так и остался?

— Нет, я так не хочу сказать.

— Так я скажу. Не то что в мире, в самом Зардобе его не знают.

— В Зардобе знают.

— Если бы знали, то хоть дом сохранили бы.

Работница музея стояла чуть поодаль и внимательно слушала перепалку гостей из Баку. А может быть, она думала о том, кто же такой на самом деле этот Зардаби и почему она работает в его музее.

Зардоб, 20 мая 1889 года, день Байрама

В Куре сильно поднялась вода, затопило множество зардобских домов. Жители сел спасают свои пожитки, запрягают лошадей и быков, стараются вывести их из зоны затопления.

Житель села Гельма, что недалеко от Зардоба, Дамир Ахмед-оглу, брат его Юсуф и двоюродный брат Абдулла Халил-оглы, защищая свои посевы, копают канавы, чтобы вода пошла в обход полей.

Жена Дамира вместе с дочерью Мухлисой, которой недавно исполнилось пятнадцать лет, стали перетаскивать вещи на так называемый «тахтарабенд», «вышку», место для ночного сна, где прохладнее и относительно меньше кома-

ров. Но вода все прибывала, и жена Дамира пошла искать двор на возвышенности, куда можно перенести вещи и переждать там наводнение. Мухлиса осталась на вышке одна.

Вдруг она видит: подплывает к ней кулаз, лодка, за ним другой, третий. В кулазах сидят хорошо знакомые ей зардобцы: Балы Ибрагим-оглу, Гусейн Гюль-Мамед-оглу, Али Гусейн-оглу, Молла Юсуф-оглу, Ширин бек Али-бек-оглу. Их полное вооружение, горящие глаза приводят ее в ужас, она начинает громко кричать, но «молодцы» взобрались на вышку, связали ей ноги и руки, кинули в кулаз и быстро стали отплывать от дома Дамира.

Душераздирающие крики Мухлисы далеко разносились по округе. Дамир, Юсуф и Абдулла, узнав голос Мухлисы, бросились на кулазе домой и, узнав, что Мухлису похитили, пустились в погоню. Постепенно они начали настигать беглецов, и тогда Мухлиса, услышав голоса отца и братьев, неожиданно бросилась в воду. Похитители стали стрелять в безоружных преследователей из своих берданок, наповал убили Дамира и тяжело ранили Абдуллу.

Население обоих сел стояло на берегу и с интересом наблюдало за происходящим. Мертвого Дамира и раненого Абдуллу вытащили на берег. Почти сразу появились старшины зардобского и гельманского обществ. Началась торговля, долго препирались, и дело окончилось миром на следующих условиях: жена покойного Дамира и брат его Юсуф получили по 500 рублей, раненый Абдулла — 100 рублей. Каждому из старшин решили выдать по 30 рублей, чтобы они представили дело как озорство.

Что стало с Мухлисой — неизвестно.

Баку, осень 1902 года

Заседание Городской думы было бурным, как всегда, когда выступал Гасан-бек.

— Все вы знаете, что население Баку быстро растет и остро ощущается нехватка воды. Сколько можно возить воду в цистернах? А нет воды — нет гигиены, нет гигиены — будут болезни. О посадке деревьев и говорить нечего. В нашем климате без полива они не выживут.

— Что же, вода городу действительно нужна. У меня даже есть конкретное предложение: провести воду с Загульбинского родника. Вода там питьевая, да и источник близко к городу. Обойдется недорого, — гласный Амбарцум Меликов был уверен, что его предложение пройдет. Но Гасан-бек взорвался, а в таких случаях его трудно было удержать.

— О каком Загульбинском роднике вы говорите? Городу нужен водопровод не на один год, и даже не на десять лет. Источник воды должен быть постоянным и обильным. Вы хотите всех нас одурачить, будто мы не знаем, что этот так называемый родник находится на территории вашего имения.

— Что же, прикажете с гор тянуть воду?

— А почему бы и нет? Можно и с гор, главное — качество воды. И ее количество. Я считаю, остановиться следует на Куре. Конечно, возникнет вопрос очистки, но существует усовершенствованный опреснитель господина Ягна, с которым ведутся переговоры.

— А кто будет платить, вы об этом задумались?

— А кто будет платить, когда вода из вашего так называемого родника иссякнет и в городе начнется эпидемия?

Через месяц делегация думы на месте изучала «родник», из которого предлагал проводить воду Амбарцум Меликов. Слуга на подносе разносил воду в

хрустальных стаканах. Всем присутствующим вода нравилась. Гасан-бек отказался даже пробовать ее.

— Глупо пробовать воду на вкус, прежде всего ее следует отдать на анализ.

— Как вы любите все усложнять. Разве это будет последний водопровод в Баку? Вырастет население — проведем, как вы предлагаете, водопровод с гор, а трубы изготовим из золота или серебра. — Амбарцум Меликов засмеялся, ему понравилась собственная шутка, за ним засмеялись остальные.

Еще через месяц к Гасан-беку пришли двое поверенных Меликова.

— Уважаемый Гасан-бек, — вкрадчиво начал один из них, — ваш однофамилец господин Меликов выражает вам свое глубочайшее почтение. Вы, несомненно, являетесь духовным лидером мусульманского населения Баку, с вами все считаются, сам губернатор неоднократно выражал вам свое уважение. Поэтому господин Меликов искренне сожалеет о том, что между вами произошла ссора, и у него к вам предложение. Он знает, что вы неоднократно создавали различные благотворительные общества и испытывали затруднения со сбором денег. Так вот, он готов внести в фонд вашего общества сумму в несколько тысяч рублей.

— Вы понимаете, что говорите?! — взорвался Гасан-бек. — Как минимум вы меня оскорбляете, и я оставляю за собой право вернуть эти оскорбления г-ну Меликову.

Когда они ушли, Гасан-бек долго не мог успокоиться. Как всегда, Ганифа-ханум стояла, облокотившись о стол, а Гасан-бек гневно ходил по комнате.

— Этот прохвост предлагает мне взятку! А ведь он купит наших гласных и потратит на это намного меньше денег, чем предлагает мне.

— Пора тебе привыкнуть. Пройдет время — они поймут, что ты прав.

— Сколько должно пройти времени? Год, десять лет, сто?

— Откуда я знаю? Мне бы узнать, что будет завтра.

Еще через месяц Гасан-бек вновь был на заседании Городской думы. Выступал Амбарцум Меликов.

— Я рад, что вопрос о водопроводе не оставил гласных равнодушными. Мы провели серьезную работу по изучению источника воды в Загульбе, откуда предполагается провести городской водопровод, и я рад, что все гласные поддержали мое предложение.

— Кто вам дал право говорить от имени всех гласных?! — Гасан-бек, как обычно, и не пытается сдержать свое негодование. — Как вы смеете во имя собственных корыстных интересов ставить под угрозу здоровье всего населения? Я не могу взывать к вашей совести, поскольку ее у вас попросту нет. Вы прохвост и негодяй!

— Милостивый государь, кто вам позволил так со мной разговаривать? — Амбарцум Меликов разыгрывал роль благородного человека. — Не думайте, что я стерплю подобные обвинения. Я... я... — он не сразу нашелся что сказать и, вероятно, неожиданно для самого себя вдруг выпалил: — Я вызываю вас на дуэль!

— Дуэль? — изумился Гасан-бек. — Да вы просто дурак!

Зардоб, 12 января1885 года

Гасан-бек медленно разжег камин. Подошел к шкафу, взял бутылку вина, два бокала. Поставил на стол. По традиции, в этот день выпускники Московского университета собираются вместе, вспоминают смешные истории из студен-

ческой жизни, поют студенческие песни, а потом посылают поздравительную депешу своей «альма-матер».

— Тебе придется в очередной раз делиться воспоминаниями со мной.

— Что делать? От Зардоба до Москвы — как до Луны. А все мои истории ты уже знаешь наизусть. Давай выпьем по рюмочке, потом ты займешься своими делами, а я позволю себе расслабиться.

Гасан-бек сидел в кресле, подливал понемножку вина в бокал и оживлял в своем воображении студенческие воспоминания.

Вот профессор Ф., высокий, чуть сгорбленный седой старик, подходит к Гасан-беку и начинает рассказывать: «Гея родила сначала Сторуких — исполинов чудовищной силы. Вслед за ними родила Гея-Земля одноглазых циклопов...» Гасан-бек пробормотал: «Я знаю, у нас их называют тепегезами». «И, наконец, родила Гея счастливое племя титанов».

Фигура профессора Ф. постепенно превращается в фигуру господина Х. Это маленький человечек с длинной бородой и мефистофельской улыбкой. Он расшаркивается, хитро улыбается и продолжает рассказ профессора Ф.: «Все началось с этих титанов. Прометея наказали за то, что решил поиграть в героя. И поделом. Другой титан, Атлант, хотел всучить Гераклу свою ношу, небесный свод. Не получилось. Так вот, дорогой Гасан-бек, ничего и у вас не получится. У меня есть указ о наложении ареста на все ваше имущество».

Гасан-бек вздрогнул, замахал руками, видение исчезло, но навстречу ему двинулся другой образ — профессор Б. с целой кипой атласов, географических карт, чучел животных и птиц. «Теперь перейдем к географии. Откуда вы родом? — обратился он к Гасан-беку. — Из Зардоба? Но ни на одной известной мне карте никакого Зардоба нет».

Гасан-бек налил себе вина из изрядно опустевшей бутылки, откинулся в кресле, и тогда появилось последнее видение. Марина Соловьева не стала подходить к Гасан-беку, лишь издали сказала: «Я вышла замуж. У меня двое детей. Я тоже люблю отмечать двенадцатое января. Иногда приходят сокурсники. Жаль, что тебя нет с нами».

Когда Ганифа-ханум вошла в комнату, Гасан-бек спал в кресле, поджав под себя ноги. Она накрыла его пледом и тихо вышла.

Баку, ноябрь 1905 года

Обычно Гасан-бек сидел в кресле, а Ганифа-ханум приносила ему чай и стояла молча, слушая его. Этим вечером все было наоборот. Ганифа-ханум сидела, положив руки на колени, а Гасан-бек стремительно ходил по комнате.

— Это же безумие, безумие! Мы думали, что двадцатый век будет веком разума, просвещения, а что получилось? Люди обезумели и стали уничтожать друг друга только потому, что у них разные веры и они говорят на разных языках. Почему молчит интеллигенция? Мы обязаны вмешаться. Мы обязаны договориться и показать другим пример. Кто-то должен сделать первый шаг. Пусть это буду я. Я пойду на похороны Лалаева, пусть я буду единственным мусульманином на этих похоронах. Ты согласна со мной?

— Нет, я уже говорила тебе это.

— Но почему?!

— Во-первых, ты не знаешь, кто убил этого Лалаева и за что. Зная армян, могу предположить что угодно. Убили его по другим мотивам, а теперь хотят использовать, чтобы доказать, что все мусульмане — звери.

— Ты рассуждаешь как все националисты, которых полно с той и с другой

стороны. Что ты предлагаешь? Может, и мне взять в руки оружие и застрелить пару иноверцев?

— Нет, стрелять не следует. Ты немолод, ты болен. Просто посиди дома, пока не улягутся страсти.

— Вот этого-то я никогда не делал и не буду делать. Может, увидев меня, хоть один армянин образумится, а рядом со мной появится еще хоть один мусульманин. И так возникнет цепочка разумных людей.

Гасан-бек был единственным мусульманином, который шел за гробом убитого армянина Балабека Лалаева.

Баку, ноябрь 1906 года, Городская дума

В одном из помещений думы Ирецкий, Белявский, Смоленский и Агаев беседуют с Ганифой-ханум.

— Уважаемая Ганифа-ханум, поймите нас правильно. Все мы глубоко уважаем вашего супруга. И не только мы.

— Но возраст есть возраст. Да и здоровье его оставляет желать лучшего. Насколько мы знаем, после удара он и говорить толком не может. Плюс склероз. Болезнь, при которой трудно заниматься серьезным делом.

— Он никогда не отличался покладистым характером, но в последнее время стал совершенно нетерпимым. Ему мерещится, что кругом одни воры, он никому не доверяет.

— Вы знаете, скоро новые выборы в думу. И для него, и для всех нас будет лучше, если он не станет выдвигаться. Уговорите его не баллотироваться.

— Я не смогу его уговорить, — резко ответила Ганифа-ханум. И добавила: — И не хочу.

— Тогда мы не можем гарантировать, что он будет избран.

— Ваше право, — внешне спокойно проговорила Ганифа-ханум и, не попрощавшись, медленно пошла к выходу.

Выборы в Городскую думу состоялись через месяц. Гасан-бека забаллотировали. Но он уже не узнал, что не избран.

Баку, ноябрь 1907 года

Гасан-бек сидит в кресле, укутавшись в теплый плед. Рядом стоит Ганифа-ханум. Чуть поодаль — Гариб-Солтан. В дверях — Ниса.

— Тебе что-нибудь принести?

— Нет. — Говорить ему очень трудно, язык не слушается. — П-о-о-стой.

— У тебя есть дощечка и мел. Напиши, что хочешь сказать.

Гасан-бек медленно, поскольку пальцы тоже работают плохо, выводит на дощечке: «Почему не зовут в думу?»

— Напрасно беспокоишься. Позовут. О тебе забыть не могли.

Гасан-бек отвернулся, посмотрел куда-то вдаль, по-видимому, сразу забыв о своем вопросе, потом накорябал на дощечке: «Твоя школа».

— О моей школе не беспокойся. Все спрашивают о тебе и просят поскорей поставить тебя на ноги, чтобы ты мог к нам прийти.

Гасан-бек снова отвернулся, может быть, хотел скрыть нахлынувшие слезы. Потом опять взял дощечку и дрожащими пальцами нацарапал: «Мидхат скоро приедет?»

— Не волнуйся, я написала ему и просила приехать.

«Сына Нисы... в школу?»

— Да, все нормально, он будет учиться в моем классе.

Гасан-бек почти нечленораздельно что-то пробормотал, но Ганифа-ханум догадалась:

— Я поняла, ты хочешь в редакцию.

Гасан-бек кивнул в знак согласия и даже улыбнулся.

Они медленно шли сначала по Почтовой, потом по Базарной. Накрапывал дождь. Гасан-бек одной рукой опирался на костыль, другой на руку Ганифы-ханум. Когда они подошли к редакции газеты «Каспий», она осталась стоять внизу, а он, все так же прихрамывая, вошел внутрь.

Баку, 27 ноября 1907 года

Гасан-бек полулежит в кресле, укрытый тем же теплым пледом. Все так же рядом стоит Ганифа-ханум, все так же, чуть поодаль, Гариб-Солтан, а в дверях — Ниса.

Гасан-бек еще медленнее, чем раньше, выводит: «Почему не принесли газету?»

— Не беспокойся, обязательно принесут.

Следующая надпись на дощечке: «Забыли меня».

— Как могли тебя забыть? Все только о тебе и спрашивают.

Еще одна надпись, почти поверх предыдущей: «Хочу в Зардоб».

— Обязательно поедем. Вот придет весна, на Новруз все вместе поедем. И Нису возьмем. Позовем ашуга, а Ниса будет ему подпевать.

Гасан-бек вдруг улыбнулся, то ли тому, что весной поедет в Зардоб, то ли чему-то другому.

Баку, 29 ноября 1907 года, 9 часов утра

Моросит мелкий дождь. Дом перед зданием на Почтовой улице, где жил Гасан-бек. Близлежащие улицы и переулки заполнены толпами людей. Вместе со своими наставниками здесь выстроились ученики-мусульмане всех девяти русско-татарских школ, одним из главных инициаторов и основателей которых был Гасан-бек, мужской гимназии Александра III, реального и коммерческого училищ. Собрались также представители мусульманской интеллигенции, члены мусульманских обществ, представители газет.

Объявление в газете «Каспий» от 29 ноября 1907 года гласило: «Сегодня в 10 часов утра состоится вынос тела скончавшегося Гасан-бека Меликова. Редакции, конторы и типографии газет "Каспий" и "Таза Хаят" с утра до 12 часов будут закрыты, чтобы товарищи и все сослуживцы покойного имели возможность отдать последний долг своему старейшему товарищу».

К 10 часам утра к дому подошли городской голова Раевский со всем составом городской управы, гласные думы, представители грузинского и армянского духовенства и интеллигенции.

Тело усопшего выносит на руках мусульманская интеллигенция города. Катафалк убран парчовым покрывалом, с которого свешиваются траурные шали. Среди лент на гробе можно заметить красную ленту от наборщиков и рабочих типографии газеты «Каспий» с надписью «Тело умерло, мысль живет», а чуть выше — «Работнику-мыслителю. От рабочих типографии "Каспий"». Впереди гроба одни учащиеся мусульманской городской гимназии несут большой порт-

рет Гасан-бека, нарисованный ими самими, другие — первый номер газеты «Экинчи» в золоченой рамке, от мусульманского драматического общества — серебряную лиру. Среди толпы распространяют отпечатанную на особых листках биографию Гасан-бека.

Траурная церемония продолжается у мечети Касум-бека. После традиционной заупокойной молитвы, в которой участвовали бакинский губернский казий и все местное мусульманское духовенство, во дворе мечети состоялось гражданское прощание. Митинг вел гласный думы Исмаил-бек Сафаралиев.

Траурный ритуал внезапно нарушает незапланированный оратор:

— Господа, здесь справедливо говорят о выдающихся заслугах покойного Гасан-бека! Но ведь он старался ради нас, живых. Неужели мы отдадим ему должное и все останется по-старому? А ведь мы живем в чудовищных условиях; у нас даже нет уверенности, что мы отсюда разойдемся по домам в целости и невредимости!

Оратора пытаются остановить, но с места раздаются возгласы: «Пусть говорит! Гасан-бек не позволил бы прервать его!»

Другой оратор подхватывает:

— Сколько можно терпеть? Мы должны не на словах продолжить дело Гасан-бека.

Страсти так разбушевались, что, казалось, вот-вот начнется рукопашная. Пришлось вмешаться Исмаил-беку Сафаралиеву:

— Господа, прошу успокоиться. В ваших словах много правды, но перед лицом почившего подобает сохранять приличия. Отдадим должное одному из самых почтенных людей нашего города, незабвенному Гасан-беку. При всей своей страстности он был человеком законопослушным и всегда стоял на страже порядка.

После окончания митинга траурная процессия двинулась дальше, по мере ее движения число участников увеличивалось, над толпой реяли портреты Гасан-бека, окаймленные черными лентами. Газета «Тезе-Хаят» в № 184 от 1 декабря 1907 года писала: «Давно Баку не был свидетелем столь торжественных и пышных похоронных церемоний. Можно сказать, что пребывающее в траурном молчании мусульманское население на сей раз явило пример удивительного старания и благодарности, каких не видел ни один из почивших до сих пор в Баку известных людей. Это важный фактор, способствующий возникновению чувства признательности и благодарности у каждого, кто обеспокоен будущим мусульманской нации».

Далее процессия двинулась по Николаевской улице и остановилась перед зданием Городской думы, с балкона которой продолжались выступления на азербайджанском, русском и грузинском языках. Последним выступил сотрудник газеты «Каспий» Джиноридзе, который так завершил свою речь:

— ...сейчас, когда мы с глубокой болью в душе провожаем в последний путь Гасан-бека, когда наши нервы натянуты утратой такого человека, мы едва ли в состоянии досконально оценить по заслугам то, что сделал Гасан-бек. Между тем его деяния уже принесли плоды, которые зреют и крепнут, и потомство оценит его в полной мере.

Далее процессия двинулась по Садовой улице к бульвару. Здесь она остановилась в последний раз на пути к Биби-Эйбатскому кладбищу, где состоялось захоронение. На похоронах присутствовали иранский консул Али Мухаммед-хан, представители всех религиозных конфессий, врачи, юристы, чиновничество, купечество. Газета «Каспий» (№ 266 от 1 декабря 1907 года) написала: «Мы верим, что могила такого человека станет местом паломничества нашей интеллигенции...»

Баку, зима 1937 года

Несколько человек окружили мужчину средних лет в дорогой ондатровой шапке.

— Товарищ, товарищ, пожалуйста, укажите, где точно пройдет дорога. Возможно, наши могилы останутся в стороне и нам не придется беспокоить своих покойников?

— Я, кажется, ясно вам сказал: колышками указано, где пройдет дорога. От этих колышков вправо и влево отмерьте еще десять метров. Всю эту территорию следует освободить. Здесь пройдет дорога государственного значения. Расходитесь, мне необходимо поговорить с гражданкой Меликовой.

Гариб-Солтан молча ждала, что скажет «гражданин начальник».

— Начальство, — он показал пальцем наверх, — просило меня оказать вам содействие. У вас есть помощники?

— Только этот молодой человек.

— Это ж ребенок. Ему, пожалуй, и пятнадцати нет.

— Верно, ему пока нет пятнадцати. Он сирота, я его воспитываю. Никого другого я не могла взять с собой, родители подняли бы шум. А этот мальчик вызвался мне помочь добровольно. Вы обещали автомобиль.

— К сожалению, автомобиля не будет. Могу дать только лопату, и то одну на двоих. Когда похоронили вашего отца?

— В ноябре девятьсот седьмого года.

— Прекрасно, значит, практически остались только кости. Аккуратно сложите в ящик. Или в торбу. Торбу я вам предоставлю безвозмездно. Потом подойдете, я поставлю на ней соответствующую отметку. Где вы живете?

— В Ичери-Шехере.

— Прекрасно. Пешком дойдете до круга, оттуда ходят трамваи, на трамвае и доедете почти до Ичери-Шехера. Завтра, если будет машина, я подам ее к вашему дому. А если нет, снова на трамвае поедете на сохранившееся городское кладбище и похороните вашего папашу около вашей мамаши.

Гариб-Солтан медленно раскапывала могилу Гасан-бека. Могила была на склоне, шел дождь. Потом они позвали могильщика. Пришлось заплатить, как делали все остальные. Могильщик вызвал распорядителя, и тот краской вывел на ящике: «Зардаби». Потом Гариб-Солтан вместе со своим учеником на руках тащила ящик с прахом Гасан-бека.

Баку, сентябрь 1958 года

Писатель Аббас Намазов с двумя своими сподвижниками, педагогами Бакинского университета, в квартире Гариб-Солтан. Это уже старая женщина, ей 71 год. Жизнь ее не очень баловала, она раздражена и готова вспылить по любому поводу.

— Я знаю, у вас накопилось много обид. И для этого вы имеете все основания. Не все понимают, что сделал Гасан-бек для нашего народа. Но наступают другие времена. Мы будто просыпаемся после долгого сна.

— Рада, что вы пришли. Я обращалась к правительству с предложением увековечить память Гасан-бека: снять документальный фильм, издать «Экинчи», поставить памятник в Баку и в Зардобе, провести научную конференцию. Ничего не было сделано.

— Я в курсе ваших предложений и полностью их поддерживаю. Поддерживают их и в ЦК партии. Но есть еще один вопрос... — Аббас Намазов замолчал, будто пытаясь угадать, как Гариб-Солтан Меликова отнесется к его предложению. — Мы хотели бы перезахоронить прах Гасан-бека в Аллее почетного захоронения.

Старая Гариб-Солтан вдруг не выдержала. Она еще не забыла, как перетаскивала останки отца, как никому не было дела ни до нее, ни до ее отца, которого когда-то хоронил весь город, вспомнила, как жила все эти годы: братьев и сестры давно не было рядом, о них она ничего не знала, своей семьи так и не создала, часто сдавали нервы, хотелось кричать от бессилия. Она вспомнила все это и неожиданно для самой себя вдруг закричала:

— Хватит! Убирайтесь отсюда! Добивали живого, теперь не можете отстать от мертвого?

В тот же день Аббас Намазов вместе с молодым композитором Рауфом и рабочим искали на кладбище могилу Ганифы-ханум, в ногах которой был перезахоронен Гасан-бек. После долгих скитаний они, наконец, обнаружили могилу с невзрачным надгробием, на котором с трудом можно было прочесть: «Ганифа-ханум Меликова 1856—1928». Они стали копать в нижней части могилы, пока не коснулись ящика. На ящике еще можно было прочесть: «Зардаби».

Потом они стояли вокруг выкопанного ящика, и рабочий беззвучно читал мусульманскую молитву.

Баку, поздняя осень 2007 года

Порывистый северный ветер сбивал с ног. Айдын и Дениз некоторое время стояли перед памятником Зардаби, потом медленно побрели по узкой улочке Ичери-Шехера.

— Признайся, тебя зацепила вся эта история, — сказал Айдын.

— Зацепила, не зацепила, при чем здесь это? Произошло что-то другое. Не знаю, как сказать. — Дениз не из тех, кто легко соглашается.

— Ты начала осознавать свою общность с соотечественниками.

— Чушь. Во-первых, я чаще говорю на другом языке. А во-вторых, вот мимо нас прошли два молодых человека и старик. И что у меня с ними общего?

— Вас объединяет Зардаби.

— Ничего нас не объединяет. И плевать они хотели на Зардаби. Но однажды ты высказал поразившую меня мысль. Наверное, не ты придумал, но какая разница. Ты сказал: мужчина — это тот, кто идет навстречу страху. Он тоже боится, но все равно идет. И ты знаешь, о чем я тогда подумала? Я подумала: а ты так сможешь?

— Ну, и что ты решила?

— Ничего. Этого никто не знает. Ты в том числе. А Зардаби смог. И это уже известно.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ГАСАН-БЕКА ЗАРДАБИ

Послесловие

Так уж случилось, что в последнее десятилетие — чуть больше, чуть меньше — европейское Просвещение, азербайджанское Просвещение и азербайджанский просветитель Гасан-бек Зардаби определяли границы моего исторического «присутствия» (воспользуюсь удобным термином немецкого философа М. Хайдеггера). Конечно, в силу разности потенциалов, оно присутствовало по-разному.

Европейское Просвещение по-прежнему воспринимаю как безальтернативное для мировой цивилизации, хотя вынужден согласиться, его непомерные амбиции во многом оказались поколебленными.

Азербайджанское Просвещение продолжает прорываться к себе, чтобы

доказать необратимость европейского выбора Азербайджана. Но, как мне представляется, постоянно натыкается на традиционный уклад жизни и массовое образование, разрушающее суть Просвещения.

Азербайджанского просветителя Гасан-бека Зардаби все больше воспринимаю как титаническую и трагическую фигуру. Титаническую, поскольку взвалил на себя огромную, неподъемную ношу и долгие годы удерживал ее в одиночестве. Трагическую, поскольку посмел ополчиться на сложившиеся в веках исторические формы жизни азербайджанцев и фактически потерпел поражение.

Поверим мудрецам, прозревшим, что мы (люди, человеки) живем в историческом времени не только мыслью, но и чувствами (точнее, настроением, настроенностью). Поэтому приходится историю (историю в себе) не только осмысливать, но и настраивать. И прежде всего, учиться настраивать ее через тех людей, которых то ли время, если вообразить его в виде мифического чудовища, изрыгает из себя, то ли они, эти люди, создают свое время как новую реальность — «временят» сонные обстоятельства старой жизни, которая в лучшем случае «видит сны», оставаясь в неподвижности безвременья. Среди тех, кто «временил безвременье», для меня почти в самом начале списка стоит Гасан-бек Зардаби. Готов назвать его «преждевременным человеком», поскольку он на 10—15 лет опередил время, когда в Азербайджан стали проникать идеи Просвещения.

Не стал бы говорить о Просвещении в границах настоящих заметок, если бы не конкретные обстоятельства.

Недавно одна из моих публикаций в Интернете вызвала бурю откликов. Не буду касаться самой публикации и оскорбительных высказываний в мой адрес. Остановлюсь только на мнении одного из наших интеллектуалов, высказанном в корректной форме: «Рахман-муаллим до сих пор находится в плену иллюзий "проекта Просвещения", который был свернут на самом Западе уже в прошлом веке, с началом Первой мировой. Как можно верить этому утопическому проекту после психоаналитических и постструктуралистских исследований, доказавших, что "белый" цивилизованный человек — это замаскировавшийся людоед?» Любопытно было бы деконструировать все эти «свернут», «доказавших» на основе исследований «людоедов», но оставим это до следующего раза.

Признаюсь, действительно продолжаю находиться в плену иллюзий «проекта Просвещения». Не открою ничего нового, если признаюсь и в том, что осмысливаю (плюс настраиваю) идеи Просвещения в оппозиции двух статей с одним и тем же названием «Что такое Просвещение?». Одну написал Кант, вторую, через 200 лет, Фуко.

Статья Канта строга и ригористична (не забудем, XVIII век). Просвещение означает для него переход от несовершеннолетия к совершеннолетию, при котором человеку, народу хватает решимости и мужества пользоваться собственным умом, не прячась за авторитеты. При этом мысль должна быть публичной, чтобы не избегать цензуры высокой Критики. В противном случае человек, народ так и останется несовершеннолетним, находя тысячу оправданий своей нерешительности в неблагоприятных обстоятельствах трудного времени.

Современному обществу достается от Фуко (скептик, социалист, француз!) по полной программе. Сначала он исследует психиатрическую клинику как попытку «просвещенного» человека определить демаркацию между разумом и безумием, потом обнаруживает эту «демаркацию» практически во всех институтах современной цивилизации. Такая вот язвительная идея о рождении психиатрического учреждения из гуманитарных идей Просвещения.

Вспоминаю Фуко, когда наблюдаю, как родная дочь бьется над образованием моих внуков. Сочувствую и ей, и внукам: с самых детских лет экзамены, тесты, позже тендеры, конкурсы, а рядом — психиатрия как последний пункт

«отбраковывания». Вот когда ненавижу Просвещение, ненавижу Зардаби, и в бессилии развожу руками...

Казалось бы, скептик и социалист Фуко окончательно развенчал Просвещение. Но Фуко делает неожиданный вывод: «Историческая онтология нас самих должна начинаться с Просвещения». Именно Просвещение оставило нам в наследство вечное вопрошание, когда ответ не может исчерпать вопрос, если только вопрос не предполагает «книжный» (изначально готовый) ответ в фарисейском смысле этого слова. Просвещение оказалось не просто открытием абсолютной рефлексии (поэтому Хайдеггер вопрос «что делать?» заменяет вопросом «как начать думать?»), но и трагическим пониманием того, сколь многое не вмещается в эту «абсолютную рефлексию».

Просвещение стало не только дальнейшей провокацией «нетерпения свободы», но и осознанием бремени искать пределы этого «нетерпения», чтобы вновь их преодолевать. А когда человеку, народу не хватает на это решимости и мужества, он прячется за утопизм окончательных моделей. Когда же они не сбываются (а они по определению не могут сбыться), только и остается что уповать на эсхатологические видения или назвать утопическим сам «проект Просвещения».

Гасан-бек Зардаби был преждевременным человеком. Что означает «преждевременность», как можно оказаться «прежде времени» и в каком смысле «преждевременность» стала его судьбой?

Понятно, выпускник Московского университета понимал, что во второй половине XIX века уже невозможно жить традиционной жизнью, вне исторического времени, жить, по его выражению, в захолустье. Невозможно существовать без газеты на родном языке, информацию о мире не заменят местечковые новости, сплетни, пересуды. Невозможно жить без светской школы, хорошо бы не только для мальчиков, но и для девочек — не только для того, чтобы стать грамотными, но и для того, чтобы суметь вырваться из пут захолустья, стать вровень с историческим временем. Невозможно оставаться туземцем (привычное название азербайджанцев в газетах того времени, без капли уничижительности) в родном городе, в котором вот-вот разразится промышленный бум и куда вскоре ринутся самые предприимчивые люди со всего мира.

Понимал он и другое, о чем напишет позже в своей газете: «До тех пор, пока население Европы, так же как мы, не знало свободы, оно было еще более невежественным, чем мы. Однако сегодня население Европы совершило большой прогресс в вопросе свободы и во всех делах обогнало нас... Признаемся, все мы рабы, и причина тому — обычаи наших предков. Одним словом, поскольку не было на нашей почве свободы, мы отстали от народов Европы, и до тех пор, пока сохранится такое положение, мы не сможем достичь прогресса» (газета «Экинчи», 9 июня 1877 года).

Но понимал ли он, что означает призыв к свободе, что означает ополчиться на «обычаи предков», на традиционный уклад, за которым стояли столетия, если не тысячелетия привычной, удобной жизни? Понимал ли он, что традиционное — это родовое, общинное, в чем-то семейное, родное, идущее изнутри этой жизни, даже ее дикость и идиотизм не воспринимаются тут как дикость и идиотизм? А он, Зардаби — посол иной жизни, непонятной, чуждой, которая является к ним в обличье иного языка и иной религии, и им, туземцам, чтобы сохранить себя, свой образ жизни, покойнее оставаться туземцами в собственном городе.

Конечно, будет преувеличением сказать, что Зардаби воевал с ветряными мельницами. Большая История переживала один из самых глубоких своих переломов и рано или поздно должна была если не смести, то хотя бы встряхнуть «время захолустья». Но в том-то и дело, что Зардаби пришел на 10—15 лет раньше этого времени.

Сам он позже, после 15-летнего отсутствия в Баку, удивился свершившемуся сдвигу. Действительно, к концу XIX — началу XX века просветительской страстью в Азербайджане был охвачен весомый слой интеллигенции и зарождающейся национальной буржуазии. Но в 1860-х Зардаби практически в одиночестве пытался осуществить свои просветительские проекты. Он надеялся, что школа, газета и театр «перевернут мировоззрение мусульман» (как легко из XXI века упрекать его в наивности!). У него не было особых полномочий (учитель гимназии, позже редактор газеты и гласный Городской думы — вот и все «полномочия»), он не мог похвастать крепким физическим здоровьем, и остается загадкой, как он решился выступить один против всех. Возможно, все дело в донкихотстве. Какой Дон-Кихот соразмеряет свои возможности и свои намерения, реальный мир и свое воображение?

Но Зардаби не обычный Дон-Кихот, трудно назвать чистым донкихотством борьбу за газету, школу, театр во второй половине XIX века. Дело в другом: Зардаби оказался на линии водораздела между традиционным укладом жизни и новым, индустриальным миром с неведомыми ранее социальными отношениями, психологией, нравами, и главное — с неведомым ранее высвобождением самостояния человека. Эта разделительная линия прошла через него, через его нервы, мысли и чувства. Она ударила по нему больнее, чем нам может показаться, — сколько тайн скрывает его семейная жизнь, какая непосильная ноша легла на плечи его жены и детей, можно только догадываться. Что говорить о том времени, если до сих пор мы топчемся на этой демаркационной линии: шаг вперед, два шага назад.

В одной из своих статей Зардаби цитирует народную поговорку: «Если время не ладит с тобой, то поладь со своим временем». Но вся его жизнь как раз была опровержением этой поговорки. Его жена вспоминает: «Он писал, проповедовал на улице, на базаре, в домах, ездил по городу, призывая к учению, и всегда его голос был одинок, и сам он одинокий». Сам Зардаби позже признается: «Зову — не идут, показываю — не видят, объясняю — не понимают».

Могли ли его услышать? Могли ли понять?

Меньше всего хотелось бы навязывать некий идеологический императив, подобный тому, что Фуко назвал «шантажом Просвещения». Как раз этот «шантаж», то ли от имени Просвещения, то ли от имени императивной Истории, затребовал в современном Азербайджане принципиально иную персону, с другим жестом, с другим восприятием исторического времени и себя в нем. Гасанбек Зардаби — принципиально иной случай, его «преждевременность» исключает любую императивность, его судьба — неизменное вопрошание и почти отчаяние: почему не видят, почему не слышат, почему не понимают?

Вновь многое разъясняет мудрый М. Хайдеггер: «Никакой народ и никакая коллективная судьба не могут освободить индивида от необходимости принимать самостоятельные решения относительно всего того, что касается его "собственной способности быть". Лучшее, что может сделать присутствие, столкнувшись с феноменом коллективной судьбы, — это стать прозорливым для случайностей разомкнувшейся ситуации». И далее: «Судьба не возникает впервые лишь через столкновение обстоятельств и происшествий, нерешительный тоже, и еще больше чем тот, кто сделал выбор, швыряем или/и все равно не способен "владеть" никакой судьбой».

Такое ощущение, что все это сказано именно о судьбе Зардаби: и прозорливость к разомкнутым случайностям, и столкновение обстоятельств и происшествий, в тисках которых он каждый раз оказывается, и агрессия коллективной судьбы, и швыряние — наверное, плата за решительность «преждевременного человека». За стремление управлять собственной судьбой.

Зардаби полностью вписан в оптимистический XIX век, когда многое казалось достижимым. Плюс либеральные идеи, которые начинают проникать в

Россию во второй половине XIX века. Плюс промышленный бум в Баку, связанный с нефтью, который коренным образом изменил облик «богом забытой земли» (Зардаби). И хотя Баку во многом оказался космополитичным и русскоязычным городом, на волне промышленного бума начались поиски национальной идентичности и национально-культурного возрождения.

Во всех этих смыслах Гасан-бек Зардаби в полной мере принадлежит XIX веку, хотя умер уже в следующем. Все это можно назвать историческим контекстом судьбы Зардаби.

На мой взгляд, следует предельно раздвинуть границы исторического присутствия Зардаби. Тогда можно будет спросить, что он за человек, как возникло у него намерение подчинить Жизнь Книге, причем с такой решительностью и непримиримостью, что готов был пожертвовать интересами собственной семьи? Какая внутренняя сила заставила его ополчиться против «захолустья», попытаться взорвать изнутри захолустное существование? Что вообще остается от человека, если вынести за скобки исторический смысл его деяний, если оставить его наедине с собственной судьбой в том смысле, в каком герои древнегреческих трагедий остаются наедине со своей судьбой как Роком?

Трагизм ситуации не в том, что Зардаби демонизирует «захолустье», и даже не в том, что у него слишком мало сил, а в том, что он действительно не в состоянии соразмерить свои возможности и масштаб своих притязаний. Прометей, который не был ни богом, ни титаном, но решил, что сумеет разбудить людей от их полусонного существования.

Прочитанное вами сочинение называется «документальной фантазией для кино». Это не просто жанровая вывеска. В каждом эпизоде есть документальный след, даже там, где Зардаби с бутылкой вина отмечает годовщину окончания Московского университета. В «фантазии», за исключением Дениз и Айдына, почти нет вымышленных персонажей. Это было принципом: как можно меньше беллетристики, как можно больше судьбы, которая продолжает «просачиваться через нас».

Широко использованы «Письма из захолустья» самого Зардаби, в которых нет вымысла — все «записано с натуры». И сегодня в Азербайджане «Письма из захолустья» многих раздражают. Мои оппоненты уверены, что это прежде всего — просветительская сатира, что-то вроде пасквиля, а я воспринимаю их как реалистические очерки жизни. Возможно, именно под влиянием Зардаби (и поэтики Маркеса) свое главное эссе про Азербайджан, одна главка которого посвящена Зардаби, я назвал «Время, остановившееся в углу, там, где скапливается пыль». И если я готов сегодня отказаться от, возможно, присущего мне «шантажа Просвещения», то только не в сторону образа «привлекательного» Азербайджана, а в иную, туда, где «привлекательность» и «обличительность» друг друга взаимно уничтожают.

Вопрос не в том, кто из нас прав, я или мои оппоненты, и не в том, что время нас рассудит. Вопрос в подлинном «расколдовывании захолустья», что невозможно без публичного вопрошания, без институтов, гарантирующих эту публичность, и хотя бы небольшой толики озорства, даже бурлескности в этом вопрошании.

В этом, на мой взгляд, и есть смысл судьбы Гасан-бека Зардаби, разомкнутой в XXI век.

Баку, март 2013

Александр Люсый

Попытка вынырнуть

Сбортовывания на Волге, не впадающей в Каспийское море

Должно быть, при взгляде вперед,
заметно над Тверью, над Волгой:
другой вырастает народ
на службе у бедности долгой.
Скорей равнодушный к себе,
чем быстрый и ловкий в работе,
питающий в частной судьбе
безжалостность к общей свободе.

Иосиф Бродский. Открытка с тостом

Расхожая фраза как символ ставшего банальностью общеизвестного факта легко перекатывает через зону ментальной неопределенности, как поток речной через мель или яму. Напомним, что фраза стала крылатой благодаря рассказу Чехова «Учитель словесности», главный герой которого, учитель истории и географии Ипполит Ипполитыч «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно», даже перед смертью, будучи уже в бреду, поучая: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»[1] А зона ментальной неопределенности (провинциальный «Бермудский треугольник») в месте слияния рек Волги и Камы. Тут, пожалуй, необходим некоторый *речеведческий* экскурс.

Особый речной фактор в истории и культуре человечества был концептуализирован известным швейцарским географом и социологом русского происхождения Львом Мечниковым (1838—1888) в книге «Цивилизация и великие исторические реки» как определяющий. Новое экологическое сознание XXI века, после крушения разнообразных систем «символических обменов», диктует необходимость возвращения к реальностям физической географии и обновлению их семиотического статуса, поэтому вспомнить об этом авторе при постановке вопроса о *Волжском тексте* русской культуры представляется весьма уместным.

«Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу — самую большую реку в Европе, царицу рек...» — отталкивается М.Ю. Тимофеев от высказывания Александра Дюма-отца при обращении к высокому статусу именно этой реки в семиотическом пространстве России[2]. При этом уточняется, что по длине русла (3530 км) Волга — лишь пятая в России после Оби с Иртышом (5410 км), Амура с Аргунью (4440 км), Лены (4400 км) и Енисея с Большим Енисеем (4092 км). Если же взять во внимание мощность водостока Волги (3750 куб.м/сек), неизбежно возникает «проблема Камы», водосток которой объемней (3800 куб.м/сек), что позволяет сделать вывод о впадении Волги в Каму, а не наоборот, и о впадении именно Камы, а не Волги, в Каспийское море. Конечно, даже если согласиться с подобными утверждениями, Нижний Новгород и Казань как важнейшие символические центры самых позитивных достижений русской государственности, экономики и культуры *все равно* стоят выше двусмысленной встречи двух рек, безусловно, находясь на берегах именно Волги как таковой. Именным же статусом расположенного ниже знаменитого

Волжского утеса Степана Разина, производными от него местами рождения Чернышевского (Саратов) и Ленина (Симбирск/Ульяновск), как и их негласного символического оппонента — гончаровского Ильи Ильича Обломова, можно и «пожертвовать». Иначе приходится признать наличие *самозваннического* компонента в традиционно высоком семиотическом статусе Волги. Этот компонент в той или иной степени присутствовал в ходе крупнейших народных восстаний на Волге — Разина и Пугачева, хотя и не привел к воцарению самозванцев, как в предшествующую эпоху Смутного времени, когда, наоборот, с берегов *бесспорной* Волги пришло возрождение государства.

Английский историк А. Тойнби трактует начавшуюся в бассейне Волги геополитическую деятельность России по своему территориальному расширению на восток в рамках понятий *вызова* и *ответа*. В XIII веке был брошен сильный и продолжительный вызов монголо-татарского нашествия, ответом которому явилось становление нового образа жизни и новой социальной организации. Это позволило впервые в истории цивилизаций оседлому обществу не просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников, но и начать ответное движение[3]. Как уточняет историк А.А. Гордеев особенности этого движения, «русский крестьянин и дровосек, издавна знакомый с традицией скандинавского мореплавания, был мастером речной навигации. Следовательно, казаки, когда они выходили из русских лесов, чтобы оспорить у кочевников право на естественное обладание степью, имели все возможности с успехом применить свое древнее наследственное искусство. Научившись у кочевников верховой езде, они не позабыли своих исконных навыков и именно с помощью ладьи, а не коня проложили путь в Евразию». Результат впечатляет: «в 1586 году казаки пересекли водораздел между бассейнами рек Волги и Оки; к 1638 году освоение бассейнов сибирских рек привело их на побережья Тихого океана в районе Охотского моря»[4].

Однако, отвечая на внешний вызов, Россия в то же время бросала и сущностный вызов самой себе. Волга изначально, практически в момент ее цивилизационного пересечения, образовала роковой водоворот русской истории и культуры. «Гением места» (нижне)волжского хронотопа стал не волжский разбойник Ермак, нашедший свое геополитическое государственное применение восточнее, а Степан Разин, по многочисленным легендам, обозревавший пространство с высоты кургана, а также, по преданию, сделавший его хранителем своего клада. «Локальный аспект преданий, — считает Михаил Одесский, — объясним с примитивно-исторической точки зрения: атаман и впрямь действовал в этих местах. Однако Костомаров проницательно констатировал, что “все эти бугры — экземпляры одного идеального бугра, существующего в народном воображении”. Иными словами, личность Разина имела значение внешнего оформления более древней фольклорной (мифологической) структуры: достаточно указать на распространение у славян Центральной Европы легенды о великанах, которыми могут оказаться различные враждебные этносы (обры, гунны, татары, турки, шведы), населявшие землю раньше обыкновенных людей, отличавшиеся фантастической физической силой и сгинувшие по разным причинам — именно с ними народная память связывает насыпание курганов»[5].

Таким образом, в «разинской» традиции атаман голытьбы оборачивается мифическим персонажем, обладателем тайного знания и «запретных слов», реализующим архетип «великого грешника», «ведуна», приносящего жертву морской стихии, что отразилось в творчестве русских писателей от Пушкина до Андрея Белого («Не до сроку восхищенный, — хищником делался: Волга же делалась Дамой Прекрасной; и он отдавал ей земную царевну: то — жест показательный»[6]).

Согласно Мечникову, подобно тому как большие реки впадают в море, речные цивилизации должны рано или поздно погибнуть, будучи поглощенными более широким потоком, либо развиться в более обширные морские цивилизации. Приводится конкретный пример: «Город Александрия не замедлил возникнуть у устья Нила, как только почва для его возникновения оказалась достаточно подготовленной и соседние нации стали иметь возможность заняться мирной, упорядоченной работой. Од-

нако уже истощенный народ бывает иногда не в состоянии победоносно пройти эту новую стадию развития; он может уже не обладать достаточным запасом энергии и жизненности, и центр цивилизации переходит в другую область. Так было и в данном случае: Александрии не суждено было сделаться центром морской египетской цивилизации; она не была даже чисто египетским городом; главными хозяевами Александрии были греки; энергии египтян хватило лишь на исполнение части мировой культурной задачи»[7]. Не сыграл ли в какой-то степени Петербург в устье склонной к вполне «нильским», но недостаточно дисциплинирующим ввиду неритмичной непредсказуемости разливам Невы для имперской России роль, аналогичную роли Александрии для эллинистического Египта? При том, что странным образом в русской культуре прижилась традиция отождествления с Нилом Волги, квинтэссенцией чего стало повествование Василия Розанова «Русский Нил».

Однако тексты, издавна бытовавшие на Волге, характеризуются прежде всего духом вольности и удальства, а не апологией размеренной трудовой деятельности. По всей вероятности, это самое *адисциплинарное* пространство России. В то же время уже с исторических песен XVI века, отражающих расширение границ пространственного мышления средневековья, Поволжье становится отправной точкой для последующего приращения Русского государства. В лице Ермака волжская вольница, пройдя через куда более дисциплинирующее уральское «заводское» пространство, находит в Сибири государственно-строительное применение. В известном смысле Волга сыграла в период общемировых морских географических открытий XVI века и связанных с ними территориальных приобретений многих европейских государств роль внутреннего моря с неизбежной «пиратской» составляющей, хотя данное море не отделило метрополию складывающейся империи от колониальной периферии, что осложнило становление национального государства.

Обозначение Волги как моря нередко встречается в поэзии, высшее выражение найдя в стихотворении Николая Языкова «Пловец» («Нелюдимо наше море»), написанном в Симбирске в 1829 году. Название стихотворения Ивана Аксакова «Астраханская моряна» (1844) концептуально-поэтически обыгрывает этот специфический термин, означающий резкий, сильный ветер в устьях рек, а также нагоняемую туда приливом или ветром морскую воду. (Позже, обозначавший себя как речной мистик Михаил Осоргин писал: «Только большая река дает понимание о настоящей свободе и просторе, какого никогда не даст море, отрывающее от живой жизни и земли»[8]. Правда, Осоргин имел в виду Каму.)

Как и в случае с *Петербургским текстом*, Пушкин, используя «наработки» предшественников, четко и компактно выразил формулу *Волжского текста* в ее верхнем, собственно волжском, нижегородском «течении». Для Онегина Нижний Новгород — прежде всего «отчизна» гражданина Минина — и российского преломления законов Адама Смита в Макарьевской ярмарке.

Тоска, тоска! Он в Нижний хочет,
В отчизну Минина. Пред ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.

Этно-хозяйственный волжский котел кипит возможностями новых качеств и синтезов. В течение всего XIX века Волга продолжала оставаться в фольклоре символом широты души и свободы, нормативность же обернулась «остывающим» образом «реки рабства и тоски» (Н. Некрасов). В художественной прозе XIX века доминировали два полюса парадигмы *Волжского текста*: саморазрушительный бунт — и столь же исчерпывающая себя домашняя лень. Волжская «грешница» Катерина из «Грозы» А. Островского — женский (и волжский) русский аналог Гамлета и Фауста с Маргаритой в одном лице. «Герои русской драмы, — пишет В. Щукин в «Заметках о мифопоэтике “Грозы”», — вынуждены жить по иным законам, чем классические законы истории.

Им, как правило, чужд деспотизм времени, от которого страдают герои трагедий Шекспира или Расина, — они рождаются и умирают как заложники деспотизма пространства, или, иными словами, "магии места", в то время как надежда на исторический прогресс ничтожно мала, а самостоятельные — *героические* — действия людей невозможны, бесполезны или пагубны. Мир русской драмы (а также русской эпики и во многом лирики — но не романа) лишен *исторического*, динамически-созидательного начала: в его основе лежит *природный* принцип прозябания»[9]. Такой принцип существования станет характерен для хронотопа волжского города — на фоне волжского простора, выявляя волжский ментальный раскол-обрыв. Семантика названия *Калинов* прозрачна: калина (и рифмующаяся с нею малина) как образ неброской среднерусской красоты, запечатленной в народных песнях. Но на поверхности лежит и рифма с Малиновом у Герцена. Характерно, что этот город соотнесен не с Петербургом (который вообще не упоминается, словно в России никогда не было Петербурга), а с Москвой, так как в культурном отношении он принадлежит не Российской империи, а Великому княжеству Московскому. Он погружен не только в природу, но в однородное и воображаемое в качестве безграничного русское культурное пространство: от него, как от уездного города в «Ревизоре», «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».

Волжский хронотоп «Грозы» представляет две формы русского романтизма: ангелическую и бытовую. «На более высоком уровне эти формы представлены двумя типами русской святости рубежа XV—XVI вв.: преподобными Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. В. Океанский и Ж. Океанская отмечают геоцентричность, геомантичность, геоморфность Марфы Кабановой: "(*Жестом показывает в землю*). В ноги, в ноги! Кабанов кланяется в ноги... В ноги кланяйся! Катерина кланяется в ноги". О погибшей Катерине она отзывается: "О ней плакать грех". Плакать способен только поруганный людьми-птицами муж Катерины. Генетически принадлежащий к царству человеко-змей, персонологически представленного весьма обширно: Тихон с его "вечно бабьим в русской душе" (если воспользоваться бердяевской характеристикой Розанова), Дикой, и носители темного клубления варварской греховной воли под видом "удали молодецкой" Варвара и Кудряш, а также безгласая Глаша, и Феклуша с ее патологической фантазийностью, не поднимающейся над онтологическим планом земного. Можно добавить и сумасшедшую барыню с ее апокалиптикой обыденности, болезненной эсхатологией повседневности»[10].

Налицо два метафизических миропонимания, выходящих за пределы социального и психологического конфликтов главных героинь. Структура художественной персонологии драмы свидетельствует о том, что все остальные персонажи группируются уже внутри этого дуалистического мира. Перед нами фундаментальная дуализация, порожденная несходимостью змеи и птицы. Фаустовские персонажи со своей мироустроительной разумностью, боязливой рациональностью, иронической рассудительностью (Кулигин, Борис, Шапкин) — скользящие, не укорененные в пестром хаосе русской сюрреальной жизни. Они не способны оказать сопротивление витальному потоку вышеперечисленных деталей бытовой повседневности, что сближает их с «Фаустиной» Катериной. Каждый из них, по-своему сочувствуя, тянется к ней. Все они метафизические родственники, однако их дом — на небе, а здесь они как в тюрьме или в гостях. Так в *волжском тексте* русской литературы утверждается тип «Фаустины»[11] со славянской душой, готовой вступить в союз со стихиями и даже с самим дьяволом для достижения своей цели, пробный камень мужского характера, своеобразное зеркало, в котором проявлялись негативные качества мужчин. Дремлющим, «по-ложительным» во всех возможных смыслах (горизонтальным), вопреки «отрицательному», по определению Вячеслава Иванова, русским Фаустом предстает Обломов — этакий *горизонтальный* Фауст, Фауст простора. «Вертикаль задействована в чувстве простора лишь косвенно, поскольку взгляд привязан к линии горизонта как к единственной определенной, а потому акцентированной для него линии, вдоль которой он (волей-неволей) перемещается. Горизонталь присутствует в

нашем восприятии всегда, так что добавление каких–либо фигур (объемов, плоскостей, линий) как чего-то на земле стоящего (особенно на переднем или на среднем плане) означало бы уже усложнение структуры пространства по сравнению с простотой простора»[12].

Действие романа Ивана Гончарова «Обломов» происходит в хронотопе безвременности, что освобождает его от власти времени и перемещает в вечность: в век мира, невинности и вечной юности. Реальное время не имеет власти над героями, снимая тем самым антиномию конечности (*финитизм*) и бесконечности (*инфинитизм*). Сон Обломова является *локусом* памяти Рая. В мифопоэтическом толковании Обломовка (в «Обрыве» — «опять» Малиновка) — райский сад, органическая форма совместного существования Бога и человека, равновесие природы и культуры.

Роман «Обрыв» состоит из двух отличающихся друг от друга частей — «петербургской» и «волжской». Первая заполнена растянутыми описаниями, вторая динамична и событийна. «Введение в структуру книги знаменитой русской реки придает динамику частям романа, рисующим жизнь хозяев и обитателей Малиновки. Образ Волги-реки весьма активно вплетается в судьбы, в повседневную жизнь практически всех персонажей романа. Река Волга — это та часть его композиции, которая позволяет автору передавать весь образ жизни персонажей. События в “Обрыве” выходят благодаря реке Волге за рамки родного гнезда, за узкий круг родственных и дружеских связей. Именно в соприкосновении с Волгой с особой ясностью обнаруживаются ведущие черты характера Веры, Райского, Тушина, Викентьева и др. Гончаров описал удивительные картины волжских просторов, какими они предстают с высокого правого берега»[13]. Образ Волги, присутствуя во всех эпизодах романа, проникает во все клеточки произведения. Переезды Веры за Волгу-реку, в Заволжье, оказываются важной событийной стороной произведения, раскрывая сокровенные черты характера героини, оказывают влияние на переживания и Райского, и Тушина. Волжские пейзажи в «Обрыве» проясняют образ художника Бориса Райского, исподволь приоткрывая его мятущуюся натуру, тягу к прекрасному, желание написать роман на основе волжских впечатлений, или посвятить Волге-реке законченную картину. Райский подобен Обломову, но это «уже проснувшийся Обломов». Сам писатель в статье «Лучше поздно, чем никогда» утверждает: «Он, если не спит по-обломовски, то едва лишь *проснулся* — и пока знает, что делать, *но не делает”*)»[14]. Недееспособность обусловлена историческими причинами.

Волга создает особую повествовательную и коммуникационную парадигму, в которую включены разные имена, и органично их соединяет.

«Мир Волги, — по-своему концептуализировал *Волжский текст* несколько ранее Горького, но как бы подводя предварительные итоги самодвижения *Волжского текста*, Василий Розанов, предлагая свою трактовку как обоснование административного обособления этого мира («Русского Нила»), — как это идет! Свой особый, замкнутый, отдельный самостоятельный мир. Как давно следовало бы не разделять на губернии этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить в одно». Он предпринял путешествие по Волге, чтобы «пережить опять на родине этот трогательный сюжет многих великих русских поэтов»[15]. Особую волжскую одаренность Розанов увидел в разных формах местного бытия, в первую очередь — «волжского труда», производящего «волжский хлеб — в смысле источников труда», который «питателен, свеж и — есть воистину дар Божий». В «Русском Ниле» не только по-новому переосмысляется роль «великой священной реки» в жизни русского человека, но и показано разнообразие ее ландшафтов, географических образов, текстов.

Розанов попытался определить некоторые «субстратные элементы», относящиеся к природной, материально-культурной, исторической сферам Нижнего Новгорода и Симбирска. Нижний Новгород ассоциируется у Розанова с понятиями перемен, молодости, внешней красоты. Наряду с Казанью — «огромное средоточие волжской жизни». Символом обновления становится фуникулер, почему-то называемый

здесь «элеватором». Нижний, как и все Верхневолжье, по Розанову — часть Великороссии, «славянщины».

Образ Волги вновь возникает у Розанова в статье с символичным, при всей неоправданности такого символизма, названием «Революционная Обломовка». Предполагая, что в «Обломовке» благодаря ее лучшим «обломовским» качествам «революция наша идет не только не неизменнее, но она идет гораздо чище и лучше, нежели шла целых шестьдесят лет теория революции», он вспоминает, с каким отчаянием ходил по нагорному берегу Волги в Нижнем «под огненным действием» статьи Лассаля «Железный закон». Затем к Лассалю (и прочитанным раньше Чернышевскому и Прудону с его лозунгом «всякая собственность есть, собственно говоря, кража») присоединилось действие романа Шпильгагена «Один в поле не воин» с его героической и гибнущей личностью Лео Гутмана. После этого «все рабочие, все трудовое человечество представлялось затиснутым в тиски заработной платы, спроса и предложения и системы косвенных налогов, — так что... не оставлялось никакой надежды на улучшение и облегчение путем нормального хода истории, и можно было чего-нибудь ждать просто от разлома истории, от бунта, от революции и насилия», подразумевавших отмену евангельских заповедей. Сравнительная бескровность начавшейся революции, через три месяца после ее начала (по сравнению с Французской — Розанов припоминает «наяды», т.е. революционные баржи, на которых топили «невинно обвиненных», не предполагая, что вскоре они станут и волжской реальностью) позволяет сделать вывод, «что эти расчеты на бумаге у политико-экономистов если и верны, то верны лишь алгебраически, а не в “именованных числах” пудов, фунтов, месяцев, мер веса и времени. И они верны “вообще в мире”, но неверны “в нашей Нижегородской губернии”, и еще обобщение: что они верны у Лассаля и Шпильгагена, но не имеют никакого применения ко мне, обывателю»[16]. Как критик «революционной Обломовки» сам Розанов оказался вполне Обломовым. Ведь волжская практика с быстро преобразованными для революционных нужд баржами вскоре оказалась куда ужасней постулируемой волжской «теории».

Образ Волги и волжского города во многом определил содержание и направленность творчества Бориса Пильняка. В его рассказе «Нижегородский откос» на фоне революции описана история грозящей кровосмешением любви сына к матери. Образы *города* и *дома* не противопоставлены, как у Михаила Булгакова в «Белой гвардии», а объединяются. Дом Клестовых — неотъемлемая часть города, место концентрации его темных сил. «В комнате были густые сумерки, за окном была густая синь». Окно — граница, у которой стоит мать, являясь «пограничной» фигурой, соединяющей в себе и страшную ледяную темноту города, и не менее страшную темноту дома, являющегося продолжением города, но все же, в противовес ему, жаркого: «В комнате была тишина натопленных печей и покойного дома» (в начале). В конце: «Дом на Ошарской выл трубою и стрехами в метельной ночи. Дом к ночи натопили накрепко. Дом был во мраке. По крышам, по стенам, над крышами, за стенами бегали, плакали, кричали тысячи ветров».

Появление «Нижегородского откоса» (1927) совпало в СССР с дискуссией о фрейдизме, который находил поддержку у Троцкого. Пильняк был увлечен фрейдизмом, получившим у него оригинальное художественное и историософское преломление. «Дмитрий Клестов только отчасти движим Эдиповым комплексом, “половым инстинктом”, но прежде всего он оказался беззащитным перед красотой, аристократизмом Наталии Дмитриевны, у которой была “кровь не красная, но голубая”».

В оценке персонажей и автора-повествователя, в отличие от античной трагедии, у Пильняка инцест оправдан, не осознается как катастрофа, наоборот, подается как удел утонченных, избранных натур[17]. Так, классическая метафора А. Блока («О Русь моя, жена моя») получает буквальную материализацию в пильняковском рассказе. «27 февраля в тот год, в те три метельных дня, пала Российская Империя: огромнейшая человеческая радость бывает другим огромнейшим ужасом, — мартом тогда в России возникла революция, ужас одним, счастье, громадное счастье другим, Рос-

сия пошла в ужас и в счастье, в святое и мерзости. Блок, любимый поэт Дмитрия, написал тогда поэму “Двенадцать”, поэты и писатели тогда, вслед за Блоком, поклонились метели»[18].

Так выражена чистота, оправданность стихийного начала в противовес рассудочности. Проблема, по Пильняку, в том, чтобы «неосознанное» внутри себя обратить в «неосознанное» вовне, вызвать к действию глубинные силы психики и научиться жить за счет энергии, за счет ее распада. В этом смысл одновременности инцеста и Февральской революции в его новелле. В этом смысл революции как исторической терапии, которую Пильняк предписывает русской душе.

Характеристика расположенной в устье Волги Астрахани в поэме Велимира Хлебникова «Хаджи-тархан» (1913) перекликается с отмеченным выше пушкинским образом: «И город спит, и мир заснул, // Устав разгулом и торговлей». Ряд исследователей отметили стержневую в этом произведении проблему противоборства «севера» и «юга», двух идеологических полюсов русской истории: «...Там — официальный лед государственности, здесь — пламенная, многоплеменная вольница Прикаспия»[19]. По мнению Икуо Камеямо, «в основе этой поэмы лежит конфликт между двумя культурами: Астрахань и Петербург. Для Хлебникова Петербург (окно в Европу) остается объектом осуждения»[20].

Подобно тому, как Пушкин стал, по словам Герцена, ответом России на исторический вызов Петра I, истинно волжским ответом на разинско-ленинский вызов стало творчество Хлебникова.

И в звездной охоте
Я звездный скакун,
Я — Разин напротив,
Я — Разин навыворот[21].

Идеологический мотив «разинского» «взятия» Москвы «в пугачевском тулупчике» противоположен геопоэтическому направлению за пределы Москвы: «Не зубами — скрипеть / ночью долгою — / Буду плыть, буду петь // Доном-Волгою».

Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течет рекой,
Единою проходит Волгой.

Хлебников и теоретически и практически увлечен революцией, но он видит и запечатлевает «самоедскую» составляющую революции:

Волга! Волга!
Ты ли глаза-трупы
Возводишь на меня?
Ты ли стреляешь глазами
Сёл охотников за детьми,
Исчезающими вечером?
Ты ли возвела мёртвые белки
Сёл самоедов, обречённых уснуть,
В ресницах метелей,
Мёртвые бельма своих городов,
Затерянные в снегу?
Ты ли шамкаешь лязгом
Заколоченных деревень?
Жителей нет — ушли,
Речи ведя о свободе.
Мёртвые очи слепца
Ты подымаешь?
.....

Граждане города голода.
Граждане голода города.
Москва, остров сытых веков
В волнах голода, в море голода,
Помощи парус взвивай.
Дружнее, удары гребцов![22]

Поэзия Хлебникова — попытка извлечения квадратного корня из разинской минус-единицы («нет-единицы» в словаре поэта), что напоминает критическую философическую «алгебру» Розанова, для адекватного восприятия которой в тогдашней России не нашлось достаточно читателей.

В советское время роль Волги изменяется, но не тускнеет, становится мощным пропагандистским фактором, участвуя в создании новых мифов. Теперь она играет особую роль как идеологически окрашенная мифологема. В рамках этого явления хорошо просматривается восприятие старых мифов, отношение к мифам советским, воскрешение полузабытых, вытеснение на периферию общественного сознания мифов прошлого.

Пространство Волги было включено в архетипическую сюжетную схему эпопеи Алексея Толстого «Хождение по мукам»[23]. В изобразительных рядах романов Константина Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето» Волга играет примерно ту же роль, что и в «Обрыве» Гончарова, но этот «Обрыв» (во втором случае) включает телеграммы Ленина и лукавую усмешку Сталина. Волга занимает место в пространстве новых ментальных схем, превращаясь в элемент карты Гражданской войны, на которой Саратов выглядел рукоятью меча, опущенного клинком вдоль Волги, на юг, «одним лезвием обращенного к западу, против деникинских армий, другим — на восток, против казаков».

В ходе этой войны Волга опять приобретает облик моря. «Город принял оттенок морского — с военным портом, черноморскими и балтийскими матросами, с особым флотским режимом, еще недавно совсем незнакомым мирному волжскому судоходству. Тихие буксиры, привыкшие испокон века добродушно тянуть караваны баржей, да и сами баржи, с развешанным на рулевом бревне разноцветным бельем водолеев, наспех превращались в огнедышащие плавучие крепости. Буксиры становились канонерскими лодками, баржи — вспомогательными судами для десантов, для переброски пехоты при форсировании рек»[24].

Затем пришло время отправить и саму реку «другим путем». В романе Леонида Леонова «Соть» Волга предстает как враждебная стихия, пока еще не укрощенная человеком, но очевидно, что покорение ее — вопрос времени. Человек в борьбе с природой, девственным лесом должен оказаться победителем, «безумные эти пространства» должны быть преодолены. Река изображается в «Соти» в ее чисто «производственной» функции, как своеобразный цех строительства бумажного комбината.

Волга в «производственном» «романе-симулякр» «позднего» Бориса Пильняка «Волга впадает в Каспийское море» представляет собой образное воплощение противоречивого движения жизни как закономерности бытия. О Разине оба писателя не вспоминают, более важным для обоих оказывается явление Петра I на Волге. Как и в предыдущих произведениях Пильняка, образ и деятельность Петра в «Волге...» оценивается негативно. Эта оценка проецируется и на советских продолжателей дела Петрова — новых покорителей природной стихии. В романе Леонова мотив Петра появляется в мысленном споре Увадьева с инженером Фаворовым: молодой инженер распространялся о Петре, который почти так же, кнутом и бесчисленным количеством свай, осушал пространное российское болото, но, выясняется, «Петр был кустарь, он не имел марксистского подхода». То есть речь идет только о масштабах, о преодолении «кустарного подхода» в новую историческую эпоху при общем оправдании преобразовательного подхода. У Увадьева есть внутренняя «новопетровская», закаленная Волгой основа: «...Нет в нем мясного состава, он... из красного чугуна»[25].

В романе Пильняка производственный фон оказался некой бутафорией, что

видно и на языковом уровне. Фыркающий паровозик здесь становится участником разговоров героев, снижая их пафос и придавая тексту иронический, игровой характер (отличительная черта «Волги...»). В «Соти» мотив реки и речного течения носит не игровой, а «созидательный» характер, сливается с мотивом переделки человеческого материала в процессе строительства. Здесь важен мотив разрыва с мелкобуржуазной семьей, а также преодоление «вредительства». «Кулацкая Соть» пытается использовать недовольство рабочих. В «Соти» средоточием косности становится скит, в «Волге...» — коммуна охламона Ожогова. «И монахи, бывшие мужики, и нынешние деревенские едины в ощущении наступления на них некой железной «лютой машины», что растопчет и пожрет всю «несуесловную прелесть» места[26]. В конце романа Пильняка делается вывод: «Эта Россия пересоздавала — машиною — ради труда — чел отношения друг к другу, к труду, к природе, — и она ломала старую Россию так же, как было сломано течение Москвы-реки, как заново текла Ока». И операция по удалению из русской истории всего христианского периода, по мысли автора, прошла успешно, швы сошлись. На повестке дня — бросок Волги на среднеазиатские пустыни, что проблематизирует, казалось бы, тавтологическое название романа.

Романы Леонова и Пильняка — последние «волжские» романы русской классики, далее наступило потусторонее «завольчье».

Советская политическая элита рассматривала Волгу как ресурс дешевой гидроэнергетики. Увы, в позднесоветской литературе не нашлось волжского Валентина Распутина — я имею в виду художественную пронзительность «Прощания с Матёрой», при том, что вопрос о впадении/невпадении Волги в Каспийское море в итоге оказался снят тем обстоятельством, что, в отличие от Ангары, если перефразировать известную фрейдистскую метафору, «Волги не существует». В результате строительства Волжского каскада ГЭС и «морей» река превратилась из природного объекта в искусственную природно-техногенную систему[27]. Резкое замедление скорости течения реки с ее раздельными историей, географией и литературой произошло. Если в естественных условиях полный водообмен от истока до створа Горьковского гидроузла происходил за 6 дней, то в настоящее время он занимает 280 (замедление в 46,7 раз). Раньше вода от Рыбинска до Волгограда протекала за 50 суток, теперь за 450–500 (т.е. в пределах полутора лет). Отсюда катастрофическое снижение самоочищаемости. Популярную благодаря Людмиле Зыкиной песню теперь стоит, вероятно, петь так: «Цветет река Волга», причем — очень и очень «долго». Популяции водных и пойменных биоценозов не адаптированы к принципиально новой водной ритмике. Увеличение содержания углекислоты в воде, повышение сероводородного заражения могут превратить волжские «моря» во внутреннее Черное море.

Удмуртский поэт Александр Корамыслов (удивительно «волжская» фамилия!) так выражает проблематичность Волги, придавая современное гражданское звучание традициям Хлебникова и Пильняка:

Здесь не ристалище — здесь нерестилище.
Вход во влагалище водохранилища
Полуприкрыт... Но непересыхающи
Батюшка-Кама и мама-Ока ещё.

Рвущей и мечущей, брызжущей, каплющей
Неиссякающи рыбищей капища.
Мечется, сталь ища, силища в илище...
Но — не ристалище здесь — нерестилище.

К первоистокам волжской мифологии возвращает образец авангардистской прозы — повесть Саши Соколова «Между собакой и волком». Здесь нет волжских пароходов, к дебаркадерам (мотив Пильняка) «причаливают» поезда, доминирующий символ прозы Соколова и единственный указатель на современность. Хотя река — основное место для полуязыческих обрядов и мелких комических подвигов охотни-

ков, подмеченных и описанных в тонах, переходящих в эпос, будь то трагические состязания конькобежцев на льду или схватка Ильи с предполагаемым волком. Волге автор возвращает «исконное» название, и это превращение касается не только названия. «Итиль — мифическая река, никогда ранее не описанная другими и столь же древняя, как и Русь каликов, Даниила Заточника, Николая Угодника, которые все в гротескной форме упоминаются в тексте»[28].

В центре нового мифа — загадочная фигура волка, заключавшая в себе богатейший фольклорный субстрат. Эта фигура накладывается на образ реки, называемой также «Волчьей рекой», а место действия именуется «Заволчьем». Когда точильщиков и егерей спрашивают о конкретном местонахождении и размерах этого призрачного Заволчья/Заволжья, те с уверенностью отвечают: «Полагаем Заволчьем также места, которые за Волчьей лентой, с которого бы берега не соблюдать»[29]. Бездонная и зыбкая тайна распространения и преодолимости Волги становится одним из основных ключей для прочтения книги. По ту сторону реки живут мертвые, которые частенько возвращаются в Городище по своим делам или, по крайней мере, регулярно пользуются услугами безупречно функционирующей почты. Сумерки являются почти статическим временным фактором, имманентным текучей стилистике самой книги. «Однако сумерки — это отнюдь не томный катализатор меланхолической созерцательности, как по возвращении с охоты подсказывает нам *alter ego* Якова. Это место исчезновений, неопределенности, место невероятных преобразований и метаморфоз. Это поистине душа книги и ее персонажей. И это также ключ к ее загадкам и глубоким скрытым смыслам: достаточно сказать, что это ключ к ее названию, основывающемуся на редком идиоматизме (использованном также Пушкиным в *Онегине),* который представляет собой кальку с французского entre chien et loup. Однако данное название является также ребусом, поскольку лишь очень немногие носители русского языка знают, что выражение «между собакой и волком» относится именно к сумеркам, к тому моменту, когда пастух не в состоянии более отличить свою собаку от нападающего волка»[30]. Пара Саши Соколова *собака—волк* стала первым звеном бесконечной цепи совпадений, в которые вовлечены различные раздвоенные персонажи, жизнь и смерть, проза и поэзия, а также связанные с прошлым два берега Волги.

Волжскую целостность пытался художественно реанимировать А.И. Солженицын (в «Красном колесе» и рассказах). «Это для посторонних Волга так длинна, так неохватна, и Царицын с Тверью как не видать никогда, и Ока с Камою как не обнимались, а для волгарей все в единстве. Когда на великой реке встречаются капитаны и пароходы, то узнают друг друга как односельчане на деревенской улице. И как те останавливаются потолковать о сельских новостях, так и эти — весело трубят друг другу, сигналят знаками, кричат в рупоры, а то и сбортовываются... и переходят в гости, как циркачи»[31]. Волгу писатель уподобил озеру Светлояру, а колокольня затопленного Калязина становится таким же символом непобежденного духа, как ушедший под воду «изневольный Китеж»: «...нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить...» («Колокольня», 1996—1997).

Аналогичен в своей лирической «сниженности» волжский пейзаж Дениса Осокина («Овсянки»): «этот бодрый — набитый соборами город — с волжским бульваром и шныряющими по нему такси — под гул стареющих папаш-теплоходов — идущих как будто с завода в рюмочную или из рюмочной на завод — имеет для нас очень грустный и нежный смысл, ну как Париж — для европейцев обращенных к западу, по сути это наша поэтическая столица».

В разные стороны идут волжские суда Александра Проханова («Теплоход “Иосиф Бродский”») и Виктора Ерофеева («Пять рек жизни», глава «Исторический оргазм на Волге в Сталинграде»), хотя оба обильно насыщают водную артерию отходами своей жизнедеятельности. Если для Проханова Волга — средство обычного эсхатологического передвижения (лишь часть пути теплоход движется по каналу имени Москвы, в который, однако, успевает справить малую нужду персонаж Словозайцев, и по Волге

вверх к Питеру, транспортируя всю лжеэлиту современной России на свадьбу узнаваемой Луизы Кипчак), то Ерофеев до определенного эротического момента откладывал поездку «вниз по Волге, как обязательную, если не принудительную, командировку в поисках пошлости»: «Ботинки, полные блевотины — это и была моя Волга, с красными выцветшими флагами, серпами и молотами, мертвыми магазинами, пахнущими дешевым коричневым мылом. И то, что в Угличе три века назад убили царевича Димитрия, было, после этих ботинок, для меня вовсе не удивительно». Откладывая, но и тщательно продумывая структуру этого путешествия, которое было разбито — в геопоэтическую параллель с названиями глав поэмы однофамильца «Москва — Петушки» — по названиям известных волжских городов. Главными же ориентирами отталкивания постмодернистским веслом оказываются стоящие вдоль берегов «призраки бородатых русских писателей с изжогой сострадания к народному горю, причина которого — русский самосодомизм — зарыта где-то поблизости в грязный песок».

Схожие, хотя, казалось бы, разнонаправленные идеологический и эротический потоки следуют общим руслом в «Книге воды» Эдуарда Лимонова. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А Волга колыхала большим широким телом водяной рыхлой тетки и билась о земляное илистое свое ложе. Волга билась по всей России. Тетка Волга лежала в тетке России, тетка на тетке. Горели еловые дрова. Рыцарски выпендривались перед дамой Лизой юные бандиты. Шли баржи в будущее и прошлое. На самом деле — на месте. Шлепал дождь пузырями по бурой воде. На одном берегу Волги расположено Савёлово, на другом — Кимры. Орды кимряков и орды савеловцев по рассказам Тараса сражались с незапамятных времен. И меж ними катилась Волга. На том берегу остались несколько обугленных бревен и окурки дамы Лизы, она ходила отлить в заросли елок, но дождь быстро смыл ее кошачью мочу».

Если классики бесхитростно созерцали реку, пребывая в ошибочной уверенности насчет места ее впадения, если советские писатели всерьез озаботились изменением направления ее течения, то для современных писателей главное, получается, траектория собственной (хотя и посредством соответствующих органов своих, напоминающих дырявые резиновые изделия, героев) струи... Такой, получается, водораздел между имперским вызовом и автохтонным ответом. Куда с..., мастера культуры?

Любопытно, что первый роман «лимоновца» (и волжанина) Захара Прилепина «Патологии» (в нем будни чеченской войны, где солдат не герой, а жертва, перемежаются любовными воспоминаниями) начинается со сцены созерцания Волги: «Сидя на набережной, мы едим мороженое и смотрим на воду. Она течет.

— Когда она утечет? — спрашивает мальчик.

“Когда она утечет, мы умрем”, — думаю я и, еще не боясь напугать его, произношу свою мысль вслух. Он принимает мои слова за ответ.

— А это скоро? – видимо, его интересует, насколько быстро утечет вода.

— Да нет, не очень скоро, — отвечаю я, так и не определив для себя, о чем я говорю, – о смерти или о движении реки». Потом городская маршрутка упадет в реку и герою придется выбираться уже из-под *воды*, если так можно назвать разверзшуюся волжскую субстанцию.

«Последние мгновения я двигался в полной тьме, и вокруг меня не было жидкости, но было — мясо, кровавое, теплое, сочащееся, такое уютное, сжимающее мою голову, ломающее мне кости черепа, деформирующее мою недоразвитую склизкую голову... Был слышен непрерывный крик роженицы». Все погибли, кроме самого героя и мальчика, уверенного в том, что он является сыном героя. Вот такая инициация.

В Волге хотят утопить губернатора возмущенные рабочие в следующем романе Прилепина «Санькя». Системой инициационных речных (не только волжских) ныряний и выныриваний стал сборник повестей «Восьмёрка». Не столько в поисках сына, сколько, как отметила Полина Рыжова[32], в поисках отца (по-«лимоновски» неполная, хотя и иначе, без гумбертизма, семья). «...Мы стоим посреди площади, как воронье на льдине. Рядом грязные кремлевские башни, переделанные в кабаки. Речка Волга

чуть ниже, и кажется, что до нее запросто дострельнуть сигаретным бычком. Если забраться на ближайший холм и, щурясь от солнца, присмотреться, можно разглядеть посередь земли щербатые разломы, куда, маршируя, осыпаются полки и знамена, цимбалы, кимвалы, и следом сползает почта, вокзал, телеграф — все, что когда-то захватили в первую очередь и теперь сдали за так» («Оглобля»).

Это при том, что РЖД (Российские железные дороги) опознаются все же в качестве главного текущего средства передвижения. Пацан (повесть «Витёк») накусал пассатижами найденную в сарае проволоку (не исключено, что колючую), затем, сверяясь по книжке, смастерил буквы, которых хватило на свое имя, потом — на имя коровы, а в итоге стал выкладывать на железнодорожной насыпи более понятное проносившимся мимо пассажирам слово «Москва». Поистине «русский текст», осыпающийся в волжские утопительно-цепкие, но и чреватые новыми мутационными порождениями глубины...

В целом волжская идеологическая/сексуальная озабоченность свойственна некоему собирательному приезжему и *проезжему Ерофею Ерофеевичу Розанбауму*, а собственно поэтикой (не столько гео-, сколько топо-) Волги более проникнута автохтонная волжская литература, привносящая течения национальных традиций волжских народностей. Если Прилепин начинает «Патологии» с отталкивания от волжской утробы, то финалом пропитанных марийской мифологией «Овсянок» Осокина стало «удачное» утопление героев — после того, как произошло, согласно не всеми тут забытыми народным традициям, сожжение тела умершей возлюбленной. Герой-автор скитается по дну Волги и притоков и, отыскав печатную машинку отца, планирует создать свой вариант *Волжского текста*:

«мой папа тоже мечтал утонуть. как-то даже продолбил лед пешней и спустил туда свою пишущую машинку — чтобы пользоваться ей потом. но так и не утонул — хоть и много раз окликал реку: купался в холод с болями в сердце — таскался выпивший на неокрепший лед. это нескромно — поэтому отец и умер непохожей смертью: нечаянно выпил суррогатный спирт. так жалко всем его было. нельзя утопиться. меряне не топятся. это нескромно. это по-русски чересчур. как мчаться
в рай обгоняя всех. от русских святых катерин в волге не протолкнуться. чопорные дуры. река сама отберет для себя людей. вода — суд наивысший.

утонешь — так утонешь. станешь жителем берегов и воды. не утонешь — так будешь сожжен или закопан — и навсегда исчезнешь».

В поэтике столь же чреватого обрыва «Обрыва», в ритме неотвратимого в своей избирательности осыпания подмываемого рекой берега, подступающего все ближе и ближе к дому былой, попытавшейся уйти на покой красавицы Лили написан роман самого «волжского», на мой взгляд, современного писателя Алексея Слаповского «Большая книга перемен». Книга, представляющая Россию в образе социально многопалубного судна (аналог созревшей для обрушения Вавилонской башни).

«Писал бы лучше о своих купцах, — советует собеседник одному из главных героев — Немчинову, журналисту, напоминающему Карандышева, восставшего и тем самым усложнившему подспудный сюжет «Бесприданницы» А. Островского / «Жестокого романса» Рязанова. — Там хоть что-то понятно. А русская жизнь последней трети двадцатого века — сплошной сумбур вместо музыки. Я сам до сих пор не понял, что это было».

Значения гексаграмм «Книги перемен», к которым привязаны главы романа, представляются поверхностными ориентирами в этом увлекательном *романе-переплыве* с брызгами литературной игры в театр и кино. Такое впечатление, что классики

тут не стоят истуканами по берегам, а бултыхаются, сброшенные, а скорее сами сбросившиеся с пароходов современности, рядом: «...Если Бог есть, то все позволено!.. Все позволено – потому что все может быть прощено!»

Кульминационный момент в целом неспешно развивающегося, но увлекательно переменчивого сюжета: избитый младшими братьями Костяковыми за разоблачительную статью Немчинов обманным путем проникает на свадьбу неформального хозяина города Павла Костякова-старшего и Даши, дочери Лили, еще более прекрасной, чем мать, но и более прагматичной, хватает коллекционную саблю, преподнесенную жениху его бывшим начальником и тестем Тимуром Саламовичем, и замахивается на обидчиков. Водитель и неформальный телохранитель (лицензия на право ношения оружия была подделана к инсценированному суду) стреляет в Немчинова, а попадает прямо в Дашино сердце. Есть, есть и сейчас экологически приемлемая пища для *Волжского текста*...

В романе Слаповского «Оно» Волги нет совсем, но есть — Пильняк! В основе произведения — история жизни гермафродита. Его трудная школа существования в «нормальном» советском, а потом антисоветском обществе, осложненная персональной «гамлетовской» проблемой половой самоидентификации — что становится своеобразной метафорой нашего времени.

В итоге герой перемещается в Москву и принимает решение окончательно переодеться в женщину. Автор предлагает на вкус читателя несколько вариантов завершения сюжета, включая материализацию ностальгии о советских временах, что превращает произведение в «повесть о человеке, для которого прошлое стало настоящим, а настоящее — ничем».

И вот — роман «Победительница», кульминация гендерного, поколенческого и лингвистического, утопического и антиутопического слияний в поствиртуальном мире. После мирового технологического расцвета, последующего рационального упрощения жизни и языка на китайской финансово-экономической основе и какого-то коллапса, сопровождавшегося всеобщим одичанием человечества, бывшая победительница конкурсов красоты, до «Мисс Вселенная» включительно, тайком пишет письма нерожденному сыну (в конце оборачивающемуся дочерью). «Город Саратов, где я родилась и жила, находился, насколько я помню (а проверить не могу из-за недоступности книг, отсутствия систем поиска и невозможности у кого-то спросить — остальные вообще все забыли), на южном побережье какого-то озера, образованного втекающей рекой. Он был весь покрыт зеленью деревьев, спускался к озеру, прибрежная зона вытянулась на несколько вогнутых внутрь километров, усыпанная золотистым песком и телами отдыхающих, приезжавших со всех концов страны и из-за границы. Вдоль пляжа выстроены были гостиницы, бунгало, увеселительные заведения. Туристический бизнес давал саратовскому бюджету животную (тут какое-то конкретное хищное животное из кошачьей, кажется, породы, забыла) долю доходов, промышленность была неразвита, зато из-за этого хорошей была экология».

Проза Слаповского в целом вызывает у меня истинно *утопическое* читательское ощущение — как будто бы сам Волгу переплыл, ну, и опять оттолкнулся от берега, чтоб обратно, другим, конечно, путем столь переменчивых течений. Так тренировался на моих глазах местный спортсмен черногорского Пераста (куда Петр I отправлял учиться юнг), ежедневно переплывая тоже меняющий течения Которский залив, воспетый Милорадом Павичем в «Ящике для письменных принадлежностей».

Сопоставимая не только саратовским происхождением с прозой Слаповского поэзия Светланы Кековой несет в себе неожиданную метафору *Волжского текста:*

Ангел крылья в синей листве купает,
мотылёк парит в ореоле света,
и такой — прислушайся — наступает
благодатный час на исходе лета,

что сосна — сестра твоему предплечью, —
на лицо воды уронив иголки,
видит, как *родник истекает речью,*
создавая плоть многошумной Волги (курсив мой. — *А.Л.*).

Кекова создает такое интертекстуальное пространство:

Все смешалось: Нил, Амазонка, Припять,
египтяне, турки, монголы, россы,
человеку хочется Бога видеть,
и поэтому я задаю вопросы...

Простор как эстетическое расположение удерживает чистое пространство не умозрительно, а чувственно и созерцательно. Его чистота — не результат дискурсивной возгонки-перегонки пространственного представления в чистое философское понятие, а непроизвольная (эстетически-событийная) очистка конечного, чувственного созерцания определенного пространства в эстетическое созерцание.

Алена Каримова в стихах достигает аналогичной степени инициационного волжского существования/несуществования.

...А когда говорил: успокойся и будь вода,
я была вода, на тебя смотрела из-подо льда.
Только путь воды, удивительный путь воды
преграждали воде слепые белые льды.
А когда говорил: ну давай же, лети сюда —
птица, рыба, света кусочек по проводам —
я неслась, весёлая, логике вопреки,
выходила дважды из той же самой реки.
Потому что нет реки, и сама река —
только слово твое, только слово издалека.

В представлении молодых писателей ландшафт и Волга здесь не исключение, предстает как простор палимпсеста, сохраняя потенции *чистого пространства* и в смысле его простоты-пустоты, и в смысле его безусловной выполненности, свершенности как внутреннего содержания восприятия ландшафта. Роль коллективного Хлебникова играют строители художественных мистификаций из нижегородского литературного альманаха «Дирижабль» во главе с Евгением Стрелковым, выражающим идею спокойного и веселого «волжского изгнания» (а не только «послания»):

Повторяя Овидия скорбью уста напою
Не с пустынного Понта, но более дальних окраин
Здесь возможно не север, но Понт, без сомнения, — юг
Да и где провести эту кромку последнего края.

Если это письмо, то скорее письмо никуда
Не слезящийся свиток на стогна безумного Рима
Разговоры под вечер с потерянным другом, когда
Выпускаешь из трубки волокна слоистого дыма.

Здесь кончается сходство с озябшим унылым певцом
Слишком мало похожего в скудости наших пейзажей
И с укрытым к зиме бородою курчавым лицом
Я у лютых морозов покоен и весел на страже.

Поэзия тут — в сопровождении множества художественных проектов с привлечением современных технологий и использованием медийной среды. Проект «Сирены-2»: «Созвучие названий сиреноскопа и медицинского прибора фонендоскопа не случайно — волжские водохранилища словно отеки на теле реки; симптомы патоло-

гии — затопление деревень и городов, замедление течения и цветение воды, гибель рыбы и накопление в иле токсичных отходов...

Но порой в тревожной и хаотичной музыке можно почувствовать спрессованные временем до двух-трёх нот отрывки волжских напевов, корабельных гудков, боцманских дудок и колокольных звонов...

Эти голоса сирен — лишь осколки акустического слепка с уже недоступной нам культуры той Волги: фрагменты порой кажутся мелодичными, но сумбур их чередования и резкость переходов говорят о разрушении целостности волжской сонаты...».

Проект WaterБюст организован по принципу виртуального конкурса красоты. Только голосуют тут не за живых красавиц, а за русалок-берегинь с резных досок. Богатое узорочье поволжских домов второй половины XIX века было связано с распространением парового флота. Многочисленные артели, строившие парусные и гребные суда, оставшись без привычной работы, перенесли причудливое убранство волжских расшив на жилые дома. Тогда-то и были вырезаны на фасадах домов первые берегини и водяные, призванные защищать владельцев дома с «чадами и домочадцами» от разного рода напасти, подобно тому как это делали фараонки и сирины, украшавшие прежде корабли. Сто лет назад здесь жили суровые люди, потомки староверов: бороды лопатой у мужиков, тугие платки и глухие вороты у баб. Казалось бы — какая уж тут эротика. А она прорвалась на карнизы домов, да с такой силой и нежностью, что, кажется, не холодным топором, а теплыми ладонями вылеплены груди прелестниц[33].

Так сейчас постигаются «Молекулы Волги», как называется еще один квазинаучно-художественный проект: «Известно, что молекулы воды (точнее, молекулярные объединения-ассоциаты), будучи по сути жидкими кристаллами, обладают эффектом памяти формы и хранят в своей структуре информацию о предыдущих состояниях; именно благодаря этому уникальному свойству вода стала основой и условием жизни»[34]. «Молекулы Волги» — информационные сгустки некоторых, связанных с Волгой персональных феноменов, вошедших в коллективную память.

Художник предпринимает попытку составления отрезка молекулярного кода исторической Волги, конструируя ассоциативные цепочки из сходных наборов элементов. Представленные в виде пиктограмм, схем и шаблонов, формул и чертежей, ребусов и аллегорий, эти графические фразы образуют единый «молекулярный» метатекст Волги, дистиллированной хотя бы в объеме небольшой ванны этой экспериментальной коммуналки. Набухает волжская молекула в творчестве Александра Иличевского. Если Светлана Василенко в романе-притче «Дурочка» рассматривает ответвление Волги Ахтубу как самостоятельную реку с особым характером, то для Иличевского (посвященный Хлебникову роман «Перс») низовья Волги — средоточие высшего природного и историософского синтеза, симметрии и трансгрессии.

« — Взгляните на хорошую, ясную карту, и вам станет очевидно. Дельта Нила совпадет с дельтой Волги, а Святая земля с Ширваном, если юг и восток отразить зеркальным поворотом в север и запад. Возьмите линейку и циркуль — ими удобно строить перпендикуляры. Проверьте. Так вот, симметрия и противоположность состоят в следующем. В нильской дельте властвовало рабство. А исход в обетованную землю был направлен к норд-осту — в свободу. В то время как в волжской дельте царили воля и сытость. Исход же — в долину Северского Донца — был на деле рассеянием — в рабство, в борение: как Моисей казнями убеждал фараона, так ваши казаки — разорительными изменами и набегами убеждали империю отпустить их в вольницу. Или — вот вы говорите, моряна... Ветер с моря, что нагоняет воду со взморья в плавни, затопляет замешкавшегося врага и делает проходимыми банки, россыпи, косы. Моряна скорее есть бедствие для пришлеца, чем благо для коренного жителя. А ведь именно та же моряна имеется и в лиманах Красного моря. Она-то и была явлением чуда — рассечения вод — при Исходе. Вот вам еще одна симметрия. Таким образом, мы имеем случай и смыслового, и географического отражения.

Центр преображения, в котором сходятся меридиан и параллель зеркала Мебиуса, восставляется на точку в центре Малой Азии, близ Каппадокии».

Так что, ловись, рыбка, большая и маленькая (волжский проект одного из брачных контрактов в «Большой книге перемен» — гарантия рыбалки каждый выходной и охоты в сезон).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30 тт. Соч.: в 18 тт. Т. 8. — М., 1986. С. 321.

[2] Тимофеев М.Ю. Реки в семиосфере нации: случай России // Международная научная конференция «Великие реки и Мировые цивилизации». С. 259.

[3] Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991. С. 140.

[4] Гордеев А.А. История казаков. — М., 1992. С. 24.

[5] Одесский М.П. Волга — колдовская река: от «Двенадцати стульев» к «Повести временных лет» // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М., 2004. С. 316-317.

[6] Белый А. Ветер с Кавказа: Впечатления. — М., 1928. С. 278.

[7] Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. — М., 1995. С. 333-334.

8 Осоргин М.А. Времена: Романы и автобиографическое повествование. Екатеринбург, 1992. С. 34.

[9] Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» // Вопросы литературы. 2006, № 3.

[10] Там же.

[11] Хайнади З. Обломов как Анти-Фауст // Вопросы литературы. 2010. № 4. С. 363.

[12] Лишаев С.А. Эстетика простора // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2007, № 2. С 137.

[13] Белкин Д.И. Образ Волги-реки в структуре романа И.А. Гончарова «Обрыв» // И.А. Гончаров. Материалы Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 187.

[14] Белкин Д. И. Образ Волги-реки в структуре романа И. А. Гончарова. С. 191-192.

[15] Розанов В.В. Сумерки просвещения. — М., 1990. С. 531.

[16] Розанов В.В. Революционная Обломовка // Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. № 35. С. 204—212. Эл. ресурс: http://users.kaluga.ru/kosmorama/oblomovka.html

[17] Крючков В.П. Проза Б.А. Пильняка 1920-х годов (мотивы в функциональном и интертекстуальном аспектах). — Саратов, 2005. С. 242.

[18] Пильняк Б. Нижегородский откос // Звезда. 1928, № 2. С. 51.

[19] Лощиц Ю., Турбин В. Тема Востока в творчестве Велимира Хлебникова //Народы Азии и Африки. 1966. № 9. С. 251.

[20] Камеямо И. Водный лабиринт, город смешанной крови. Хлебников и Астрахань //Acta Slavica Japonica. Vol. IV. 1986.

[21] Хлебников В. Творения. — М., 1987. С. 350.

[22] Хлебников В. Творения. С. 156—157.

[23] Комышкова Т.П. Художественное пространство Волги в системе пространственных образов романа А.Н. Толстого «Сестры» // Нижегородский текст русской словесности.

[24] Федин К.А. Собр. соч.: В 12 тт. Т. 6. — М., 1984. С. 441.

[25] Леонов Л. Собр. соч: В 9 тт. Т. 4. — М., 1961. С. 137.

[26] Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920—1930-х годов. Поэтика — Видение — Философия. — М., 2001. С. 390.

[27] См. формулы перехода природного комплекса в состояние природно-техногенной системы в статье Л.К. Казакова «К определению границ природных и природно-техногенных систем», в сб. «Географические границы» под ред. Б. Родомана и Б.М. Эккеля (М., 1982, с. 96—101).

[28] Карамитти М. Мультфильмы Брейгеля и образ Волги в «Между собакой и волком» Саши Соколова // Slavica tergestina. 8. Художественный текст и его гео-культурные стратификации. — Триест, 2000. С. 367.

[29] Соколов С. Школа для дураков. Между собакой и волком. — М., 1989. С. 76.

[30] Карамитти М. Мультфильмы Брейгеля и образ Волги в «Между собакой и волком» Саши Соколова. С. 368.

[31] Солженицын А.И. Красное колесо: В 10 тт. Т. 8. — М., 1995. С. 622.

[32] Рыжова П. «Восьмерка» Захара Прилепина // http://www.gazeta.ru/culture/2012/03/30/a_4111697.shtml

[33] Дирижабль. Нижний Новгород, 2006. № 13.

[34] Стрелков Е. Молекулы Волги. — М.—Нижний Новгород, 2006.

Михаил Скворцов

О, спорт! Ты – мир!

Это выражение из «Оды спорту» Пьера де Кубертена подразумевало, что спорт сближает людей, уничтожает вражду и способствует, таким образом, мирной жизни. Однако смысл этих слов давно стал более широким, что проявилось уже в фильме Юрия Озерова под тем же названием. Спорт — это мир в миниатюре, небольшая вселенная, в которой отражается все, что присуще человеческому роду. В книгах, о которых пойдет речь, также отражен человек. Написаны они выдающимися спортсменами, тренерами и спортивными журналистами, а кому, как не им, лучше знать мир, который — спорт?

Роднина без слез

Ирина РОДНИНА. Слеза чемпионки. — М.: «Время», 2013

Ирину Роднину в СССР знали не хуже, чем товарища Брежнева. А относились к ней гораздо лучше, более того — гордились ею, воплощавшей советского человека в его высшем исполнении. Точно так же мы гордились Гагариным, Курчатовым, Чкаловым и т.п. историческими персонажами, которые доказывали своим характером и своей судьбой: «совок» существует не зря, мы — кое-что можем.

И вот теперь книга, написанная легендарной Ириной, которая запомнилась многомиллионной телевизионной аудитории той самой слезой в Лейк-Плэсиде. Человек, прочитавший эту книгу, наверное, поразится: ну совсем не похож автор на ту девушку, что стояла на высшей ступеньке пьедестала и плакала. Жесткая получилась книжка, кто-то может даже сказать — беспощадная, но тем она, наверное, и ценна. Потому что «Слеза чемпионки» — это, прежде всего, честная книга.

Она начинается с описания юбилея великой спортсменки, когда Роднина в шестьдесят лет вышла на лед и замечательно откатала знаменитую «Калинку». А если учесть, что совсем незадолго до этого она упала, получив серьезную травму ноги и выбив три(!) зуба, результат можно счесть просто блистательным.

После этого зачина автор ненадолго погружается в прошлое, довольно бегло рассказывает о детстве и семье, чтобы тут же перейти к главному — к фигурному катанию. «Босоногое детство» Ирины оказалось очень коротким, поскольку в ее жизнь рано вошел всепоглощающий спорт. А вместе с ним вошли и люди спорта, о которых Роднина рассказывает без прикрас. Тарасова, Чайковская, Москвина — все эти замечательные (каждая по-своему) женщины предстают в рассказах автора в натуральную величину, со своими достоинствами, недостатками, пунктиками. Вроде мы их всех знаем, но после знакомства с их портретами из книги оказывается, что совсем не знаем. Да и вообще узнаем много такого, что скрыто за фасадом здания под названием «фигурное катание». Это странно звучит, но, оказывается, среди наших (да и не только наших) тренеров фактически нет такого, кто с равным успехом

умел бы обучить скольжению, технике, прыжкам, выстроить стратегию, а заодно создать хорошую программу для спортсмена. Все умеют делать что-то одно, а поэтому, как считает Роднина, нет ничего зазорного в том, что спортсмены переходят от одного тренера к другому. Более того — это абсолютно нормальное дело, только так и может воспитаться выдающийся спортсмен.

«Отношения между тренерами в нашей стране всегда были крайне недружественными. Все считают вправе друг у друга забирать спортсменов. Все считают вправе друг друга обижать. Может быть, оттого, что конкуренция очень высокая. Может быть, практика взаимоотношений, и не только в фигурном катании, а вообще в стране, имела некую патологию, и это передавалось дальше, в отдельные области». Такого рода высказываний в книге немало, Роднина не проявляет никакого пиетета по отношению к кому бы то ни было — к легендарной ли Тарасовой, или спортивному функционеру Писееву. «Писеев защищал себя, а не занимался развитием вида спорта. Он спасал свое кресло... В парном катании самое большое его достижение — это уничтоженная московская школа, теперь ее просто нет».

Впрочем, в книге нет злости, Роднина просто рассказывает правду — и о себе в том числе. Вот, допустим, эпизод, как она, в первый раз прилетев на соревнования за границу, не смогла раздеться в общей раздевалке. Почему? Потому что на ней было страшное советское белье, которое отдельные французские актеры, как мы помним, для смеху демонстрировали на своеобразных «вернисажах». Пришлось, как пишет Роднина, снимать все сразу — брюки вместе с колготками и трусиками, поскольку поочередно снимать все это просто стыдно. Или вот такая реплика о себе: «А катались мы в семидесятом году, скажу честно, препоганенько».

Понятно, что и отношения со Станиславом Жуком тут выписаны без утайки и попытки как-то приукрасить. Первый настоящий тренер Родниной был противоречивой (мягко говоря) личностью, человеком с непростым характером, а тут разрыв, уход, обида... Но, что ценно, Роднина не поливает его грязью, просто описывает человека, как он есть. Это вообще особый дар: умение видеть человека и описать его характер и внутреннее содержание. Есть подозрение, что, сделайся Ирина Роднина прозаиком, у нее могло бы что-то получиться на этой стезе.

Но стезя у нее (к счастью, наверное) совсем другая. Основное в ее жизни, конечно, спорт. Роднина была действующей спортсменкой, выигравшей три Олимпиады; затем была тренером — как в России, так и в Америке. Она прожила за океаном тринадцать лет, по сути став на время эмигранткой; потом вернулась, занималась тренерской работой, пришла в политику, в общем, много в себя вместила жизнь Ирины Родниной. И эта жизнь, без сомнения, вполне достойна отдельного описания.

Книга настоящего мужчины

Шамиль ТАРПИЩЕВ. Первый сет. — М.: «Время», 2008

Достижения наших теннисистов и теннисисток общеизвестны. Когда в начале двухтысячных начался буквально шквал наших побед, в западной спортивной прессе появились панические заголовки типа: «Русские идут!» Однако подоплека этих побед, тот драматизм, что сопровождал достижения, были заметны далеко не всем. И в этом смысле книгу Шамиля Тарпищева «Первый сет» трудно переоценить, поскольку в ней полно и всесторонне освещена история отечественного тенниса.

Начинается эта история с советских времен, когда Шамиль Тарпищев еще не возглавлял сборную, а только начинал выходить на корт. В те годы наши мастера ракетки нечасто завоевывали призы на международных состязаниях, да и вообще теннис не был так популярен, как сейчас. Он не был «народным» видом спорта, как хоккей, можно сказать, существовал на обочине спортивной жизни. Тем не менее,

проводились чемпионаты страны, была сборная, которая выезжала на международные соревнования. Автор довольно подробно рассказывает об этом периоде развития отечественного тенниса, показывая: будущие блистательные победы появились не на пустом месте. *Как* приходилось добиваться побед, наглядно демонстрирует эпизод одного из матчей между Тарпищевым и Волковым — очень сильным советским теннисистом. Когда Тарпищев выходил на корт перед девятичасовым матчем, он весил 78 кг, когда уходил с корта — 71,5 кг. После чего, будучи полностью истощенным и обезвоженным (но победившим!), едва вернулся к жизни.

Однако карьера Тарпищева-тренера была не менее многотрудной и изнуряющей, чем карьера Тарпищева-игрока. Тренером сборной СССР он стал еще в 1974 году, когда теннис в нашей стране находился в отрыве от мирового. То есть, мы были в этом отношении провинцией, пусть и с отдельными игроками мирового уровня — вроде Александра Метревели, доходившего до финала Уимблдона. И чтобы что-то поменять в этом раскладе, нужно было приложить не меньше усилий, чем во время вышеописанного матча. А может, и больше, поскольку эти усилия растягиваются на месяцы и годы, и ты борешься не с одним соперником, а с системой, которую требуется сломать, а взамен ее выстроить новую. Бороться приходилось в том числе и с государственной системой, которая политизировала спорт, мешая тем самым развитию большого тенниса. И упорству Шамиля Тарпищева в этом отношении надо отдать должное. По ходу чтения книги начинаешь понимать, что он — боец, тот, кто не отступает, не сдается, хотя, конечно, и не прет напролом.

В эпоху «перестройки» в большой теннис пришло новое поколение, мы стали чаще выезжать за рубеж, а теннис сделали олимпийским видом спорта. В скором времени у нас появился и глава государства, всерьез увлеченный теннисом, поэтому он вполне закономерно начал обретать популярность. Уже Россия (а не Советский Союз) вошла в высшую мировую лигу Кубка Дэвиса, а в двухтысячные началась эпоха больших побед.

Впрочем, было еще много всего помимо тенниса, о чем и рассказывает эта книга. Были встречи с Ельциным, назначение советником Президента РФ по спорту, обвинения в глаза и за глаза, кампании в прессе — много чего было. Шамиль Тарпищев оказался в кругу людей, руководивших страной, а значит, в центре всех тех драматических событий, что разворачивались в 90-е годы. Тарпищева прессовали и чиновники, и купленные журналисты, наносили удары по репутации, и тут в очередной раз пришлось подключать выработанные за жизнь бойцовские качества. Тарпищев не сдался, он и в создании Национального фонда спорта участвовал, и в Международном олимпийском комитете работал...

Возможно, поэтому те самые блистательные победы воспринимаются как нечто если не закономерное, то хотя бы заслуженное. Кафельников, Сафин, Южный, Звонарева, Дементьева, Мыскина — очень талантливые спортсмены. Но почему-то думается, что их успехи в немалой степени обеспечены старшим тренером Шамилем Тарпищевым, его талантом, упорством, мужеством и работоспособностью. Так заставляет думать книга, написанная им честно, взвешенно и без всякого самолюбования.

Гении народной игры

Александр НИЛИН. Спортивный интерес. — М.: «Время», 2011

Александр Нилин не является выдающимся спортсменом. Но его любовь к спорту безгранична, как и у тех, кто дарит нам рекорды и получает спортивные награды. Нилина можно было бы назвать спортивным журналистом, но как-то язык не поворачивается, скорее уж, это спортивный писатель. А что? Хемингуэй писал о

спорте, Юрий Трифонов писал, да и многие другие мастера пера воспевали спорт и спортсменов. Написано Александром Нилиным о спорте немало; что же касается книги «Спортивный интерес», то она посвящена футболу.

Нынешние скромные достижения российских футболистов не должны вводить нас в заблуждение. «Были люди в наше время!» — можно повторить вслед за классиком. То есть, были в нашем отечестве великие футболисты, великие тренеры; о них и идет речь в этой книге.

В первой части рассказывается про Эдуарда Стрельцова — русскую футбольную звезду с непростой судьбой и непростым характером. Этот феномен описывается точно и емко, с проникновением в глубь его натуры и вместе с тем очень человечно. Что, с одной стороны, объяснимо, поскольку у Нилина и Стрельцова были довольно тесные человеческие контакты. С другой стороны, можно всю жизнь с кем-то контактировать, а написать об этом человеке мелко и поверхностно. Все дело, как представляется, в человеческом и писательском таланте автора, который вглядывается в того, кого описывает, без предвзятости, с интересом, а еще, не побоимся этого слова, с любовью.

Тот, кто знаком со Стрельцовым лишь по легендам и скандальной хронике эпохи, многим вещам удивится. Например, тому, что гений футбола терпеть не мог играть летом, говорил: «Очень уж жарко». И вообще зачастую его едва ли не силком выгоняли на поле, поскольку Эдик упирался, мол, ноги сегодня тяжелые. И то, что гений футбола страдал плоскостопием, тоже далеко не всем известно. Ну и, конечно, для многих будет очень любопытен автокомментарий футболиста, объяснившего, почему он зачастую *стоит*, а не включается постоянно в игру. Не будем приводить объяснение целиком (желающие прочитают его в книге), скажем только, что из этого монолога, записанного автором по памяти, сразу ясно, что означает выражение «видеть поле». Это посредственность тупо бегает по полю, а гений может включиться в игру лишь на минуту, зато со стопроцентным результатом.

Впрочем, в этой книге интересен даже не столько футбол, сколько личность. Вообще писать книгу нужно не о виде спорта, а о человеке, лишь тогда написанное выйдет за рамки обычной журналистики и проживет сравнительно долго. Нилин, собственно, этим и занимается. Личность Стрельцова тут предстает, как нынче говорят, в полный рост: с его загулами, с его наивностью, с растерянностью перед жизнью, в которой он не очень-то хорошо разбирался и т.д. Это, собственно, и вызывает интерес.

Не меньший интерес вызывает чтение второй части книги, рассказывающей о легендарном спартаковском тренере Константине Бескове. Здесь тоже авторский взгляд направлен в первую очередь на личность. Хотя стиль несколько отличен от предыдущей части. Бесков представлен в этакой кинематографической стилистике, он все время на виду, все время участвует в каких-то событиях. Событий хватает, тренер постоянно у бровки поля, в разъездах, на чемпионатах, но за этой необходимой спортивной суетой не теряется персона. По ходу чтения мы понимаем, насколько талантлив этот человек, как он здорово разбирается в игроках, как умеет выстроить отношения, и как он учит главному: «Хороший игрок разбирается в ситуации на поле, отличный — эту ситуацию создает». Умри, как говорится, лучше не скажешь, но это же надо внушить игрокам! Надо же научить их быть не просто хорошими, а отличными!

Проявляются и обычные человеческие качества: заботливость, доброта, склонность к риску или, допустим, стремление к непонятному упрощению стороннего взгляда на себя и свой футбол. Об этом футболе Бесков предпочитал слушать и читать нечто стереотипное, элементарное, а не сложное и вольное, чем в изрядной степени отпугивал как журналистов, так и просто людей, разбирающихся в футболе. Странно? Но так не странен кто ж, как восклицал один известный персонаж...

Третий портрет в этой книге — еще один талантливейший игрок «Торпедо», Валерий Воронин. Об этом футболисте говорят реже, чем о Стрельцове, но он тоже был гением самой народной игры, и Александр Нилин убедительно это доказывает. Хотя и здесь человек не скрывается за футбольными событиями, он проглядывает во множестве рассказанных эпизодов. Валерий Воронин прожил короткую, но яркую жизнь. Этот человек не хотел жить скучно, причем не только на зеленом газоне поля, но и в остальной жизни. Эта черта характера, наверное, и отмерила те сорок пять лет, которые прожил Воронин. И она же способствовала роковому столкновению воронинской «Волги» с автокраном, когда футболист заснул за рулем. Трагедии не произошло, Воронин даже вернулся в большой спорт, но это была уже другая игра; и жизнь у него тоже пошла другая. И хотя Воронин рано закончил футбольную карьеру, истинным любителям футбола он, конечно, запомнился.

Завершает эту книгу небольшой очерк о парижском чемпионате мира 1998 года. Хотя, если честно, там преобладает сам Париж и размышления об отдельных персонажах футбольного мира (о том же Пеле, «облизанном» мировыми СМИ), чем хроника чемпионата. Автора больше интересует философия футбола, а не отчеты о матчах, и это делает книгу Александра Нилина по-настоящему интересной.

В одно касание

Александр НИЛИН. Красная машина. — М.: «Время», 2011

Как мы помним, «красной машиной» на Западе именовали советскую сборную по хоккею. Наши парни в красных фуфайках, выходя на лед, перемалывали любого соперника, включая легендарных канадских профессионалов, почему и заработали такое прозвище. Тут чувствуется и страх, и восхищение, которое всегда испытываешь перед победителем. В общем, рассказать об этих парнях, как говорится, сам хоккейный бог велел.

Впрочем, точности ради заметим, что книга Александра Нилина «Красная машина» состоит из нескольких частей. И в первой речь идет вовсе не о хоккее, а о спорте в целом, то есть, о его развитии в нашей стране на протяжении двадцатого столетия. Задача, поверьте, почти неподъемная, но Александр Нилин с ней прекрасно справляется.

Здесь он также не столько хроникер, описывающий события, сколько философ, пытающийся эти события осмыслить. Вот почему в начальной главке возникают Лев Толстой, Блок, Гиляровский и прочие гуманитарии, а не одни лишь иваны поддубные. Развитие спорта в России было неизбежным, как и во всем мире, но отражение этой тенденции в умах и душах выдающихся современников — не менее интересно, чем сам процесс.

Процесс со всеми его спадами и подъемами описывается по десятилетиям: 10-е годы, 20-е, 30-е и т.д. Вполне корректный подход, поскольку жизнь в XX веке менялась довольно стремительно, и в каждом десятилетии можно было отмечать какие-то (подчас очень серьезные) изменения в развитии спорта. Если, к примеру, в начале столетия спорт был уделом в основном людей имущих, даже состоятельных, то уже спустя два десятка лет к нему стали подтягиваться более демократические слои населения. А еще лет через десять спорт окончательно сделался достоянием масс, а также объектом пристального внимания власти предержащих. Можно вдоволь высмеивать принцип государственного управления спортом, но в СССР двадцатых-тридцатых годов альтернативы не было, что автор и подчеркивает. История складывается так, как она складывается; да и сейчас, чуть ли не столетие спустя, мы видим, что государства не отворачиваются от спорта, напротив, считают его едва ли

не одним из политических инструментов, а потому и денежки из госказны дают на его развитие.

В этом пространном очерке события описываются двояким образом. Первую половину века автор знает по рассказам и чужим воспоминаниям. Вторая половина описана в том числе по собственным впечатлениям. В тексте появляется больше подробностей, личных воспоминаний, выражений «насколько я помню», и это уже иной тип повествования. Хотя, надо сказать, и там, и тут мы наблюдаем отличное знание предмета и глубину анализа.

Александр Нилин с большим уважением пишет о достижениях советских спортсменов, да и тогдашнему политическому руководству отдает должное. Политическая мода диктует обратное, но Нилин не хочет быть модным, он хочет быть просто честным. И у него это получается. Непростая история ломки советской спортивной парадигмы, драматизм девяностых годов, когда российские атлеты потянулись за «длинным долларом» и переместились на обложки глянцевых журналов, — все это описывается без злости, но и, конечно же, без восхищения. Мы много обрели на пути строительства нового общества, но многое, увы, и потеряли.

Вторая часть книги под названием «Красная машина» обозначена как *роман для кино*. И это, если иметь в виду документальное кино, наверное, справедливо. Фильмы о хоккеистах у нас есть, но вот большого кинематографического полотна об истории советского, а затем российского хоккея пока что нет.

А история эта довольно замысловатая и парадоксальная. Мало кто знает, допустим, что нашими учителями игры в «канадский» хоккей с шайбой были чехословацкие хоккеисты, в 50-е годы ставшие братьями по соцлагерю. И что одним из «крестных отцов» советского хоккея был Василий Сталин, которому нужно было срочно продвигать спортивный клуб ВВС, для чего требовался новый и не освоенный другими клубами вид спорта.

Но это лишь любопытная информация, настоящий драматизм появляется, когда автор рассказывает, например, о многолетней «дуэли» великого хоккеиста Всеволода Боброва и великого тренера Анатолия Тарасова. Вот здесь действительно материал для кино, и не только, скажем честно, документального.

В разнообразной и многослойной истории нашего хоккея автор тоже постоянно подчеркивает человеческий фактор: как друг с другом не ладили (или ладили) тренеры, как они воспитывали талантливых игроков, как конфликтовали с этими же игроками и т.д. Конечно, в этой истории нельзя обойти ключевое событие — серию матчей с «профессионалами» в начале семидесятых. Это событие можно уподобить то ли спортивной Куликовской битве, то ли Бородинскому сражению на корте, но о нем не писал только ленивый, поэтому такого уж большого внимания автор этому не уделяет. Гораздо интереснее, как складывалась — в человеческом плане — знаменитая тройка Михайлов — Петров — Харламов, или отношения того же Тарасова со спортивными журналистами Озеровым и Рубиным.

Любая история, строго говоря, это, прежде всего, история человеческих страстей и конфликтов, о чем Александр Нилин, плетя фактологическую канву своих книг, никогда не забывает. Не забывает ни в очерке «Мои Лужники», ни в завершающей книгу серии литературных портретов под общим названием «В одно касание». Здесь автор уже выходит за рамки собственно спорта, поэтому на страницах появляются и актер Табаков, и писатель Аксёнов, и поэт Бродский. Каждый талантливый человек играет на жизненном поле «в одно касание», и автору этой книги, по счастью, удалось эти касания подметить и рассказать о них читателю.

Александр Эбаноидзе

«Как счастливо мы жили...»

К 90-летию Владимира Огнева

Р т в е л и — так называется в Грузии благодатная пора сбора урожая, завершающая долгий, кропотливый труд виноградаря: защиту лозы от холодов, ее опрыскивание и окучивание, подрезку лишних отростков ради полноты стволовых побегов; если поспособствует погода, то и урожай будет хорош. Такой, какой нынче собирает в своем литературном вертограде Владимир Федорович Огнев — критик, литературовед, писатель и общественный деятель.

Автор десятков книг, опубликованных в разные годы, в последнее десятилетие Огнев издал несколько книг особо значимых, бросающих взгляд на пройденный путь, уточняющих обстоятельства литературного процесса, участником которого ему довелось быть, корректирующих оценки и отстаивающих многое из того, от чего нынче торопливо открещиваются собратья по цеху. «Амнистия таланта», «Фигуры уходящей эпохи», «Путем Одиссея»; подготовлена «Каменная книга», фрагменты которой печатались в разных изданиях, в том числе в «Дружбе народов». Вместе они дают объемную картину эпохи, одним из свойств которой была литературоцентричность, другими словами — совестливость. Автор знакомит нас с писателями Балтии и Кавказа, Украины и Белоруссии, Польши и Югославии, Венгрии и Италии, и, конечно же, с представителями русской словесности. Знакомство поучительное, вызывающее живой интерес, напоминающее о важности слова в мыслящем сообществе.

«Пабло Неруда говорил Эренбургу о том, что Огнев написал о его творчестве лучшую статью. А ведь о Неруде писали во всем мире», — вспоминал Расул Гамзатов. Ярослав Ивашкевич со смешанным чувством восхищения и досады восклицал: «С подлинной завистью прочитал я то, что пишет Огнев. Если б кто-нибудь так писал у нас... Истинное удовольствие!» А Корней Чуковский признавался: «Вы для меня — самый близкий. Мне часто сдается, что если бы я был молод, я обо многом писал как Вы».

Чем объяснить многообразие интересов и широкую географию автора, заслужившего признание классиков XX века? Только ли знанием языков и легкостью на подъем прирожденного путешественника — в этом Владимира Огнева превосходит разве что только Евгений Евтушенко.

Объяснение редкому свойству я нашел в словах двух прибалтов: «Ты создан для объединения, для примирения всех нас» (Юстинас Марцинкявичюс) и «Мне дорого Ваше гуманистическое стремление бороться за братство людей. Это святое чувство» (Эдуардас Межелайтис).

И впрямь Владимир Огнев положил много сил на создание в постсоветские годы новых объединяющих литературных структур, таких как Ассоциация писателей «Европейский форум» и международный литературный журнал «Феникс XX». Однако наступило время, не способствующее культурным начинаниям. В словах Бродского, приглашенного к сотрудничеству с журналом, слышна нотка усталости и сомнения: «Бог даст, Ваше издание и я протянем еще некоторое время, и нам удастся соединиться». Увы...

«Фигуры уходящей эпохи» — емкий том в 600 страниц. Это большая книга о большой эпохе и больших людях, работавших в ней, наполнявших ее своей энергией и талантом. Среди десятков ее персонажей с особым интересом я узнавал подробности жизни и творчества Симонова и Шкловского, Слуцкого и Сельвинского, Тихонова и Берггольц, Гамзатова и Кулиева, Бажана и Кирсанова, Асеева и Мартынова, Твардовского и Исаковского... А как многозначен блестяще написанный эпизод с Алексеем Крученых!.. Список велик, он мог бы быть гораздо длиннее, и я осознанно не укорачиваю его: условия нынешней жизни так стремительно стирают из нашей памяти культурную информацию, видимо, освобождая место для курсов валют и «голубых фишек», что необходимо пользоваться всеми поводами для сохранения памяти.

Есть у этой книги еще одно глубинное свойство: она полна любви и п е ч а л и, подзаголовком ей могло бы послужить название астафьевского шедевра «Последний поклон». Об этом же слова Даниила Гранина, обращенные к юбиляру: «Дорогой Володя!.. Как счастливо мы жили, спасибо, что оживил ушедших друзей!..»

Но, признаюсь, особое удовольствие мне доставили путевые очерки Владимира Огнева, собранные в книгу «Путем Одиссея». Нечасто нынешняя беллетристика дает так полно пережить эффект присутствия, который я испытал, читая «Исповедь партизана». Пластически вылеплен и психологически убедителен не только старый партизан-русофил Перо, но и официант ресторана, молодой черногорец, с трогательным тактом выполняющий поручение партизана — перевезти русского писателя из гостиницы в его дом.

Превосходна зарисовка «Рыбак и хиппи», в которой молодежь, спящая вповалку на ступенях древнего дворца Диоклетиана, похожа на перелетных птиц, опустившихся на седые теплые камни. «Ночью они казались детьми», — отмечает писательское отцовское сердце.

А большой рассказ «Черногорию надо видеть» с забавными диалогами в стиле Хемингуэя, с разнообразной информацией из истории края, с живо воссозданной дорогой в Котор и восемнадцатилетней Зорицей из корчмы, восхитительной оторвой с синяком под глазом и выбитым зубом! Такую прозу не перескажешь, ее надо читать. Как и рассказ о поездке по Италии, сопровождаемый дивной топонимикой: Болонья, Равенна, Анкона, Сан-Марино, Римини; с потрясающей синьорой Черви и бесподобным Тонино Гуэррой!..

Удивительно ли, что при таком богатстве впечатлений особый отклик в моем сердце нашли очерки о Грузии, близкой автору книги по творческим и дружеским связям; ведь среди выведенных в них персон я встретил почти родственно близких мне Эрлома Ахвледиани, Резо Габриадзе, Бубу Кикабидзе и самого Георгия Данелия, с которым Огнев сотрудничал в экспериментальной творческой мастерской «Мосфильма».

Глубокоуважаемый Владимир Федорович, мое юбилейное приветствие близится к концу. Как главный редактор «Дружбы народов» не могу не вспомнить с благодарно-стью Вашу поддержку переводческого дела — через учреждение премии Международного Литфонда; сегодня заботы такого рода не находят отклика и искусство перевода с языков ближних соседей доживает последние дни. Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству и надеемся на его продолжение.

Лет десять назад на Международной конференции в Брюсселе Чингиз Айтматов назвал Ваши годы апостольскими, имея в виду «последовательность и силу убеждений, рожденных жизненным опытом». В год девяностолетия это определение великого степняка еще точней и уместней.

Дорогой Владимир Федорович, я не случайно начал свое приветствие с грузинского слова р т в е л и. От души желаю Вам ясной солнечной осени, какую Вам доводилось видеть на моей родине, щедрого благодатного урожая и той широты и увлеченности, с которой прожиты минувшие годы. Ваша творческая энергия и душевная цельность обнадеживают идущих следом.

М р а в а л ж а м и э р! Многая лета!

Художники — Универсиаде

Первая выставка о спорте в Казани

12 марта 2013 года в Казани торжественно открылась всероссийская художественная выставка «О спорт! Ты — мир!», посвященная предстоящей Универсиаде. На ней были представлены работы на спортивную тему. Экспозиция разместилась в Галерее современного искусства.

Всероссийская художественная выставка «О, спорт! Ты — мир!» — одна из первых масштабных художественных выставок нового времени, посвященных спорту в постсоветский период. Она охватывает творчество художников целого ряда регионов страны. В ней приняли участие живописцы, скульпторы, графики и художники декоративно-прикладного искусства из Астрахани, Владимира, Воронежа, Иваново, Ишимбая, Казани, Калуги, Костромы, Курска, Омска, Пензы, Москвы и Московской области, Нижневартовска, Ростова-на-Дону, Рязани, Ярославля.

Лозунгом олимпийского движения стала знаменитая фраза Пьера де Кубертена «О, спорт! Ты — мир!», в котором содержится призыв к единению всего человечества. Внутренняя и внешняя эстетика, сила напряжения и эмоциональной отдачи, радость переживания «мук творчества» и результата роднят его с искусством.

Традиции художественных выставок, посвященных теме спорта и зрелищ, простираются из советской эпохи, когда крупные спортивные форумы — Спартакиады народов СССР и олимпийские соревнования — сопровождались грандиозным развитием темы спорта средствами изобразительного искусства, поскольку спорт составлял одно из значительных тематических направлений в советском искусстве. В изобразительном искусстве Татарстана тема спорта преломлялась в основном в изображении Сабантуя — народного традиционного праздника, сопровождающегося соревнованиями и спортивными играми. Красочность и зрелищность Сабантуя отразилась в разных жанрах изобразительного искусства Татарстана и представляет отдельную тему.

Всероссийская художественная выставка «О, спорт! Ты — мир!» — это гимн спорту, приветствие двум крупнейшим спортивным форумам — Всемирной Универсиаде в Казани и Зимним Олимпийским играм в Сочи. Этот гимн звучит на художественном языке всех видов искусства. Выставка предлагает зрителю оценить в спорте мгновения чистых побед и физическую красоту спортсменов, не акцентируя внимание на трудностях борьбы и сиюминутности поражений. Возрождая традицию «спортивных» выставок, она дает богатый материал для всех, кто интересуется искусством и спортом в искусстве.

Проведению же выставки предшествовали подготовительные акции творческих союзов России, направленные на привлечение внимания художников к спортивной тематике и на создание в этом направлении произведений высокого художественного уровня.

Тема спорта преломляется в произведениях художников во всех жанрах искусства, привлекая мастеров своей красотой, выразительностью, драматизмом борьбы, эмоциональной насыщенностью. Спорт предоставляет художникам прекрасные возможности своей яркой зрелищной праздничностью.

Воплощение самой темы диктует мастерам различные подходы к ее реализации — от традиционных жанровых полотен и листов со сценами соревнований и моментов борьбы, портретов спортсменов и их наставников до аллегорических, метафорических, символических композиций, выражающих дух, стремительность и энергию спорта.

Всероссийская выставка «О, спорт! Ты — мир!» собрала на одной площадке мастеров, всех тех, кому интересно воплощение спортивной темы. Художники Татарстана органично влились своими произведениями в общероссийский проект. Среди них — работы А. Абзгильдина, В. Выборнова, З. Гимаева, Е. Голубцова, А. Дорофеева, М. Кузнецова, А. Лопаткина, В. Пискарева, И. Самакаева и многих других ведущих художников Татарстана.

Среди известных российских мастеров, чьи произведения представлены на выставке — заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, вдохновитель «спортивных» проектов в области декоративного искусства Галина Корзина (Москва), авторы Иван Харченко (Сергиев Посад), Марина Нечепорук (Москва).

Выставка предоставила возможность художникам воплотить свои смелые замыслы и в монументальном искусстве. В технике искусства флорентийской мозаики выполнено панно «Эстафета» народного художника России С. Горяева. Серия эмалей З. Церетели «Олимпийцы» относит зрителя к традициям чернофигурного стиля греческой античности. Современным прочтением монументальных форм является цифровая печать, в которой работает К. Худяков.

Живописный раздел выставки представлен портретами спортсменов и жанровыми полотнами: портреты чемпионов СССР В. Брумеля, С. Щербакова (работы О. Савостюка, А. Власенко), единоборство фехтовальщиков (А. Гулевский, Воронеж), спортивный бег (Н. Крутов, Москва), психология профессионального бокса (Е. Уткин, Тольятти), играющие дети и подростки (В. Кувин, Владимир, М. Золотых, Курск, А. Акиндинов, Рязань). Особый интерес представляет раздел скульптуры, знакомящий с произведениями известнейших в стране мастеров пластического искусства: Д. Тугаринова, Т. Субханкулова, Н. Иванова, Г. Красношлыкова, И. Черноглазова и молодых талантливых авторов, активных участников художественных выставок.

Графический раздел тоже составлен из произведений широко известных в стране мастеров: литографии А. Якушина, плакаты М. Авакумова, профессоров и руководителей творческих мастерских МГАХИ им. В.И. Сурикова, воспитавших не одно поколение талантливых художников, демонстрирующих зрителям не только талантливое решение темы, но и блестящее мастерство, эмоциональность.

Выставка является одним из этапов реализации большого творческого проекта Союза художников России и Творческого Союза художников России, посвященного Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани и Играм Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, который осуществляется в содружестве с музеями России.

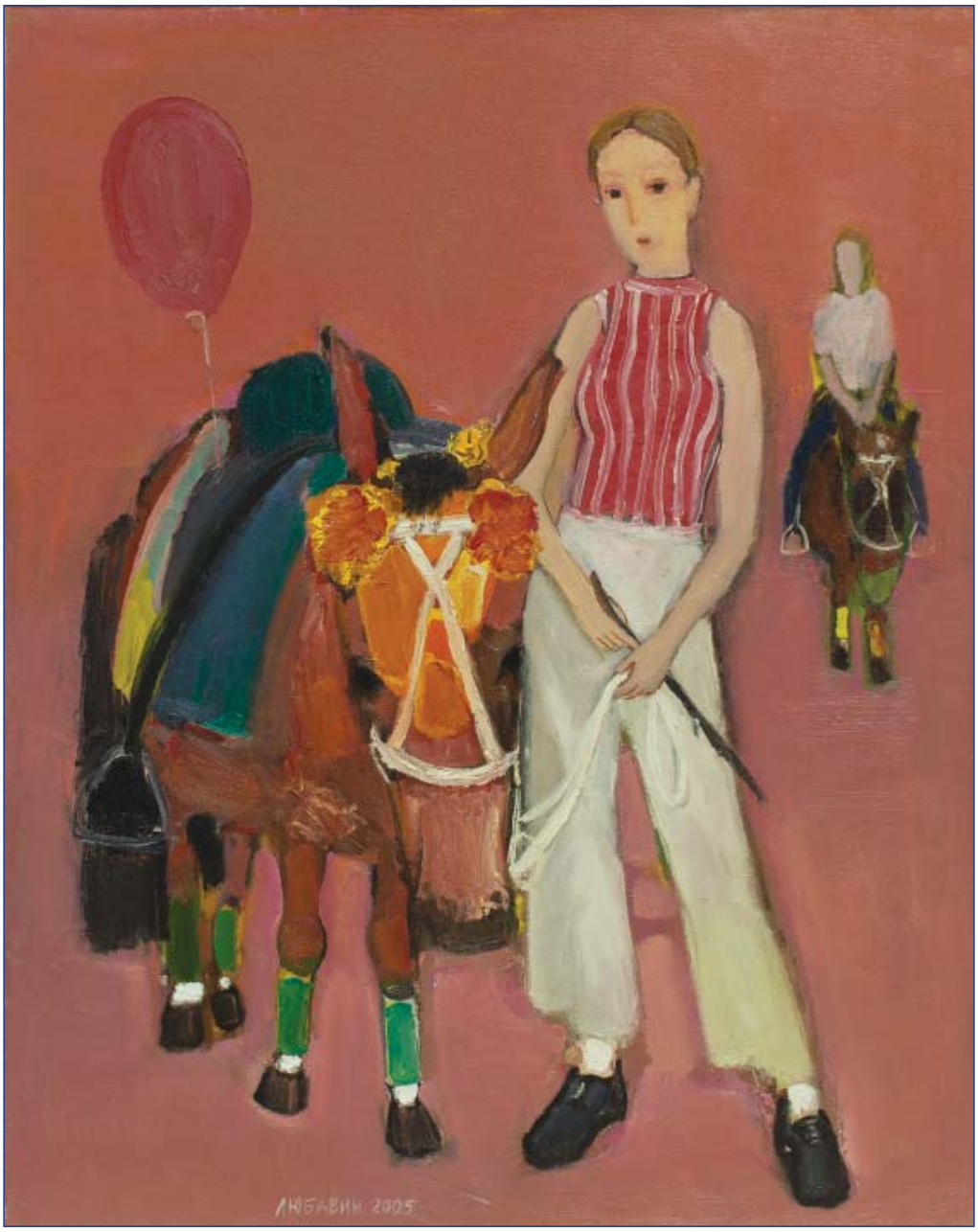
Дина ХИСАМОВА

Казань

Кокорекин А.

ОРГАНИЗУЕМ В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КРУЖОК! 1936.

м., л. 103x73



Любавин А.А

ДЕВУШКА И ПОНИ. 2005.
х., м., 100х80

Самакаева М.В.

ДЕРЕВЕНСКИЙ САБАНТУЙ. 2012.
х., м., 73х93.
Из коллекции Ахметзянова Р.Р.

Самакаев И.М. В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАЛЕ. ГИМНАСТКИ.

Х., м., 100х70

Международный фестиваль

«ЛИТЕРАТУРНАЯ УНИВЕРСИАДА»

UNIVERSIADE KAZAN 2013 RUSSIA

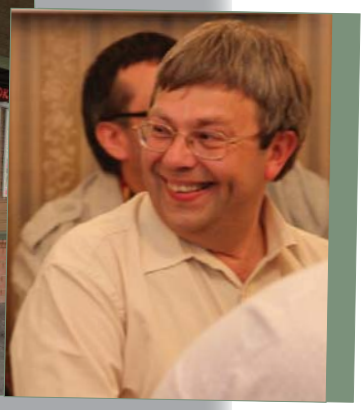
ЛитератУрная Универсиада

Казань, 14-16 июня 2013

© Сююмбике Савельева,
дизайн эмблемы Литературной Универсиады

«ЛИТЕРАТУРНАЯ

Перекресток



ISSN 0012-6756
ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ

МФГС
IFESCCO
ISSN 0012-6756
ДРУЖБА НАРОДОВ
ЛИТЕРАТУРНАЯ
УНИВЕРСИАДА
В КАЗАНИ
2013

Тропа окликает дорогу

Рубрику ведет Лев Аннинский

Дорога — она не удерживается в мягких пределах сельского окоема, она железной молнией пронзает горизонт.

Вот одно из лучших стихотворений Сергея Пашина:

Снег баррикадами лежит.
Спугнув вокзальную обитель,
Состав и пышет, и дрожит,
Одетый в выпачканный китель.
И с присвистом, порожняком,
Как бы метели ни хлестали,
Скользит курьерский босиком
По лезвиям гремучей стали.

Достоверно выпачканный китель неожиданно отпадает от босых ног, гремучая сталь отрезается от снежных баррикад... Почерк поэта прихотлив, штрихи и краски ложатся неожиданно, целое составляется из разрозненных деталей. Мозаичный пейзаж едва успевает проблеснуть в четко выписанных восьмистишиях (редко когда 12 строк, не больше!) — пуантилизм метит стиховую традиционную четкопись знаками авангардной эпохи.

Современный стих! Тревожная оглядка со стального шляха, с торного пути, с ясного плана дороги — в загадочные петли тропы, окликающей дорогу то справа, то слева, то из смутного марева, дразнящего синевой, а то и из книжного лабиринта...

Васильки сплошным барьером. Сыпкий берег — вниз да вниз. Мост зеленым холстомером изогнулся и навис.

Васильки — из тысячелетней классики. Обрыв — из орнаментальной строфоодышки недавнего века. А холстомер — из Толстого, что ли... Из неспешных петель неувядаемой гибкой литературности...

Василий Ключевский, вместивший в своем сознании тысячелетия русской истории, заметил как-то, что столбовой путь запросто может увлечь нас в тупик безысходности, а чтобы достичь цели в нашем бездорожье, надо идти верной тропкой.

Сергей Пашин воспроизводит эту русскую дилемму. У него, впрочем, об иллюзорности пути предупреждает не академический историк, а бдительный старик-лесовик... а может, это сам лес, награждая путника глухими пощечинами, не пускает его напрямик, а разворачивает на тропу. Путник, кажется, и сам напрямик не рвется, Путь в его сознании — Млечный, небесный, воображаемый, а реальная тропка — все-таки через родную трясину.

Катясь через поля и рвы, покуда ветер не устанет, волна горячечной травы и унесет, и одурманит...

А если придется ступить на асфальт, и на нем — ни *пылинки*, на нем *былинки,* упрямо ползущие из трещин и прорех.

Созерцая эту упрямую тяжбу воли вольной и воли смиряющей, вспоминаешь уже не историка Ключевского, а... митрополита Илариона, когда-то преподавшего новокрещеной Руси «Слово о законе и благодати».

О законе — ни слова больше! Писаный для умных, он умниками и охраняется — в священных преданиях и потаенных книгах.

Но как жить тем, чей разум не вмещается в предания и книги, а душа все-таки рвется и ждет...

Чего?

Да благодати же!

А это что за птица такая? И сколько раз менялось словесное оперение этой загадочной прелести, то жаля слепящей чернотой всеобщего передела, то усыпляя елейной розовостью всеобщего бессребреничества, то опрокидывая оголтелостью берущей свое революционной воли, то обезволивая обещанием всемирного немедленного братства...

Последний, уже нынешний псевдоним — «понятия». По закону жить несбыточно, а вот по «понятиям» — в самый раз.

И как же это так вышло, что Сергей Пашин, профессиональный законовед, судья, юрист, всю сознательную жизнь посвятивший защите права от бесправия, правосудия от преступности, правосознания от бессмысленности, — решился стать законником в народе, сроду по закону не жившему?

Правда, в законнической деятельности Пашина есть нюансы, интересные именно для поэтической темы. Он — правозащитник, убежденный противник смертной казни, никого не приговоривший к высшей мере. И, кажется, по эмоциональному настрою он — не столько на стороне правосудия, как полагается судье, сколько на стороне обвиняемого, что очень по-русски. (Как по-русски — составлять практические пособия для заключенных и распространять эти брошюры в изоляторах и колониях, причем бесплатно.)

И то, что автор «Троп», строгий лирик, явно не склонный к комическим эффектам, является также автором сатир на судебные телепередачи, — говорит скорее о внутренней тяжбе, чем о неколеблющейся верности закону.

Незыблемость — черта закона — в лирике Пашина ведущий мотив, но и зыблющиеся атаки на эту законную прочность ведутся как непрерывное испытание на прочность. Порядок сопротивляется бунту. Бунт сопротивляется порядку. И то, и другое — неизбежно.

Северный ветер готовится стреножить волнующиеся кусты. Весна — праздник озорства и игривости — может осуществиться только в свой черед. Нерушим вековой устой — «часы безропотно стоят... на бывшем сельсовете», — добавляет озорник, скрывшийся под мантией законотворца. Сквозь пафос Илариона, повернувшего на русский лад греческую веру, вдруг проступает у Пашина... «римская суть»: все упорядочить, уравновесить, утвердить...

...Утвердить неуклончивый путь.

Так путь? Или все-таки тропка вокруг да около пути? Порядок или непредсказуемость? Закон или хаос? Можно ли пересчитать иголки на сосне?

Можно! И «важный грач в профессорской ермолке» идет по борозде, про-

веденной пахарем, — как собрат митрополита, как коллега знаменитого историка, — проверяя, все ли в порядке!

Заборы, ограды, границы торчат у Пашина, как колья, как клыки, как штыки и пики. Воинственный строй оград — еще один лейтмотив, вроде бы далекий от сочувствия бунтарям, да ведь законен и бунт против всех твердынь.

Тропинки не пустуют. Лабиринты не исчезают. Плутание заполняет пустоты, оставленные строем и порядком.

У неба утром есть ли дно,
Цель — у стрижей, летящих мимо?
Все сотворенное — темно,
Загадочно, невыразимо...

Замечательный поворот хрусталика к цели, проступившей сквозь хлябь и марево. Найдешь ли опору в хаосе?

...Найдешь ли формул череду,
Чтобы открыть в ученом свитке
Причину яблока в саду,
Суть траектории улитки?

Яблоко в саду — это уже не змей в раю, это что-то просвещенское, от Ньютона или Дарвина, а то и от Архимеда, кричавшего «Эврика!», — улитка же явно с нашей тропинки, и *траекторию* ее очень соблазнительно рассчитать в эпоху покорения Космоса.

Так в эту же эпоху и появился на свет Сергей Пашин! Вера в разум и закон впитана с детства. Детство — это ведь не только полновесная советская школа, как и юность — не только юрфак Московского университета. Это и первое стихотворение, опубликованное в журнале «Пионер», и прихотливая тропа стенной печати. Это рукописный журнал «Болтун» в дополнение к публикациям «Московской правды», «Юности», «Литературной России». Где шлях, там и тропки.

Человек, родившийся в начале «оттепельных» шестидесятых, успевает вкусить все прелести либеральной гласности, а потом все соблазны сокрушения идолов в позднесоветские и раннеперестроечные годы. Первое послесталинское поколение, возросшее при иссыхании диктатуры, подойдя к возрасту Иисуса Христа, участвует в отпевании Советского Союза и дотаптывании его обломков. Всемирно объявленный путь к коммунизму — химера. Поколение преемников этой веры получает в свои руки несколько накренившуюся страну и отсутствующий смысл существования. На месте исчезнувшего смысла брезжит марево, за которым чудится вакуум.

А время не ждет. Подойдя к пятидесяти годам, то есть к возрасту осознания ответственности, чувствует это поколение за своей спиной дыхание уже новых юных преемников, кричащих на болотистой площади о своем бунте. Против чего бунт — надо еще выяснить...

Выяснить — именно тому поколению, из которого вышел Сергей Пашин.

Он отчетливо видит и бунт, и порядок, колеблемый бунтом. Хотя пишет вроде бы прелестные сельские пейзажи. Но это гипноз.

Гипноз жары. Суббота. Лень. Скользнув на клумбу с пьедестала, руки монументальной тень крыльцо церковное достала.

По кладке черную свечу подняв до медного набата, похлопал идол по плечу собор, держась запанибрата.

Совершенно ясно, кто этот неназванный идол. Но ясно и другое: то, почему он не назван. Бунт неотвратим. Сопротивление бунту неотвратимо. Примирение невозможно. Сосуществование неизбежно. Пришедший когда-то к власти противозаконно (революционно) — низвержен... тоже противозаконно? А может, незаконное отрицание незаконности должно означить законность? Минус на минус дает плюс?

А плюс на плюс что дает на наших площадных болотах?

С черепами от бритвы сутенеры-громилы словно шепчут молитвы в черный складень «мобилы».

И молитвы на новый лад, и разумность прихвачена со стороны. Вроде бы брезжат европейские горизонты в нашем азиатском мареве. А если под ноги глянуть?

Больничный парк — для тренировки, хромой ходьбы туда-сюда. По европейской планировке растут хвощи да лебеда.

Это — родное, незаемное. А как насчет древнего, греческого? Разве восстановленное в правах православие не лечит душу, не защищает от праха и тлена живой порядок бытия?

Да. Но кладбищенский распад все-таки подстерегает душу:

Колокола, вовсю зевая, бубнят: «Спасу! Обороню!» Автобус, зычно подвывая, привез плаксивую родню.

Где взять силы, чтобы преодолеть и вместить это все: обломки идолов, заросли лебеды на расчерченных и брошенных полях, наглость громил-рэкетиров на рыночном базаре, пиво вперемешку с водкой, плач сирот, заглушающий колокольную мессу?

Силы — в потаенной природе человека. Открывается что-то в высоте, в простоте, в небесной лазури, в пламени свечи, в голубином полете.

Тропа неожиданно, но неотвратимо выводит к храму.

К храму ведет и дорога, на которой сталкиваются когорты и толкутся толпы.

Тропа — вернее.

Молитва Господу Отцу.
Свечное пламя.
Как будто голубь по лицу
Провел крылами.
Очнись, отведай в простоте
Вина и хлеба;
Под куполами, в высоте
Посланец Неба.

Благодать!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2013 году на журнал "Дружба народов" можно подписаться во всех отделениях Почты России

подписной индекс в каталоге *"ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ"* — **70250**

подписной индекс в зеленом каталоге *"ПРЕССА РОССИИ"* — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на страничках журнала "Дружба народов" в Живом журнале и в Журнальном зале
http://drujba-narodov.livejournal.com/
http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой